



Юрек Бекер ЯКОВ-ЛЖЕЦ



продолжение жизни

От издателя

«Яков-лжец» — первый и самый известный роман Юрека Бекера. Тема Холокоста естественна для писателя, чьи детские годы прошли в гетто и концлагерях. Это печальная и мудрая история о старом чудеке, попытавшемся облегчить участь своих товарищей по несчастью в польском гетто. Его маленькая ложь во спасение ничего не изменила, да и не могла изменить. Но она на короткое время подарила обреченным надежду...

- [Юрек Бекер](#)
 -
 - [Поверх литературы](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Юрек Бекер

Яков-лжец

Я слышу, как все говорят: подумаешь, дерево, что особенного, ствол, листья, корни, жучки в коре и раскидистая крона, что такого во всем этом? Я слышу, как они говорят: неужели не найдется ничего поинтереснее, о чем ты мог бы подумать? Нет, когда ты смотришь на обыкновенное дерево, во взоре у тебя этакая просветленность, как у голодной козы, которой показали пучок свежей травы. Может быть, ты думаешь о каком-то особом дереве, чьим именем названо историческое сражение? Или о том, на котором повесили какую-нибудь знаменитость? Может быть, тебя растрогал легкий шум, который люди называют шелестом, когда ветер, найдя твое дерево, как говорят музыканты, с листа играет на листьях? Или тебя интересует, сколько деловой древесины в одном таком стволе? Быть может, тебя умиляет тень, которую оно отбрасывает? Потому что, как только разговор заходит о тени, каждый — по странности — думает о деревьях, хотя от домов и домен тень получается куда больше. Так, значит, ты имеешь в виду тень?

Все не так, говорю я тогда, нечего гадать, все равно не догадаетесь. Ничего этого я в виду не имею, хотя и очень ценю уютное тепло от горящих поленьев. Я думаю просто о дереве. И на то у меня есть свои причины. Во-первых, деревья сыграли известную роль в моей жизни, возможно, я придаю ей слишком большое значение, но так уж я считаю. В девять лет я упал с дерева, между прочим с яблони, и сломал левую руку. И с тех пор есть несколько мелких движений, которых пальцы мои делать не могут. Я упоминаю об этом потому, что в семье считалось решенным — когда-нибудь я буду скрипачом. Сначала так хотела моя мама, потом и отец, и в конце концов все мы трое. Что ж делать, раз так случилось, со скрипачом покончено. Прошло несколько лет, мне было уже семнадцать, я впервые в жизни обнимал девушку — под деревом. Под буком, метров в пятнадцать высотой, девушку звали Эстер, нет, ее звали, кажется, Мойра, но дерево было точно бук. Кабан нам помешал; может быть, их набежало много, у нас не было времени оборачиваться. И еще через несколько лет мою жену Хану расстреляли возле дерева. Не могу сказать, какой породы, я при этом не присутствовал, мне рассказывали, и про дерево я спросить забыл.

А теперь вторая причина, почему в глазах у меня печаль и растроганность, когда я думаю о дереве, более важная. Дело в том, что в этом гетто деревья запрещены. (Распоряжение № 31: «Строжайше запрещается разводить на территории гетто какие бы то ни было растения, декоративные или полезные. То же относится и к деревьям. Если при организации гетто на его территории по недосмотру остались какие-либо дикорастущие растения, они подлежат немедленному уничтожению. Действия, совершаемые в нарушение данного распоряжения...»)

Это придумал Хартлофф, кто его знает почему, вероятно, из-за птиц. При этом были запрещены тысячи других вещей, кольца и всякие ценные предметы, запрещено держать животных, находиться на улице после восьми вечера, просто невозможно перечислить все запрещения. Представляю себе, что случится с человеком, которого встретят на улице после восьми с собакой, а на пальце у него кольцо. Нет, такого я даже представить себе не могу, я вообще не думаю о кольцах и собаках и вечерних прогулках. Я думаю только об этом дереве, и в глазах у меня печаль и растроганность. Я все могу понять, то есть теоретически всему нахожу объяснение, вы евреи, вы ничтожнее, чем грязь под ногами, к чему вам кольца и зачем вам после восьми болтаться по улицам? У нас насчет вас такие-то и такие-то планы, и мы поступим с вами так-то и так-то. Это я понимаю. Я бы их всех поубивал, если б мог, я бы свернул шею

Хартлоффу своей левой рукой, на которой пальцы не могут делать мелких движений, но этому я нахожу объяснение. А вот почему они запрещают нам деревья?

Тысячу раз я пытался избавиться от этой проклятой истории, и всегда безуспешно. То ли не те были люди, которым я хотел ее рассказать, то ли я делал что-то неправильно, путался, перевирал имена, или же, как было сказано, люди оказывались неподходящие. Каждый раз, когда я выпью, она является мне, и я не в силах от нее защититься. Мне нельзя так много пить; каждый раз я думаю, найдутся же подходящие люди, и думаю, что в голове у меня сложилось все очень хорошо по порядку, теперь, когда я начну рассказывать, я ничего не перепутаю.

А ведь когда посмотришь на Якова, он ничем не напоминает дерево. Есть такие люди, о которых говорят: здоровый, как дуб, крупный, сильный, не дает ни себя, ни других в обиду, к таким хочется хоть на минуточку прислониться, каждый день хоть на минуточку. Яков гораздо ниже ростом, парню, что выглядит, как дерево, он самое большее до плеча. Его, как и всех нас, терзает страх, собственно, он ничем не отличается от Кишбаума или Франкфуртера, от меня или от Ковальского. Единственная разница в том, что без него не могла бы разыгаться эта злосчастная история. Но даже на этот счет мнения могут разделиться.

Начнем с того, что был вечер. Не спрашивайте, который час, это знают только немцы, у нас часов нет. Уже довольно давно стемнело, кое-где в окнах зажегся свет, значит, время позднее. Яков спешит, у него остались считанные минуты, ведь уже порядочно, как вокруг все темно. Но вдруг оказывается, что у него нет ни минуты, ни секунды, ни полсекунды. Почему? Потому что он попал в луч яркого света. Это происходит на мостовой посреди Курляндской, совсем близко от границы гетто, там, где раньше дамские портные держали свои салоны. Теперь там стоит постовой, в пяти метрах над Яковым на деревянной вышке за проволокой, которая протянута поперек улицы. Сначала постовой ничего не говорит, только держит Якова в свете своего прожектора, останавливает его прямо на мостовой и ждет. Слева на углу бывший магазин Мариутана из Румынии, которому пришлось снова туда вернуться, чтобы грудью защищать интересы своей страны на фронтах. А справа мастерская Тинтенфаса, местного еврея, который теперь сидит в Бруклине, Нью-Йорк, и продолжает шить дамские костюмы, новейшие модели по доступным ценам. Яков Гейм стоит один на один со своим страхом, по правде говоря, слишком старый для таких испытаний на крепость нервов, срывает с головы шапку, моргает, ослепленный светом, и знает только, что есть где-то в этом белом блеске два солдатских глаза, которые его нашли. Яков проверяет себя — не совершил ли он невольно какого-нибудь проступка, нет, как будто его не в чем обвинить. Удостоверение при нем, работу он не пропускал, шестиконечная звезда на груди пришта точно на предписанном месте, он еще раз посмотрел, а ту, что на спине, он только два дня назад закрепил толстыми нитками. Если постовой сейчас не выстрелит, Яков с готовностью ответит на все вопросы, пусть только сразу не стреляет.

— Я ошибаюсь или запрещено находиться на улице после восьми часов? — произносит наконец солдат. Он из тех, кто играет в добродушных, и голос у него совсем не злой, даже скорее мягкий, с таким может прийти в голову и поболтать немножко...

— Запрещено, — говорит Яков.

— А сейчас который час?

— Не знаю.

— А должен знать, — говорит солдат.

Яков мог бы сказать: это правда. Он мог бы сказать также: откуда мне знать? Или спросить в ответ: а который теперь час? Или же молчать и ждать, и именно это он и делает, это кажется ему самым разумным.

— Ты, по крайней мере, знаешь, что там за дом? — спрашивает солдат после того, как ему

стало ясно, что его собеседник не из тех, кто способен поддерживать обстоятельный разговор.

Яков знает это. Он не видел, куда показал солдат головой или пальцем, он видит только ослепительный прожектор, за ним стоит много домов, но при положении дел на настоящий момент речь может идти только об одном определенном доме.

— Участок, — говорит Яков.

— Туда ты сейчас и пойдешь. Ты доложишь дежурному, скажешь, что был на улице после восьми, и попросишь наказать тебя, как положено.

Участок. Якову не очень много известно об этом доме, он знает, что там сидит какое-то немецкое управление. Чем там управляют — об этом не говорят. Он знает, что раньше в этом здании был финансовый отдел, что там есть два выхода, один в эту сторону, другой за границу гетто. Но главное — он знает, что, будучи евреем, очень мало шансов выйти живым из этого дома. До сегодняшнего дня такие случаи известны не были.

— У тебя есть возражения?

— Нет.

Яков поворачивается и идет. Прожектор провожает его, указывает на неровности мостовой, все удлиняет и удлиняет его тень, пока она не дотягивается до железной двери с круглым глазком, когда Якову остается пройти до нее еще много шагов.

— И о чем ты попросишь? — спрашивает солдат. Яков останавливается, терпеливо оборачивается и отвечает:

— О положенном мне наказании.

Он не кричит, кричат только несдержанные или невоспитанные люди, но он произносит эти слова и не слишком тихо, так, чтобы человек в свете прожектора мог его расслышать на расстоянии, он старается найти самый правильный тон. Пусть убедится, что он знает, о чем должен попросить, он готов ответить на этот вопрос.

Яков открывает дверь, быстро ее захлопывает, отгородив себя от прожектора, и смотрит на длинный пустой коридор. Раньше он часто бывал здесь, раньше налево, рядом с дверью стоял маленький стол, за ним сидел маленький служащий, сколько Яков себя помнит, всегда господин Каминек, и спрашивал каждого: «Чем можем служить?» — «Я хочу уплатить налоги за полгода, господин Каминек», — говорил Яков. Но Каминек вел себя так, будто никогда раньше не видел Якова, хотя с октября и до конца апреля почти каждую неделю бывал у него в кафе и ел картофельные оладьи. «По какому отделению?» — спрашивал Каминек. «Мелкая торговля и ремесло», — говорил Яков. Он не показывал виду, что вопрос его раздражал. Каминек каждый раз заказывал не меньше четырех оладий, а иногда приводил с собой жену. «Имя?» — спрашивал затем Каминек. «Гейм, Яков Гейм». — «Фамилии от „Г“ до „К“ — комната шестнадцать». Когда же Каминек приходил к нему в кафе, он не говорил, что хочет заказать именно картофельные оладьи, а просто: «Как всегда». Потому что он был постоянный клиент.

На том месте, где раньше стоял стол, еще видны четыре вмятины в полу от ножек. А стул следов не оставил, наверно, потому, что он не стоял так упорно на одном и том же месте, как стол. Яков прислоняется к двери и дает себе ненадолго отдых, последние минуты были нелегкими, но какое это теперь имеет значение. Запах в этом доме установился другой, какой-то более приятный, аммиачная вонь, которая стояла раньше в коридоре, исчезла, теперь здесь пахнет иначе, непонятно почему, но по-домашнему, кожей, женским потом, кофе и едва различимо духами. В дальнем конце коридора открывается дверь, выходит женщина в зеленом платье, у нее красивые стройные ноги, она вошла в другую комнату неподалеку, обе двери открытых, слышно, как она смеется, потом возвращается к себе, двери снова закрыты, коридор снова пуст. Яков все еще стоит, прислонившись к железной двери. Ему хочется выйти отсюда, может быть, прожектор уже не ждет его, может быть, он нашел себе что-нибудь новое, а может

быть, он все еще его ждет. Маловероятно, что он больше не ждет, не таким тоном задал вопрос этот солдат, чтобы можно было надеяться.

Яков идет по коридору. На дверях не написано, кто за ними сидит, на них только номера. Возможно, что дежурный занимает комнату, где сидел раньше начальник отдела, но уверенным быть нельзя и не в ту дверь стучаться не рекомендуется. Что тебе нужно? Хочешь, чтобы тебе объяснили, куда обратиться? Вы слышали, он хочет, чтобы ему здесь давали справки! Мы тут собираемся кое-что с ним сделать, у нас есть насчет него точный план, а он как ни в чем не бывало входит и хочет, чтобы ему объяснили, куда обратиться!

За дверью номер пятнадцать, когда-то «Мелкая торговля и ремесло» от «А» до «В», Яков слышит какие-то звуки. Он прикладывает ухо к двери, прислушивается, но ничего не разбирает, только отдельные слова, в которых нет никакого смысла. Если б дверь была потоньше, это все равно не помогло бы, потому что вряд ли в этой комнате один человек обращается к другому «господин дежурный по караулу». Вдруг дверь распахивается, как раз эта, с номером пятнадцать, к счастью, они здесь открываются наружу, так, что выходящий не может видеть Якова. Опять же счастье, человек оставляет дверь открытой, ведь он сразу же вернется, а когда считают, что находятся среди своих, оставляют двери открытыми, и потому Якова не заметили. В комнате работает радио, звук не очень чистый, приемник, видно, неважный, но это не музыка. С тех пор как Яков в этом гетто, он не слышал музыки, мы никто ее не слышали, только если кто-то пел. Диктор рассказывает неинтересные вещи, сообщения из ставки о присвоении посмертно звания подполковника, потом о полной обеспеченности населения продуктами питания, а потом уже до диктора дошла вот эта новость: в ходе тяжелых оборонительных боев нашим героически сражавшимся войскам удалось приостановить большевистское наступление в двадцати километрах от города Безаники. Во время боевых действий с нашей стороны... Человек вернулся в комнату, он закрывает за собой дверь, а дверь плотная, не пропускает звуков. Яков стоит не шелохнувшись, он услышал много, Безаника не очень далеко, не рядом, конечно, но и не за тысячу верст. Ему еще не приходилось бывать там, но что-то о ней он слышал, маленький городок, если едешь поездом через Милеворно на юго-восток через уездный город Прыя, где его дед по материнской линии держал аптеку, там пересаживаешься в направлении Коставки, то по дороге должна быть Безаника. Добрых четыреста километров, может быть, даже пятьсот, будем надеяться, что не больше, и туда они теперь дошли. Покойник услышал добрую весть и радуется, он хотел бы подольше порадоваться, но положение не позволяет, его ждет дежурный, и Яков должен идти. Следующий шаг самый трудный; Яков пытается сделать его, но ничего не выходит. Рукав защемило, человек, вернувшийся в комнату, приковал его к двери без малейшего злого умысла, он просто закрыл за собой дверь и поймал Якова в плен. Яков тянет рукав со всей осторожностью, но дверь сработана хорошо, сидит плотно, никаких зазоров, даже лист бумаги и тот не проскользнет, Яков отрезал бы кусок рукава, но нож дома, а зубами, половины которых не хватает, пробовать бесполезно. Тогда он решает снять куртку, просто снять, и пусть остается в двери, зачем она ему теперь. Он уже высвободил один рукав, но вдруг вспоминает, что куртка ему еще все-таки нужна. Не для будущей зимы — когда находишься в этом здании, что бояться будущих холодов, куртка нужна для дежурного, если он его еще найдет, для дежурного, который может, конечно, перенести вид еврея без куртки, рубашка у Якова чистая и всего с одной заплатой, но он вряд ли перенесет вид еврея без звезды на груди и спине (приказ № 1). Прошлым летом звезды были пришиты на рубашке, еще видны следы, теперь же — на куртке. И он снова надевает ее, остается при своих звездах, тянет сильнее, ему удастся выхватить несколько миллиметров, но недостаточно. Положение, что называется, отчаянное, он тащит куртку изо всех сил, что-то с треском рвется, и дверь открывается. Яков падает, над ним стоит человек в штатском, на лице удивление —

забавная неожиданность, он смеется, потом лицо его принимает серьезное выражение. Что Яков здесь делает? Яков встает и очень старательно выбирает слова: он не находился после восьми часов на улице, этого не было, постовой, который его задержал, сказал, что уже восемь и он должен явиться сюда к господину дежурному.

— И ты здесь подслушиваешь?

— Я не подслушивал. Я здесь никогда не был и не знал, в какую мне комнату. Поэтому я хотел постучать в эту дверь.

Человек больше не спрашивает, он кивком показывает в глубину коридора. Яков идет впереди, тот за ним. «Здесь». Это не комната начальника отдела. Яков смотрит на человека, потом стучит, но никто не отвечает. «Входи», — говорит человек и скрывается за своей дверью, когда Яков нажимает на ручку.

Яков в комнате дежурного, он останавливается на пороге, шапку он так и не надевал с тех пор, как попал под свет прожектора. Дежурный — человек молодой, лет тридцати, не больше, у него темные, почти черные волнистые волосы. Чин его узнать нельзя, он в рубашке, китель висит на вешалке, но так, что погон не видно. Поверх кителя кожаная портупея с револьвером. Если разобраться, это нелогично, портупея должна висеть под кителем, ведь сначала снимают портупею, а потом китель, однако она висит поверх. Дежурный лежит на черной кушетке и спит. Яков почти уверен, что дежурный спит крепко, Яков много раз слышал, как спят люди — у него на это слух тонкий. Дежурный не храпит, он дышит глубоко и ровно, Яков должен как-то обратить на себя его внимание. Обычно в таких случаях покашливают, но для данного случая это не подходит, так поступают, когда приходят к хорошим знакомым. Собственно, когда приходят к очень хорошим знакомым, тогда просто говорят: «Вставай, Соломон, я пришел», — или трясут его легонько за плечо. Но все равно покашливание здесь неуместно, слишком фамильярно, где-то на полдороге между «я здесь» и «проснись, Соломон». Яков собрался постучать в дверь, но опускает руку, он видит, что на письменном столе стоят часы, циферблатом к стене. Он должен знать, который час, нет ничего на свете, что в эту минуту ему более необходимо знать. На часах тридцать шесть минут восьмого. Яков тихонько возвращается к двери. Они подшутили над тобой, не они, только один, тот — с прожектором, он над тобой подшутил, и ты попался.

У Якова еще двадцать четыре минуты, если по-честному, то двадцать четыре плюс время, которое он теряет здесь. Он все еще не стучит, он узнал черную кушетку, на которой лежит дежурный. Он сам сидел когда-то на этой кушетке в конторе у Реттига, маклера Реттига, одного из самых богатых людей в городе. Яков одалживал у него осенью тридцать пять денег под двадцать процентов. В тот год лето было такое холодное, что почти никто не покупал мороженого, доходы мизерные, хуже не бывало, даже на его знаменитое мороженое с малиновым сиропом и на то не находилось любителей. Якову пришлось уже с августа взяться за картофельные оладьи, но к августу он еще не собрал всех денег на картофель, надо было одалживать. А на кушетке он сидел в феврале тридцать шестого, когда принес Реттигу долг. Кушетка стояла у него в передней, Яков сидел на ней целый час и ждал Реттига. Он еще удивлялся такой расточительности, из кожи прекрасно вышли бы два пальто или три куртки, а она к тому же стоит еще в передней.

Дежурный поворачивается на бок, вздыхает, причмокивает, из кармана брюк выskalывает зажигалка. Теперь Яков во что бы то ни стало должен разбудить его, нехорошо, если он проснется сам и увидит Якова. Яков стучит в дверь с внутренней стороны, дежурный говорит «Кто?», вытягивает ноги, продолжает спать. Яков стучит еще раз, ну разве можно так крепко спать, он стучит громко, дежурный садится, еще не проснувшись как следует, трет глаза и спрашивает: «Который теперь час?»

— Немножко больше половины восьмого, — говорит Яков.

Дежурный перестает тереть глаза и видит Якова. Он опять трет глаза, не знает, рассердиться или рассмеяться, такого вообще еще не случалось, ему никто не поверит. Он встает, снимает с вешалки португезу и китель, надевает его, подпоясывается, пристегивает кобуру. Садится за письменный стол, откидывается на спинку стула, протягивает перед собой руки.

— Чему я обязан честью?

Яков хочет что-то ответить, но не может, во рту пересохло, вот как, значит, выглядит дежурный.

— Только без стеснений, — говорит дежурный, — давай, выкладывай, что там случилось?

Во рту собралось немного слюны, он приятный человек, может быть, он новенький, может быть, вовсе не знает, какая у этого дома дурная слава. Якову приходит в голову — на короткое мгновение, — вдруг он ошибся в расстоянии и Безаника находится совсем не так далеко, не в трехстах километрах в лучшем случае, а гораздо, гораздо ближе, и может быть, человек перед ним боится, умный человек предусматривает все заранее, ведь должно же быть всему естественное объяснение. Но потом он вспоминает: диктор получил это сообщение сию минуту, дежурный в это время спал, он не успел его услышать. С другой стороны, может быть, и хорошо, что он его не слышал, в передаче шла речь о том, что русских удалось остановить. Кое-что вам удалось, думает Яков, а дежурный, может быть, считает, что русские продвинулись еще дальше. Яков слишком долго занимается теоретическими расчетами, дежурному начинает надоедать, а это уже неумно со стороны Якова.

— Ты что, не разговариваешь с немцами?

Само собой, Яков разговаривает с немцами, как можно не разговаривать с немцами, не дай Бог, чтобы у дежурного создалось такое впечатление, мы ведь разумные люди, мы ведь можем поговорить друг с другом.

— Господин постовой на вышке на Курляндской улице сказал, что я должен явиться к вам. Он сказал, что я был на улице после восьми.

Дежурный смотрит на часы, стоящие перед ним, потом подтягивает наверх рукав и смотрит на ручные часы.

— И больше он ничего не сказал?

— Он сказал, что я должен просить о положенном мне наказании.

Такой ответ повредить не может, думает Яков, он звучит покорно, трогательно, честно, и тот, кто до такой степени прямодушен, может претендовать на справедливое отношение; прежде всего потому, что поступок, в котором его обвиняют, вообще не был совершен, пусть проверят по любым часам.

— Как тебя зовут?

— Гейм, Яков Гейм.

Дежурный берет бумагу и карандаш, что-то записывает, не только имя, он пишет довольно долго, снова смотрит на часы, время идет, он продолжает писать, почти целых полстраницы, потом откладывает бумагу в сторону, открывает деревянный ящичек, достает оттуда сигарету и опускает руку в карман брюк. Яков подходит к черной кожаной кушетке, нагибается, поднимает зажигалку и кладет ее на стол перед дежурным.

— Спасибо.

Яков опять становится у двери, он увидел, что часы на столе показывают уже больше чем без четверти. Дежурный закуривает, затягивается, палец его рассеянно крутит колесико зажигалки, пламя снова вспыхивает, потом он защелкивает игрушку.

— Ты живешь далеко отсюда? — спрашивает он.

— Меньше десяти минут ходу.

— Иди домой.

Действительно: иди домой? Скольким он уже говорил это и они отсюда не вышли? Что он будет делать со своим пистолетом, когда Яков повернется к нему спиной? Что случится в коридоре? Как поведет себя постовой, когда увидит, что Яков избежал положенного ему наказания? Почему именно Яков Гейм, этот маленький, невзрачный, дрожащий Яков с глазами полными слез, должен быть первым евреем, который сможет рассказать, как выглядит участок изнутри? Для этого, как говорится, нужны новые шесть дней творения, потому что хаос в голове у него еще больший, чем царил тогда.

— Что же ты стоишь, отправляйся.

Коридор снова пуст, на коридор можно надеяться, его можно посчитать не самой большой опасностью. Но вот дверь на улицу. Когда он ее открывал, слышался шум? Она открылась беззвучно или заскрипела? Запищала? Задела за пол? Пойди и все заметь! Но это просто невозможно, если хотя бы раньше знать, что это будет иметь значение. А вообще, что значит иметь значение, если рассуждать трезво, абсолютно не важно, открывается она беззвучно или нет. Если она не пищит, ее надо открыть, а если она пищит — так что? Яков останется здесь в восемь без десяти?

Ручку двери он нажимает со всей осторожностью. Жаль, что нет другого слова, кроме «осторожность». Очень осторожно или бесконечно осторожно — все это даже отдаленно не напоминает того, что я имею в виду. Пожалуй, следует сказать: постарайся открыть дверь тихо, если он тебя услышит, это может стоить тебе жизни, жизни, которая вдруг получила смысл. Именно так он открывает дверь.

И вот Яков уже на улице, как, оказывается, холодно снаружи. Перед тобой широкая площадь, одно удовольствие шагать по такому простору. Прожектору надоело поджидать его, он развлекается где-то в другом месте или, пока не ищет никого, собирается с силами для новых приключений. Держись как можно ближе к стене, Яков, это всего лучше, пока не дойдешь до угла дома, а тогда стиснуть зубы и стремглав двадцать метров через площадь. Если он что-нибудь заметит, то сначала посветит туда-сюда, луч будет качаться в разные стороны, искать тебя, а за это время ты уже и проскочишь несчастные двадцать метров.

Действительно, площадь эта шириной почти в двадцать метров, я измерил расстояние, девятнадцать метров шестьдесят семь сантиметров, я потом туда приезжал, дом еще стоит, несколько не поврежден, только вышки с постовым больше нет, я попросил показать мне то место в середине мостовой на Курляндской улице и оттуда измерил расстояние шагами, я хорошо определяю расстояние по шагам. Но и это мне показалось недостаточно точным, я купил рулетку, снова пришел туда и еще раз промерил. Дети смотрели на меня и решили, не иначе как я важная персона, а взрослые с удивлением оглядывались и посчитали меня сумасшедшим. Появился даже полицейский, попросил показать документы и осведомился, с какой целью я произвожу здесь замеры; во всяком случае, там точно девятнадцать метров и шестьдесят семь сантиметров, это я установил.

Яков прошел до угла дома, теперь он готовится к перебежке, за несколько минут, оставшихся до восьми, надо преодолеть двадцать метров, дело, можно сказать, верное, но все-таки. Если бы он мог превратиться в мышь, мышь такая незаметная, маленькая и тихая. А ты кто? Судя по гестаповским приказам, ты вошь, ты клоп, все мы клопы. Создатель из каприза сделал нас клопами, только огромными, зрелище странное и смешное, — а где это видано, чтобы клоп захотел поменяться ролями с мышью? Яков решает, что бежать рискованно, лучше он постарается незаметно проскользнуть через площадь, так легче распознать звук, которого ты боишься. На половине пути он слышит голос постового, только не бояться, постовой обращается

не к нему, постовой говорит: «Слушаюсь!» — потом еще раз: «Слушаюсь! Так точно!» — единственное объяснение — он разговаривает по телефону. Может быть, ему позвонил другой постовой, так, скуки ради. Но постовой не говорит другому постовому «слушаюсь!», это исключено. Представим себе самый благоприятный случай, на проводе дежурный. Что это взбрело вам в голову, вы что, с ума сошли, нагнать такого страха на бедного ни в чем не повинного еврея (так точно!). Разве вы не видели, что человек совсем растерялся, у него ноги тряслись! Чтобы больше этого не повторялось, поняли? (Слушаюсь!) На четвертом «слушаюсь!» Яков добрался до угла, теперь пусть говорит сколько душе угодно, до посинения, а потом не прошло и десяти минут, как Яков дома.

Вместе с Яковом живут Иосиф Пивова и Натан Розенблат. Они познакомились только здесь, в этой комнате, они недолюбливают друг друга, теснота и голод приводят к ссорам, но справедливости ради следует сказать, что уже первая встреча прошла натянуто.

Розенблат умер за год, даже больше, до счастливого возвращения Якова, он съел кошку, которая была так неосторожна, что, изголодавшись, презрела табличку возле колючей проволоки с предупреждением о смертельной опасности, и в один прекрасный день Розенблат первым обнаружил ее и съел, как уже было сказано, и от этого умер. Пивова распрощался с этим миром недавно, три месяца назад. Его уход сопровождался загадочными обстоятельствами, не подлежит сомнению только тот факт, что его застрелил надзиратель на обувной фабрике, где Пивова работал. Говорят, он вел себя нагло, выкрикнул в лицо надзирателю слова, какие и в нормальные времена лучше держать при себе, и, естественно, надзиратель застрелил его в справедливом гневе. По одной теории, Пивова не умел усмирять свой необузданный темперамент, он никогда не отличался сдержанностью, и когда-нибудь это должно было так кончиться. Другие же, напротив, утверждают, что темперамент и эмоции в данном случае ни при чем, они считают, что это было самое обыкновенное самоубийство, хотя и очень ловко подготовленное. Так или иначе, Пивова уже три месяца, как не живет на свете, а Розенблат вот уже год, в последнюю зиму его кровать окончила свои дни в печке, а кровать Пивовы ожидает своей участи, распиленная на чурбашки, она пока что, до холодов, лежит в подвале. Свежее пополнение до сих пор не поступало, все запасы кончились, пусть будут прокляты все кошки и надзиратели, во всяком случае, они друг друга недолюбливают.

Розенблат, когда и бывает дома, молчит, он сидит с закрытыми глазами на кровати и молится, он последним укладывается спать и первым встает, потому что его препирательства с Богом отнимают массу времени. От этой привычки он не отказался даже после смерти, но он хотя бы молчит, сидит и молчит с закрытыми глазами, самое большее, решается оглянуться по сторонам.

Пивова скандалист. Его вселили последним, а ведет он себя так, словно был здесь с самого начала. Все переставляет по-своему, желает спать ногами к окну, от него надо прятать пайку. Не будем стесняться, скажем откровенно, Пивова раньше работал в лесу, браконьером. Еще отец его был браконьер, а сам он еще похлеще, детей у него нет.

Итак, Яков пришел домой. День оказался изнурительным, полным тревог и страха. Много пережито, много услышано. Радуйтесь, братья, с ума можно сойти от радости, русские в двадцати километрах от Безаники, если вам это что-то говорит! Открой глаза, Натан Розенблат, брось пререкаться, Пивова, русские на пути к нам, вы понимаете, они уже по дороге, они в двадцати километрах от Безаники! Но Розенблат продолжает молиться, Пивова лежит ногами к окну, пусть себе лежат, и спорят, и молятся, и остаются мертвыми, Яков дома, а русские пусть поторопятся.

Теперь поболтаем немного.

Поболтаем немного, как это полагается во всякой порядочной истории, доставьте мне эту маленькую радость, без воспоминаний все вокруг так бесконечно грустно. Всего несколько слов о воспоминаниях, не знаю, происходило ли все так на самом деле, несколько слов о быстротекущей жизни, спечем быстрый пирог, положим в него всего по-скромному, съедим только один кусочек, а тарелку отставим в сторону раньше, чем расхотелось съесть его весь.

Я живу, в этом нет сомнений. Я живу, и никто не может заставить меня пить и вспоминать о деревьях, и о Якове, и обо всем, что с этим связано. Напротив, мне предлагают немного рассеяться, устроить себе маленький праздник, живем один раз, мой дорогой. Куда ни посмотри — перемены, новые веселые заботы вперемежку с небольшими неудачами, женщины — они еще не перестали существовать для меня, — молодые леса, ухоженные могилы, к каждой годовщине туда наносят столько цветов, что это выглядит почти как расточительство. А я человек скромный. Пивова, которого я никогда не видел, тот не отличался скромностью, от него надо было прятать дичь в лесу и хлебную пайку, но я не Пивова.

Хана, моя жена — она всегда находила повод возразить мне, — сказала однажды: «Ты ошибаешься, — так начиналась почти каждая фраза, обращенная ко мне, — человек может считать себя скромным, когда он довольствуется тем, на что имеет право. Не меньшим!»

Если смотреть на дело так, то я должен быть совершенно доволен, иногда мне кажется, что ко мне не по заслугам внимательны, люди со мной приветливы, предупредительны, изо всех сил стараются выглядеть терпеливыми, не могу пожаловаться.

Иногда я говорю: вот и вся история, спасибо, что выслушал, не надо мне ничего доказывать.

— Я и не собираюсь, я хочу только сказать, что теперь мне двадцать девять...

— И не надо мне вообще ничего доказывать, — повторяю я.

— Нет, все-таки. Когда кончилась война, мне было только...

— Пошел ты в задницу, — говорю я, встаю и ухожу. Через пять шагов я начинаю на себя злиться, что был так груб с ним, без всякой видимой причины на него напал, а ведь он не имел виду ничего плохого. Но я не оборачиваюсь, иду дальше. Я плачу по счету и, выходя из пивной, смотрю через плечо назад, на стол и вижу, что он сидит ошарашенный, не понимая, что это вдруг на меня наехало, я закрываю за собой дверь и не хочу ему ничего объяснять.

Или другой случай: я лежу с Эльвирой в постели. Чтобы все стало на свои места: мне сорок шесть, двадцать первого года рождения. Я лежу с Эльвирой в постели, мы работаем на одной фабрике, у нее самая белая кожа, какую я в своей жизни видел. Я думаю, мы в конце концов поженимся. Мы еще никогда об этом не говорили, и вдруг она меня спрашивает: «Скажи, это правда, что ты...» Понятия не имею, кто ей рассказал. Я услышал в ее голосе жалость, и меня всего затрясло. Я иду в ванную комнату, сажусь на край ванны и начинаю петь, чтобы не сделать того, о чем я точно знаю, что пожалею, стоит мне пройти пять шагов. Когда я через полчаса возвращаюсь, она спрашивает удивленно, что это вдруг на меня нашло, я говорю, ничего не случилось, с чего ты взяла, целую ее и тушу свет и пытаюсь заснуть.

Весь город в зелени, окрестности — лучше вообразить себе нельзя, парки расчищены, каждое дерево приглашает меня повспоминать, и я не отказываюсь. Но когда оно заглядывает мне в глаза, это дерево, появились ли во взгляде моем печаль и просветленность, мне приходится, увы, его огорчить — нет. Потому что это не то дерево.

Яков рассказывает это Мише. Когда он пришел на товарную станцию, у него не было твердого намерения рассказать это кому-нибудь, но не принимал он и решения держать это в секрете, короче, он пришел на товарную станцию без определенного плана. Он знал, что трудно будет удержаться и не поделиться новостью, вряд ли ему это удастся, ведь это самая лучшая из лучших новостей, а хорошие новости для того и существуют, чтобы их передавали друг другу. С другой стороны, известно, как это бывает — тот, кто сообщил, оказывается ответственным за последствия, известие превращается в обещание, и ты уже бессилён перед этим. На другом конце города начнут говорить, что видели первых русских, старухи будут божиться: трое молодых, один по виду татарин, обеспокоенные отцы подтвердят. Будут говорить, что узнали это от такого-то, а тот от такого-то, и кто-нибудь в этой цепочке знает, что новость исходит от Якова. От Якова Гейма? Начнут наводить справки, нужно аккуратнейшим образом проверить все, что имеет отношение к этому жизненно важному вопросу, — достойный, надежный человек этот Яков, производит солидное впечатление, раньше у него где-то поблизости был скромный ресторан. Похоже на то, что можно позволить себе радоваться.

Пройдут дни, если Бог сочтет нужным, недели, триста или пятьсот километров — немалое расстояние, и в выразительных взглядах, которыми станут встречать Якова, будет все меньше симпатии, с каждым днем все меньше. На другой стороне улицы начнут при виде его перешептываться, старухи возьмут грех на душу и будут желать ему неприятностей, мороженое, которое он продавал, оказывается, было самое скверное в городе, это давно всем известно, даже его знаменитое мороженое с малиновым сиропом, а картофельные оладьи никогда не были вполне кошерными — вот что может с ним случиться.

Яков вместе с Мишей тащит ящик к вагону.

Или представим себе другую возможность: говорят, что Гейм слышал, будто русские перешли в наступление, они уже в четырехстах километрах от города. Где он это слышал? В том-то и дело, что в участке. В участке? Ужас будет написан во взгляде, которым обменяются при этом сообщении. Медленный горестный кивок будет, скорей всего, ответом, кивок, подтверждающий подозрение. Этого от него не ожидали, как раз от Гейма нет, никогда; вот так можно ошибиться в человеке. И в гетто станет одним мнимым шпионом больше.

Во всяком случае, Яков пришел на товарную станцию без каких бы то ни было твердых намерений. Хорошо, если бы они узнали это помимо него, чтобы сами встретили его такой новостью, это было бы самое лучшее. Он бы обрадовался вместе с ними, не проговорился, что три человека уже в курсе дела, Розенблат, он и Пивова, он держал бы язык за зубами, радовался бы с ними и разве что спросил бы через несколько часов, кто принес это известие. Но как только Яков появился на разгрузочной площадке, он увидел, что они еще не знают, по их спинам он сразу это понял. Не случилось такого счастья, и нечего было на него рассчитывать, два счастливых случая за такое короткое время выпадают разве что Рокфеллеру в воскресенье.

Они подносят ящик к вагону. Никто не рвется заполучить Якова в напарники, мудрено вырасти силачом, когда печешь оладьи, а ящики тяжелые. Таких, как Яков, на станции много, а силачей и великанов увидишь разве что через лупу. За силачами и великанами гоняются, но они не идут на сделки, они лучше таскают вместе. Не начинай говорить мне про товарищество и все такое прочее, кто говорит об этом, не имеет никакого, ни малейшего понятия о том, что здесь происходит. Я сам не принадлежу к силачам, я их проклинал и ненавидел, когда должен был таскать ящики с таким парнем, как я. Но если бы я был силачом, я поступил бы так же, как они, точно так же и не иначе.

Яков и Миша тащат ящики к вагону.

Миша — длинный парень двадцати пяти лет со светло-голубыми глазами, у нас это редкость. Когда-то он был боксером в обществе «Ха-коах», выступил только в трех боях, из

которых два проиграл, а в одном его противник был дисквалифицирован за удар ниже пояса. Он был спортсменом среднего веса, по правде, ближе к полутяжелому, но тренер посоветовал ему сбросить несколько килограммов, потому что в полутяжелом весе конкуренция слишком большая. Миша последовал его совету, но это не помогло, в среднем весе он тоже не много преуспел, что доказывают три его боя. Он уже подумывал, не наест ли ему тяжелый вес, может быть, там пошло бы лучше, но, когда он приблизился к восьмидесяти пяти кило, все планы перепутало гетто, и с тех пор он только постепенно теряет вес. Несмотря на это, сила у него пока еще есть, и он заслуживает лучшего напарника, чем Яков, многие того мнения, что его доброта когда-нибудь будет стоить ему головы. Но никто ему этого не говорит, может быть, он сам со временем придет к такому выводу.

— Не глазей по сторонам, смотри под ноги, не хватает нам еще грохнутья, — говорит Яков.

Он злится потому, что ящик тяжелый, несмотря на Мишу, а больше всего потому, что знает: Миша будет первым, кому он расскажет, он не знает только, какими словами надо начать.

Они ставят ящик на край вагона, Миша действительно рассеян, мысли его где-то далеко, они возвращаются к складу за новым ящиком. Яков пытается следить за Мишиным взглядом, из себя может вывести, когда человек все время смотрит в сторону, а что там интересного, станция выглядит как всегда, ничего нового.

— Вон тот вагон, — говорит Миша.

— Какой вагон?

— На предпоследнем пути. Без крыши.

Миша произносит эти слова шепотом, хотя ближайший постовой в двадцати метрах и не обращает на них внимания.

— Ну и что?

— В вагоне картошка.

Все время, пока они несут следующий ящик, Яков ворчит: ну и что, картошка, какой от нее прок, картошка интересна, когда она у тебя есть, когда ее можно сварить или съесть сырую или сделать из нее оладьи, а не тогда, когда она лежит в каком-то вагоне на такой станции, как эта. Картошка в вагоне — самая скучная вещь на свете. И если бы там лежали маринованные селедки, или жареные гуси, или миллионы горшочков с золотом, Яков говорит и говорит, Мишу надо отвлечь и завести разговор на другую тему. А Миша все равно не слушает, постовые должны скоро смениться, они всегда делают из смены караула целый спектакль по стойке «смирно» и с рапортом и винтовкой через плечо, и это единственный момент, когда можно попробовать. Возражения Якова нечего принимать всерьез. Конечно, это риск, правильно, даже очень большой риск, ну и что? Никто не утверждает, что картошка уже у тебя в кармане. Всякий шанс — это риск, но разве коммерсанту нужно долго объяснять, что если нет риска, то нет и шансов? Иначе это было бы верное дело, а в жизни верное дело — редкость, риск и надежда на успех — две стороны одной медали.

Яков знает, что времени в обрез, парень в таком состоянии, что с ним нельзя разговаривать нормально. Он видит, как строем приближаются солдаты, сейчас будет смена караула, сейчас он должен ему это сказать.

— Ты знаешь, где находится Безаника?

— Подожди, — в волнении говорит Миша.

— Я спрашиваю, ты знаешь, где находится Безаника?

— Нет, — отвечает Миша, и глаза его провожают строй солдат, осталось всего несколько метров.

— Безаника находится в четырехстах километрах от нас.

— Ладно.

— Русские в двадцати километрах от Безаники! На несколько секунд Мише удается оторвать взгляд от приближающихся строем солдат, его удивительные голубые глаза улыбаются Якову, в сущности, это очень порядочно со стороны Гейма, и он говорит:

— Спасибо, Яков, ты славный человек.

Якова чуть не хватил удар. Преодолеваешь страх, не считаешься ни с какими правилами и запретами, отбрасываешь осторожность, а для нее есть основания, да еще какие, доверяешься молодому голубоглазому идиоту, а что делает этот сопляк? Он ему не верит. И ты не можешь просто повернуться и уйти, не можешь оставить его с его дуростью, сказать, иди к черту, взять и уйти. Ты должен остаться возле него, спрятать свой гнев до более подходящего случая, сейчас ты не можешь разрешить себе даже помечтать, как ты его отделаешь. Ты должен вымалывать его доверие, будто от этого зависит твоя собственная жизнь, ты должен доказать правдивость своих слов, хотя не тебе это нужно, только ему это нужно. И все это ты должен проделать страшно быстро, еще до того, как они станут друг перед другом, с лязгом вскинут на плечо винтовки и доложат, что чрезвычайных происшествий не произошло.

— Ты не рад? — спрашивает Яков.

Миша дружески улыбается. «Конечно, конечно», — говорит он голосом, который звучит немного грустно, но Якову следует расслышать в нем и известную признательность за свои трогательные усилия. А теперь ему надо наблюдать за более важным. Строй солдат приближается, каменный дом — помещение для железнодорожника и охранников — они уже прошли. Миша весь дрожит от волнения, и Яков старается говорить еще быстрее, чтобы слова его сбегали с губ быстро-быстро, чтобы они бежали быстрее, чем могут бегать солдаты. Он рассказывает свою историю в самой краткой редакции, только главное — Господи, почему только он не начал говорить раньше! О человеке с прожектором, о коридоре в участке, о двери, которая открылась наружу и спрятала его. Последние известия, которые он услышал из приемника, он передал слово в слово, потому что тысячу раз повторял их ночью, ничего не добавив и ничего не скрыв. Краткое пребывание в плену у двери он выпускает, это несущественно, о человеке, который показал ему, где сидит дежурный, тоже, он роли не играет, статист в этой истории, рассказывает только о дежурном, который, как по всему видно, оказался человеком и потому слабым звеном во вполне логической цепи доказательств. Он посмотрел на часы как человек и как человек сказал Якову, пусть идет домой.

И вдруг Яков с ужасом видит, что Мишу ничего не остановит, только уверенность в правдивости его слов, а солдаты уже стоят друг против друга, врагу нужно нанести удар, когда он его менее всего ожидает, когда его внимание отвлечено. Миша пригнулся и приготовился к прыжку, ему не до уверенности и не до русских, последнее, что Яков может сделать, — схватить Мишу за ногу. Они оба падают, Яков видит в Мишиных глазах ненависть, он лишил его счастливого шанса, по крайней мере попытался лишить. Миша вырывается, теперь ничего не может остановить его, он отталкивает Якова.

— У меня есть радио, — говорит Яков.

Стреляли не постовые. Пока постовые ничего не видели, они заняты своим спектаклем, сменой караула. Это Яков выстрелил и попал в сердце. Удачный выстрел, с бедра и без точного прицела, и все-таки попал. Миша так и остается сидеть, русские от нас в четырехстах километрах, возле какой-то Безаники, и у Якова есть радио. Они сидят на земле и смотрят друг на друга — не было вагона с картошкой, никто не ждал смены караула, — вдруг оказалось, что у них еще есть завтра. Правда, все так же верно, что шансы на успех и риск — это две стороны одной и той же медали, но нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать, что между этими

двумя сторонами должно существовать нормальное соотношение.

Они сидят еще некоторое время. Мишины нееврейские глаза смеются счастливым смехом, здорово Яков его отделал. Яков встает, ведь нельзя же сидеть вечно, он весь кипит от злости. Его вынудили сделать безответственное заявление, сболтнуть сгоряча заведомую ложь, и все этот наивный идиот, что сидит на земле со своим дурацким недоверием, — потому что вдруг у него разыгрался аппетит на картошку. Он еще скажет ему всю правду, не сейчас, но обязательно сегодня, все равно, будет ли завтра стоять этот вагон или нет. Уже через час, самое позднее через час, а может быть, даже раньше он скажет ему правду, эти несколько минут радости он не хочет ему портить, хотя тот их не заслужил. Скоро он не сможет жить без этой радости, тогда Яков скажет ему правду, и тогда он поверит, что так все и случилось вчера в участке. В конце концов, в продвижении русских это ничего не меняет, он должен будет поверить его рассказу.

— Приди в себя и поднимись. И прежде всего держи язык за зубами. Ты знаешь, чем это пахнет, радио в гетто. Чтобы ни одна душа об этом не знала.

Мише все равно, чем это пахнет, радио в гетто. Пусть тысячи приказов под страхом смертной казни запрещают иметь радио, разве это важно теперь, когда вдруг оказалось, что еще будет на свете завтра?

— Ах, Яков...

Разводящий видит длинного парня, который просто так, без всякого дела, даже не избитый, сидит на земле, подпирает голову руками и глазеет на небо. Разводящий расправил складки на кителе, вскинулся всей своей маленькой фигуркой и зашагал к нему.

— Осторожно, — кричит Яков и показывает головой туда, откуда в сознании своего достоинства приближается опасность.

Миша приходит в себя, вернулся к окружающим, он знает, что его ждет, но ничего не может с собой поделать, лицо его продолжает радоваться. Он берется за ящик, хочет поставить его на ребро, в это время солдат бьет его по щеке. Миша поворачивается к нему, солдат ниже его на целую голову, и ему стоит некоторого труда дотянуться до Мишиного лица. Комическая сцена, не для немецкой кинохроники, скорее для немого фильма, в котором маленький полицейский Чарли пытается уложить великана с мохнатыми бровями, изо всех сил старается, а большой человек даже не замечает его усилий. Все знают, что Миша может поднять его на воздух и сделать из него котлету, — если только захочет. Начальник караула бьет его еще немножко. У немца уже, наверно, заболели руки, он кричит какие-то слова, какие — никого не интересует, и успокаивается только тогда, когда у Миши изо рта потянулась тоненькая струйка крови. Затем немец снова расправляет складки на кителе, оказывается, он в волнении уронил фуражку, он ее поднимает, насаживает на голову, возвращается к своим солдатам и приказывает сменившимся с караула следовать за ним. Миша вытирает кровь рукавом, подмигивает Якову и берется за ящик.

— Давай, — говорит он.

Яков и Миша поднимают ящик, и, пока они несут его, Якова просто распирает досада, он стискивает зубы, чтобы она не выплеснулась наружу. Он не суеверен, и не существует Высшей силы, но необъяснимым образом, может быть, потому, что все было немножко смешно, он считает, что Миша заслужил побои.

— Ах, Яков...

* * *

Мы знаем, что произойдет дальше. У нас есть наш скромный опыт насчет того, как порой

кончаются такие истории, у нас есть немножко воображения, и потому мы знаем, что случится. Миша не сможет сохранить тайну. Конечно, он дал слово, конечно, радио иметь запрещено, но не по злой воле он нарушил молчание и совсем не по злобе, не для того, чтобы доставить Якову неприятности, а только от радости, от одной только радости. Перестаньте искать смерти, скоро вам снова понадобится жизнь. Перестаньте отчаиваться, дни наших страданий сочтены. Соберитесь с силами, чтобы пережить это время, у вас ведь есть опыт, вы же знаете тысячи уловок, как заставить смерть промахнуться, до сегодняшнего дня вам это удавалось. Постарайтесь остаться в живых — только эти последние четыреста километров, — потом кончится время, которое надо пережить, начнется просто жизнь.

* * *

Вот в чем причина: Миша не выдержит и поделится своей тайной, его спросят, откуда он знает, и он назовет источник, ничего в этом нет такого. Скоро даже детям в гетто будет известен великий секрет, конечно, после клятвенного обещания никому ни слова, Боже сохрани. Они узнают о нем потому, что родители в радости своей забудут, что о таких вещах следует говорить шепотом. К Якову, владельцу радио Гейму, начнут ходить люди и спрашивать, что нового слышно сегодня, а глаза у них будут такие — Яков никогда не видел таких глаз. Что же он, ради всего святого, будет говорить этим людям?

Прошла половина дня, большие ящики погружены в вагоны, пришла очередь ящиков поменьше, таких, которые может нести один человек, и Яков потерял Мишу из виду. Конечно, не вовсе потерял из виду, они встречаются каждые несколько минут, но всегда на расстоянии, проходя мимо друг друга с грузом на спине или по дороге за новой ношей. Возможности разъяснить ему истинное положение еще не представилось, нельзя же просто отвести его в сторону и сказать, дело было так и так. Каждый раз, когда Миша его видит издали, он подмигивает или улыбается, корчит рожу или незаметно подает знак, каждый раз доверительно, мы, мол, двое кое-что знаем. Случилось, что Яков забылся и подмигнул в ответ, но сразу же одернул себя — он заходит слишком далеко, закрывает путь для возможности поставить вещи на свои места. Но это выше его сил, с каждым разом досада его улетучивается, пусть парень порадуется, это его право, как же можно не радоваться после того, что случилось.

День весь голубой, будто специально для праздника. Постовой возле деревянного барака сидит на сложенных кирпичах, он снял винтовку, положил ее рядом с собой, закрыл глаза, греется на солнышке. Он улыбается так безмятежно, что его даже захотелось пожалеть.

Яков проходит мимо и внимательно на него смотрит, он идет совсем медленно, вглядывается в лицо с закрытыми глазами, запоминает улыбку, большой кадык, массивный золотой перстень на мизинце постового. Как рассказывал мне Яков, он открывает в себе нечто новое, теперь он другой человек, его чувства стали вдруг зорче, ото дня ко дню он воспринимает все острее, начинает наблюдать. Безучастное отчаянье не устояло, отступило перед волнениями последней ночи, ничего не осталось от тупого безразличия, теперь его долг — все удержать в памяти, чтобы потом суметь об этом рассказать. Потом.

Яков придумал себе маленькую игру: по дороге к вагону и обратно к ящикам он проходит совсем близко от дремлющего охранника, почти переступает через его протянутые ноги и на секунду застит ему солнце. Охранник этого, конечно, не замечает, даже не открывает глаз, он лишь чуть подвинул голову и скривил губы, как кажется Якову. Но все же каждый раз ему достается немножко меньше солнца. Яков играет в эту игру до тех пор, пока не наступает очередь ящиков из другого ряда и охранник уже не на его пути; теперь, чтобы пройти мимо,

нужно сделать крюк, развлечение того не стоит, да и риск слишком велик. Однако Якову приятно, что набежавшие облачка продолжают вместо него портить немцу удовольствие от солнечной ванны.

Затем наступает время обеда.

Из каменного дома выходит человек в форме железнодорожника, с тех пор, как мы здесь работаем, все тот же самый. У него негнувшаяся нога, при каждом шаге раздается звук, будто маленький камешек скатывается в воду, ясно, что нога деревянная. Мы называем его Свисток, в этой кличке нет ничего презрительного, потому что о его человеческих и деловых качествах нам ничего не известно. Единственное, что мы имеем против него, так это то, что он немец; при трезвом рассмотрении это обстоятельство само по себе не должно быть причиной плохого отношения, но такими несправедливыми делает нас порой беда. Как только человек выходит из дома, он вытаскивает из нагрудного кармана свисток, висящий на черном шнурке, и свистит изо всех сил, что означает наступление обеденного перерыва. Это единственный звук, который мы за все время от него слышали, не считая шуршания деревянной ноги, поэтому мы называем его Свисток. Очень может быть, что он немой.

Мы становимся в очередь друг за другом, очень организованно, без спешки и толкотни. Так они нас приучили под угрозой лишения еды. Это должно выглядеть, словно нам совсем не хочется есть, опять эта еда, только войдешь во вкус, как тебя уже отрывают от работы, то и дело отрывают от работы для еды. Итак, мы становимся в очередь. Не спеша оглядываешься и выравниваешь воображаемую прямую, проверяешь, вытянув вперед руку, расстояние до стоящего перед тобой, продвигаешься на несколько сантиметров, чтобы это выглядело, будто ты находишься среди благовоспитанных людей. Из кармана брюк вынимаешь ложку, берешь ее в левую руку, опускаешь вдоль шва на левой штанине, потом из-за угла барака появляется тележка, на ней стопка алюминиевых мисок и два дымящихся зеленых котла. Тележка останавливается у головы прожорливой змеи, первый в очереди выходит вперед, открывает крышку котла, при этом он всегда обжигает себе пальцы, — и начинает раздачу. Свисток молча стоит рядом и быстрыми глазками следит, чтобы порядок соблюдался неукоснительно.

В этот голубой день дежурный я. Я не знаю ничего, ни о чем, я всегда все узнаю последним, я зол ужасно, потому что солнце печет немилосердно, а мне приходится делать дополнительную работу, болят обожженные пальцы, и еду я получу последним. Я шлепаю каждому в миску половник супа, они отходят в сторону, я не замечаю ничего особенного на их лицах, да я и не обращаю на них внимания. Я не вижу даже, кому я наливаю, я смотрю только на миски.

Яков получил свою порцию, как рассказывают, он оглядывается, ища глазами Мишу, который стоял далеко впереди него в очереди. Обед — удобная возможность обменяться парой слов, внести небольшую поправочку, которая, по существу, ничего не меняет в положении дел. Миши нигде не видно, площадь большая, каждый ищет укромное местечко, чтобы спокойно поесть. Искать по всем углам — перерыва не хватит, Яков присаживается на ящик и ест горячий суп. Он тоже только человек и в мыслях своих далеко от миски с едой, что будет, и как долго еще терпеть, и что потом, а солнце светит, и свет его не заслоняет ничья тень. В это время подходит Ковальский. Ковальский подходит.

— Есть здесь свободное местечко? — спрашивает Ковальский.

Он садится рядом с Яковым и принимается за еду. Ковальский бесподобен. Он считает себя хитрецом, ему, так он думает, палец в рот не клади, а при этом лицо его просто не в состоянии что-нибудь скрыть, у него болтливое лицо. Люди, которые его хоть немного знают, безошибочно угадывают, что с ним случилось, еще до того, как он откроет рот. Его слова только подтверждают предположения, если его хоть немножко знать. На товарной станции все

немножко знают Ковальского, и Яков знает его с тех пор, как они вместе бегали в школу. Здесь они потеряли друг друга из виду, в эти плохие времена, нетрудно отгадать почему. Оба они не силачи, а ящик не становится легче от того, что с другого конца его тащит старый друг, что поделаешь, обстоятельства сильнее нас. А другой возможности встретиться, можно сказать, нет. С Ковальским Яков почти никогда не работает вместе, а теперь вот он приходит со своей миской, говорит «есть здесь свободное местечко», садится рядом и принимается за еду.

Ковальский был самым частым гостем в кафе у Якова. Не самым лучшим, но самым частым. Каждый день около семи звонил колокольчик у входной двери, пришел Ковальский, кто же еще. Ковальский садился на свое место и ел картофельные оладьи, он их столько уничтожал, что можно было просто с ума сойти, меньше четырех или пяти никогда, а потом еще и рюмочку, чтоб никто не видел, потому что у Якова не было лицензии на продажу водки. Любой хозяин пришел бы в восторг от такого клиента, но не Яков, потому что Ковальский никогда не платил, ни разу ни одного гроша. Причина щедрости Якова была вовсе не та, что они вместе бегали в школу, согласитесь, что это совсем не причина. Однажды вечером, когда оба выпили, они по глупости заключили соглашение. Парикмахерская Ковальского была на той же улице, они и так почти каждый день встречались, и соглашение показалось им обоим выгодным. Ты бесплатно у меня, я бесплатно у тебя. Потом оба жалели, но соглашение есть соглашение, и в конечном счете один человек разорить не может. Раньше оладьи были самым любимым блюдом Ковальского, потому он, наверно, и предложил, ты у меня даром, я у тебя даром, но со временем они ему опротивели, и он съедал четыре штуки просто потому, что Яков по старой привычке безмолвно ставил перед ним тарелку; гораздо важнее для него была рюмочка после еды. Поначалу в невыгодном положении оказывался Яков: вследствие той не поддающейся воздействию закономерности природы, что оладьи можно есть каждый день, а волосы каждый день подстригать нельзя. В результате долгих размышлений Яков пришел к решению начать бриться у Ковальского. Он пожертвовал даже своей реденькой бородкой, хотя не без угрызений совести. Зато летом он брал реванш — потому что, к его счастью, желудок Ковальского не переносил мороженого, и в это время он один пользовался выгодами их соглашения. Постепенно, однако, меркантильные расчеты перестали его волновать, другие заботы оказались важнее, он снова отпустил бородку, и вся история тихо кончилась сама собой.

Но все это дела давние, теперь Ковальский сидит рядом с ним, хлебает свой суп, неизвестно, сколько он еще выдержит молчание, на его костлявых щеках красными точками написан один-единственный вопрос, как он ни старается его скрыть. Яков не поднимает глаз, упорно смотрит в свою миску, уговаривает себя, что это случайно, бывают же странные совпадения. Спросить, как дела, — глупо, думает он. Он старательно облизывает ложку, сует ее в карман, подниматься с места еще не время, перерыв не кончился. Последние в очереди еще получают свою порцию. Яков отставляет миску, откидывается назад, закрывает глаза, хоть на несколько минут почувствовать себя как тот охранник, понежиться на солнце.

Ковальский перестает работать ложкой, но Яков знает, хоть глаза у него и закрыты, что миска Ковальского еще не пуста, — он еще не скребет по дну, скажем, так: Яков слышит, что Ковальский на него смотрит. Теперь молчание уже не может длиться долго, нужно только найти подходящее начало для разговора.

— Что нового? — спрашивает Ковальский будто между прочим.

Когда Яков поднимает на него глаза, он уже опять прилежно ест, на щеках еще написаны его тайные мысли, но невинные глаза не отрываются от супа. словно ты пришел в его парикмахерскую, сядишь на единственный стул перед единственным зеркалом, он стряхивает с полотенца черные волосы предыдущего клиента и подвязывает его Якову, как всегда, слишком туго.

Что нового? Сын Мунцека выиграл свой первый процесс, похоже, что он сделает себе карьеру, но это давно известно, еще вчера Хюбнер рассказывал. А вот что ты, наверно, еще не знаешь, так это то, что у Кварта сбежала жена, никто не знает, где она. И правду сказать, Кварта ни один нормальный человек не в состоянии выдержать. Такими знакомыми, привычными, из того, другого времени прозвучали в душе Якова эти слова, что ему захотелось сказать: не снимай сзади так много, как в прошлый раз.

— Ну что? — спрашивает Ковальский, и глаза его еще немножко и утонут в супе.

— Что может быть нового? — говорит Яков. — Почему ты вдруг спрашиваешь именно меня?

Ковальский вскидывает к Якову свое лицо прожженного хитреца, лицо, которое ничего не умеет скрывать, оно обращено к Якову с мягким укором, я-де понимаю твою осторожность, однако в этом особенном случае она, право же, неуместна.

— Яков! Разве мы не старые друзья?

— При чем тут старые друзья, — говорит Яков. Он не уверен, что ему удастся правдоподобно играть непонимающего. Что ни говори, Ковальский с ним не вчера познакомился. В конце концов, не так уж важно, удастся ему или нет, если Ковальский что-то знает, он не отцепится, он выпьет из него всю кровь, как пиявка, пока не попытается.

Ковальский придвигается чуть ближе, оставляет ложку плавать в супе, хватается Якова свободной рукой за локоть, теперь ему не отвертеться.

— Ну ладно, давай откровенно. — Он понижает голос до громкого шепота, которым говорят о секретах. — Это правда насчет русских?

Якова испугал его тон. Не шепот, шепотом обсуждают самые разные дела, шепота бояться нечего. Якова испугала серьезность, с какой были произнесены эти слова, он понимает, что здесь так легко не отделаешься: эта дрожь в голосе Ковальского. В ней ожидание, которое не потерпит, чтобы с ним шутили, здесь требуют уверенности, тебя спрашивает человек, который хочет получить ответ только на этот, самый важный вопрос, и нет ничего важнее — на всю жизнь, во все времена. И все-таки Яков делает последнюю бесполезную попытку:

— Каких русских?

— Каких русских? Зачем ты меня обижаешь, Яков? Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? Подумай, Яков, кто сидит рядом с тобой! Все кругом знают, что у него есть радио, а мне, своему единственному и лучшему другу, он не хочет говорить!

— Все кругом знают? Ковальский идет на попятный:

— Не сказать, что все, но кое-кто знает. Ведь мне же рассказали, или я, по-твоему, ясновидящий?!

Еще того не легче. Сплошные неприятности для Якова. Теперь досаду на Ковальского вытеснила злость на Мишу. Этот болтун поставил Якова в ужасное положение, бесполезно отводить Мишу в сторонку и разяснять, как все произошло на самом деле, теперь это совершенно лишнее, огонь уже перебросился на новое место, теперь неизвестно, кого отводить в сторонку. И даже если взять на себя такой труд и подойти к каждому, если даже попытаться, набравшись ангельского терпения, объяснить им всем, одному за другим, благодаря какому идиотскому, ни с чем не сообразному стечению обстоятельств это великолепное известие долетело до гетто и донеслось до их ушей, — что им остается, как не поверить ему? При всем том, что они считают его порядочным человеком и согласятся, что он попал в незавидное положение. Смешно думать, что Ковальский позволит себе успокоиться, когда в этой истории, куда ни кинь, концы не сходятся с концами.

— Ну, что ты скажешь?

— Это правда насчет русских, — говорит Яков. — А теперь оставь меня в покое.

— Они в двадцати километрах от Безаники?

Яков закрывает глаза и говорит: «Да». Он поднимается, так можно испортить человеку радость, а между тем он имеет право так же радоваться, как и другие. Готов отдать состояние за то, чтобы вчера постовой на Курляндской задержал Ковальского или кого-нибудь другого. И что он потерял на этой Курляндской? Все порядочные граждане лежат в своих постелях, ему же понадобилось в поздний час слоняться по темным улицам — потому что в комнате его душат стены, потому что Пивова и Розенблат его вконец замучили, потому что прогулка после рабочего дня дарит ему иллюзию свободы, воспоминания о том, нормальном времени. Прогулка по городу, который знаешь с тех пор, как тебя катали по нему в коляске, с подушкой за спиной. Дома рассказывают про уже почти забытые маленькие происшествия: в этом месте ты однажды упал и вывихнул левую лодыжку, на том углу ты наконец сказал Гидеону в лицо, что ты о нем думаешь, а в этом дворе среди зимы случился пожар. Желанный аромат нормальной жизни, вот что он жаждал вдохнуть. Недолгая радость была ему подарена, и вот в каком он очутился положении.

— Ты хоть будешь держать язык за зубами?

— Ты ж меня знаешь, — говорит Ковальский. Он хочет, чтобы сейчас его не трогали, хотя бы несколько минут; перерыв короткий, и нужно сначала разобраться в себе и в том, что вдруг на тебя навалилось.

Яков подбирает с земли свою миску и уходит. Он берет с собой еще и лицо Ковальского, склоненное на плечо, никакой войны на сто верст кругом нет и в помине, глаза устремлены куда-то далеко, в точку, которую никому другому не дано видеть. Он слышит, как губы Ковальского влюбленно шепчут: «Русские...» И вот Яков уже возле тележки, ставит свою миску к остальным, составленным горкой, смотрит в сторону Ковальского, который тем временем вылавливает ложку из супа. Раздается свисток. Якову кажется, что на него как-то странно смотрят, иначе, чем вчера, словно говорят взглядом, что знают его тайну. Может быть, ему так только показалось, ведь все уже знать не могут, но один-другой — вполне возможно.

Мне хотелось бы, пока не поздно, сказать несколько слов о том, откуда у меня все эти сведения, дабы не возникло никаких подозрений на этот счет. Мой главный поручитель — Яков, большинство из того, что я от него услышал, в том или ином виде оказалось в моей истории, за это я ручаюсь. Я говорю большинство, но не все, на этот раз виной тому не моя плохая память.

Ведь все-таки историю рассказываю я, а не он, Якова нет в живых, и, кроме того, я рассказываю не его историю, а историю вообще, просто одну историю.

Он говорил со мной, а я обращаюсь к вам, в этом разница, и большая, потому что я тоже был там. Он пытался объяснить мне, как все случилось, как цеплялось одно за другое и что он никак не мог поступить иначе, но я хочу сказать вам, что он был герой. Он очень много говорил о своем страхе, что ни фраза, то про страх, я же хочу рассказать о его мужестве. Эти деревья, например, деревья, которых нет и которые я ищу, о которых не хочу и не должен думать, но всегда думаю, и глаза мои при этом наполняются слезами, — о них он не имел ни малейшего понятия, это касается меня и только меня. Сейчас я не могу всего вспомнить, но есть еще кое-какие вещи, о которых он не знал, и все же, я считаю, они имеют прямое отношение к его истории. Я бы охотно рассказал ему, почему так считаю, перед ним я обязан отчитаться, я думаю, он бы со мной согласился.

Кое-что я узнал от Миши, но все равно в этой истории много пробелов, а найти свидетелей уже нет возможности. Я говорю себе: это должно было произойти примерно так, или я говорю себе: лучше, если б это произошло так, вплетаю свой додуманый рассказ в истинную историю, и согласитесь, она звучит убедительно. Не моя вина, что найти свидетелей, которые могли бы это подтвердить, нет возможности.

Правдоподобность для меня не главное, неправдоподобно, что именно я остался в живых. Гораздо важнее другое — моя уверенность, что именно так могло или должно было случиться, и это не имеет ничего общего с правдоподобностью, за это я тоже ручаюсь.

* * *

Мишина идея заговорить с Розой во время выдачи продуктовых карточек была не самой неудачной из его идей, можно сказать, это была прекрасная идея, собрать все свое мужество и спросить ее, не пройтись ли вместе, ведь часть дороги им по пути, и, к счастью, она согласилась. Он решился заикнуться о прогулке только из-за ее хорошенького личика, со сколькими девушками уже заговаривали ради их красивых глаз, но потом, одно к одному, она стала ему нравится все больше, и сегодня, через год после того разговора, ему все в ней нравится, он любит ее такой, как она есть. Первые шаги они прошли в мучительном молчании, ему ничего, хоть убей, не приходило в голову, ни одной путной мысли. С ее стороны — ни малейшей поддержки, ни даже ободряющего взгляда, ни крошечного интереса, она стыдливо смотрела прямо перед собой и, вероятно, ждала, что произойдет что-то важное. Но ничего не произошло, до самой ее двери, обеспокоенная мать уже стояла у окна — почему единственная дочь так долго не возвращается? Роза попрощалась поспешно, опустив глаза, но успела все-таки услышать, где и на каком месте он будет ее ждать завтра.

Что бы там ни было, на свидание она пришла. У Миши отлегло от сердца, он сунул руку в карман и преподнес ей свой первый подарок. Маленькую книжку со стихами и песнями, он знал их уже наизусть, это была единственная случайно оказавшаяся у него книга. По правде говоря, он хотел подарить ей луковицу, лучше всего с нежной голубоватой кожурой, он с самого начала смотрел на дело с Розой серьезно, но это была слишком уж дразнящая мечта, за такое короткое время он при всем желании не смог бы раздобыть луковицу. Сначала она немножко пожеманилась, следует ли вообще принимать подарок, так часто поступают неопытные девушки, но потом, конечно, взяла книжку и сказала, что очень рада. Только тогда Миша представился, вчера от волнения он не сообразил, и в первый раз услышал ее имя: Роза Франкфуртер.

— Франкфуртер? — переспросил он. — Вы не родственница знаменитого артиста Франкфуртера?

Это было, как легко потом установили по программам городского театра, некоторым преувеличением, актер Франкфуртер никогда не поднимался выше средних ролей, но Миша сказал это без всякой иронии, он не видел Франкфуртера на сцене, он всего один раз был в театре и слышал его фамилию. И Роза не приняла его слова за насмешку, она призналась, покраснев, что это действительно так и артист Франкфуртер ее отец. Потом они немного поболтали о театре, о котором он, по правде говоря, никакого представления не имел, но вскоре ему удалось перевести разговор на бокс, в котором опять же она ровно ничего не понимала. Так они превосходно побеседовали, и в тот же вечер Мише разрешено было запечатлеть первый поцелуй на ее шелковых волосах.

Когда Миша вошел, Феликс Франкфуртер сидел за столом и играл с дочерью в шашки. Крупный мужчина, высокий и худой, Миша подробно и любовно описывал мне его внешность. Когда-то он был очень полным, теперь лишняя кожа сложилась в складки, и это особенно бросается в глаза, потому что вещи, которые он носит, были сшиты на того, толстого Франкфуртера. Фотографии показывают, что несколько лет назад человек и его кожа составляли гармоническое единство, пухлый альбом, набитый карточками, был продемонстрирован Мише

сразу же, во время первого визита. Потому что он ни в коем случае не мог допустить, чтобы гость унес с собой невыгодное о нем впечатление, а насчет него Франкфуртер не заблуждался. Вокруг шеи у Франкфуртера повязан шарф — искусно, с щегольской небрежностью, один конец спущен на грудь, другой свободно висит на спине, во рту трубка, так, украшение, морская пена, она давно забыла вкус табака.

Феликс Франкфуртер сидит с дочерью за столом, партия в безнадежном для Розы положении. Фрау Франкфуртер рядом на стуле, она не следит за игрой, она ушивает рубашку мужа и, наверно, мечтает про себя о тихом счастье. Роза сердится — с отцом играть скучно, потому что он бесконечно думает над каждым ходом, а он пытается объяснить ей, что выгоднее за два часа выиграть две партии, чем проиграть пять.

— Ну а сейчас тебе зачем так долго думать? — спрашивает она. — У тебя и так лучшее положение.

— У меня лучшее положение не «и так», а именно потому, что я долго думаю.

Роза недовольно отмахнулась, никакого удовольствия от игры; она передвигала шашки только потому, что была послушной дочерью, а Миша все равно еще не пришел.

Но тут раздается стук, она летит к двери, открывает, входит Миша. Франкфуртер придвигает ему стул. Роза быстро убирает шашки и доску, пока Миша не кинулся спасать ее пропавшую партию. Он уже часто садился на ее место, пытался найти выход, в конце концов сдавался и требовал реванша. Франкфуртер соглашался, и тогда они сидели и бесконечно думали, и вдруг оказывалось, что Мише уже нужно уходить, а Роза так и не успела перекинуться с ним словечком.

— Вы играли? — спрашивает Миша. — Кто же сегодня выиграл?

— Известно кто, — говорит Роза, и это звучит, как упрек.

Франкфуртер, довольный, насколько можно быть довольным в такие времена, потягивает свою трубку, в которой, как мы знаем, давно нет табака, так, воздух, морская пена, и подмигивает Мише.

— Она играет быстрее, чем думает. Держу пари, ты сам уже заметил это — при других обстоятельствах... Верно я говорю?

Миша оставляет шуточку без внимания, сегодня он пришел не с пустыми руками, он прикидывает, как преподнести новость поэффектнее, Франкфуртер обожает истории с эффектным концом. Как он, например, рассказывает о театре, где, если ему верить, случались самые невероятные вещи. Буквально что ни шаг, что ни взгляд — забавная история: один провалился под сцену, другой перепутал реплику или не понял, что в таком-то месте следует засмеяться. Если нет эффектного конца, то нечего и рассказывать, считает Франкфуртер.

— Что можно в такое время предложить гостю? — говорит Франкфуртер, обращаясь к своей тихой жене. И потом Мише: — Что в такое время можно предложить гостю, кроме своей дочери?

Он улыбается: удачно сказано — и снова берется за трубку. Пустую трубку может потягивать каждый, ничего нет проще, детские игрушки, но не так, как делает это Франкфуртер. Он разыгрывает целую сцену — удовольствие от курения, спокойное наслаждение ароматным табаком — если не присматриваться, то невольно начнешь отмахиваться рукой от дыма.

Немного помолчали, подумали каждый о своем. Сейчас Франкфуртер начнет рассказывать одну из своих историй, которые ему самому так нравятся, что он от радости хлопает себя по колену, о том, например, как у актера Стрелецкого, который вообще-то был божественный Отелло, выпала вставная челюсть как раз в тот момент, когда он, нагнувшись над Дездемоной, собрался ее душить. Роза кладет пальцы на Мишину руку, ее мать перешивает рубашку мужа, чтобы была поуже, Франкфуртер трет колено, может быть, у него сегодня

плохое настроение, а Миша пришел с такой хорошей новостью, он еще только не решил, как лучше преподнести ее.

— Ты уже слышал последние новости? — вдруг спрашивает его Роза.

Миша растерянно переводит взгляд с одного на другого, потом перестает искать разгадку на их лицах и удивляется, что фрау Франкфуртер даже не поднимает глаз от шитья. Они уже знают, а он до сих пор не заметил, что они знают, невероятно, что в комнате все выглядит точно так же, как тогда, когда он был здесь в последний раз. Он удивляется, как быстро новость распространилась, ведь только сегодня утром он услышал ее от Якова, а теперь она дошла до Франкфуртеров, через столько ушей, — но самое странное, что Роза только теперь заговорила об этом. Она не могла ее забыть и только сейчас вспомнить, здесь что-то не то, наверно, у них есть причина не верить этой истории.

— Вы уже знаете?

— Они мне сказали сегодня на работе, — говорит Роза.

— И вы не рады?

— Радоваться? — говорит Франкфуртер, он произносит «р» раскатисто, как на сцене. — Мы должны радоваться? Чему радоваться, молодой человек? Раньше они могли этому радоваться, созвать всю родню, пить и пировать, но сегодня кое-какие обстоятельства немножко изменили дело. Я считаю всю эту историю просто плачевной, мой мальчик, почти несчастьем для этих людей, а ты спрашиваешь, почему я не радуюсь.

Мише ясно, что речь идет о чем-то другом, это единственное объяснение для такого настроения, а если он ошибается, то, значит, Франкфуртер лишился рассудка и не понимает, что говорит.

— Трудно будет вырастить ребенка, — произносит фрау Франкфуртер между двумя стежками.

Что-то начинает проясняться, в глазах у Миши удивление, говорят о каком-то ребенке, значит, известия все-таки не передаются с такой быстротой. Видимо, двое безумцев произвели на свет дитя, не зная о новости, поселили его в этот мир, в нормальные для гетто времена это тема, которую обсуждать естественно. Но со вчерашнего дня подул другой ветер, мы расскажем тебе такое, что ты забудешь детей и жену, и мужа, и еду, и питье, со вчерашнего дня у нас есть завтра.

Теперь очередь Розы удивляться, сначала она удивляется, потом улыбается, глядя на Мишино лицо.

— Ведь ты же еще не знаешь, — говорит она. — Он всегда такой. Не может перенести, если другие знают больше, чем он. Считает себя самым умным, а ни о чем не имеет понятия. Во втором районе родился ребенок, на Витебской улице. Близнецы, но один сразу умер. Этой ночью. Когда все кончится, они хотят записать мальчика Абрахамом.

— Когда все кончится, — говорит Франкфуртер. Он кладет трубку на стол, встает, расхаживает по комнате с поникшей головой, заложив руки за спину. Его укоризненный взгляд направлен на Мишу, хотя тот не улыбается. Они так легко ко всему относятся, Миша и Роза, слишком молоды, чтобы понимать такие вещи, говорят о будущем, как о воскресном дне, который обязательно наступит, и тогда поедут за город, со всей семьей и полной корзиной еды, все равно, будет дождь или нет. — Когда все кончится, ребенка уже не будет в живых и родителей тоже. Никого из нас не будет в живых, когда все кончится.

Прогулка окончена, Франкфуртер снова садится.

— Я нахожу, что Давид красивее, — говорит фрау Франкфуртер тихим голосом. — Довидл... Помните, так звали сына Анетт. Абрахам — это имя для взрослого, как-то странно, ребенок — и Абрахам. А как раз для детей имеет значение, как их называют. Потом, когда они

вырастают, это уже не так важно.

Розе больше нравится Ян или Роман, она считает, что пора наконец отказаться от традиционных имен, раз не нужно будет носить звезду, тогда пусть будут и другие имена. Франкфуртер горестно качает головой, глупая женская болтовня. А Миша вдруг подумал, хорошо бы, он пришел сюда только сию минуту и сразу выложил свою новость. Потому что, если он начнет рассказывать сейчас, они ему не поверят, ведь не мог же он о ней забыть. Он сидит и сидит, а они все говорят о печальном... Остается ждать до завтра и сделать вид, будто узнал ее только что, или придумать историю, почему он не сообщил ее, как только открыл дверь. Он решает: сегодня. Будет очень эффектно, как раз для Франкфуртера. Он встает, откашливается, принимает официальный вид, он сам не знает, игра это или естественный порыв, он смущенно смотрит на Франкфуртера, тот уже выказывает признаки нетерпения — и просит по всей форме руки его дочери.

Роза вдруг заинтересовалась своими ногтями, они целиком поглощают ее внимание, лицо ее краснеет, начинает пылать, раньше речи об этом не было, ни словечка, собственно говоря, так и полагается, фрау Франкфуртер еще ниже склоняется над шитьем, рубашка все еще слишком широка для мужа, больше всего работы с воротничком, очень важно, чтобы он сидел безукоризненно. Миша в восторге от своей идеи, каков бы ни был результат, Франкфуртер застигнут врасплох и должен что-нибудь сказать. Теперь его очередь, вежливый вопрос заслуживает ответа, и если Миша решил выбрать окольный путь — на первый взгляд он кажется окольным, — то потому, что знает — он выведет его к великой новости и одновременно объяснит, почему Миша сообщает о ней только в эту минуту. Таков его план, составленный в страшной спешке, он не так уж плох, Феликс Франкфуртер сам найдет мостик, теперь его очередь, все ждут ответа.

Итак, Франкфуртер поражен, в глазах недоверие, только что он посасывал трубку, а теперь вдруг забыл выдохнуть дым колечками. Отец, который не стал бы отдавать свою единственную дочь никому, кроме Миши, он ведь уже любит его, как собственного сына, человек трезвых взглядов на жизнь, которого не так-то легко обвести вокруг пальца, он сражен.

— Он сошел с ума, — шепчет Франкфуртер, — что за проклятое Богом время, когда самые нормальные желания звучат как чудовищные. Скажи же что-нибудь ты!

Но фрау Франкфуртер ничего не говорит, и только несколько слезинок беззвучно скатываются на рубашку. Она не знает, что сказать, все важные вопросы всегда решал муж.

Франкфуртер снова вымеривает шагами комнату, он взволнован и растроган, а на Мишином лице такая откровенная надежда, будто сейчас он не услышит ничего другого, как «бери ее, и будьте счастливы».

— Мы в гетто, Миша, ты не забыл? Мы не можем поступать так, как нам хочется, потому что они поступают с нами так, как им хочется. Что ж, полагается спросить тебя, как ты собираешься ее обеспечить, потому что она моя единственная дочь. Спросить тебя, где вы собираетесь снять себе квартиру. Сказать тебе, какое приданое Роза от меня получит. Это ведь должно тебя интересовать! Или я должен дать тебе несколько добрых советов, как ведут счастливую семейную жизнь, а потом пойти к раввину и спросить, когда ему удобнее сыграть свадьбу?.. Поразмысли лучше, куда ты спрячешься, когда они за тобой придут.

Миша молчит, не теряя надежды, в конце концов, ведь это не ответ.

— Подумать только! Его корабль потерпел крушение, он один в открытом море, кругом ни души, помощи ждать не от кого, а он раздумывает, куда ему пойти сегодня вечером, на концерт или в оперу!

Франкфуртер беспомощно опустил руки, все, что следовало сказать, он сказал, закончил даже маленькой аллегорией, яснее уже выразиться невозможно.

Но на Мишу его слова не произвели впечатления. Наоборот, все идет как задумано. Кругом ни души. Ни с какой стороны нет помощи, именно такая фраза была Мише нужна, сейчас вы узнаете, как все выглядит на самом деле. Нет, есть все-таки резон говорить о будущем, Миша не какой-нибудь идиот, конечно, он знает, где мы находимся, что нельзя жениться, пока... в том-то и дело, пока не придут русские.

Миша рассказывал мне: тогда он им прямо сказал (он так и сказал «прямо»), что русские в двадцати километрах от Безаники. Понимаешь, это было не просто сообщение, это был аргумент. Я думал, вот они обрадуются, ведь такое узнаешь не каждый день. Но Роза не кинулась мне на шею, даже не подумала, она смотрела на старика, можно сказать, с испугом, и он на меня смотрел и долго не произносил ни слова, смотрел и ни слова не говорил, мне даже как-то беспокойно стало. В первый момент я подумал, наверно, требуется время, чтобы до них дошло, такой взгляд был у старика, но потом мне стало ясно, что им нужно не время, а подтверждение. Со мной точно так же было, я ведь тоже думал, что Яков просто хотел отвлечь меня от вагона с картошкой, я так думал до тех пор, пока он мне не сказал всей правды, откуда он это знает. Такое известие без указания источника ничего не стоит, просто слухи.

Я уже собирался открыть рот и избавить их от сомнений, но потом решил лучше подождать. Я подумал, пусть лучше спросят, когда вытягиваешь слова из другого, они крепче заходят тебе в голову, чем тогда, когда тебе рассказывают сами и все сразу. Так и вышло.

Они молчат, молчат бесконечно, иголка застряла между двумя стежками, Роза жарко дышит, неверящие глаза Франкфуртера, Миша стоит на сцене, публика ждет его реплики.

— Ты понимаешь, что значат твои слова? — говорит Франкфуртер. — Этим не шутят.

— Мне вы можете не говорить, — отвечает Миша, — мне сказал Гейм.

— Яков Гейм?

— Да.

— А он? Откуда он знает?

Миша слегка улыбается, ему неудобно, он для виду пожимает плечами, дескать, он дал обещание, но никто не собирается с этим считаться. То, что он его не сдержит, это другое дело, но обещание дано, и ему хочется, чтобы он был вынужден нарушить слово, он сделал все возможное, ты на моем месте не смог бы поступить иначе.

— Откуда он знает?

— Я обещал ему никому не рассказывать, — говорит Миша, по правде говоря, он уже готов рассказать, но недостаточно ясно дает понять, что готов, во всяком случае по мнению Франкфуртера. Сейчас не время прислушиваться к нюансам интонации, Франкфуртер делает несколько быстрых шагов и отвечает Мише пощечину, что-то среднее между театральной и настоящей, скорее, пожалуй, настоящую, потому что он разозлился, мы не о пустяках говорим. Конечно, Миша немного испуган, рукоприкладство — это уже лишнее, но момент для обиды неподходящий, ведь принуждение должно же вылиться в какую-то форму. Он не может усесться с неподвижным лицом, скрестить руки на груди и ждать извинений, он их и не дождетсЯ. Он может отбросить все сомнения, он так и поступает, дело сделано, план удался, никто не будет спрашивать, почему он сказал это только сейчас.

— У Якова Гейма есть радио.

Молчание. Жена смотрит на мужа, муж на жену, рубашка, все еще слишком широкая, отброшена без всякого внимания и распласталась на полу, надо верить, если это говорит собственный зять. Наконец Роза кидается ему на шею, долго же он ждал этой минуты, через ее плечо он видит, как Франкфуртер в изнеможении садится и закрывает ладонями морщинистое лицо. Разговора не получится, говорить не о чем. Роза притягивает его ухо к своим губам и шепчет что-то, он не разбирает что, старик все еще прячет лицо в ладонях, и Миша смотрит на

нее вопросительно.

— Пошли к тебе, — повторяет Роза шепотом.

Блестящая идея, именно это Миша хотел предложить, сегодня такой день, в голову приходят одни счастливые мысли. Они выходят тихо, хотя сейчас такие предосторожности излишни, дверь захлопывается, их не слышат, на улице темно, значит, время уже опасное.

Франкфуртер остается вдвоем с женой, без свидетелей. Я знаю только, чем это кончилось, предшествующие события я могу себе представить — все происходило так или примерно так.

Они долго сидят молча, наконец жена встает, она смахивает слезы, уже не те, что вызваны предложением руки и сердца, а может быть, она не смахивает их, и они текут по щеке, подходит к мужу, тихо, будто боится помешать. Она становится за его спиной, кладет ему руки на плечи, прижимается лицом к его все еще закрытому руками лицу и ждет. Он не произносит ни слова и тогда, когда руки его опускаются, только неотрывно смотрит на противоположную стену. Тогда она слегка подталкивает его. Она ищет что-то в его глазах и не может найти.

— Феликс, — наверно, она попыталась все-таки его окликнуть, — ты не рад? Безаника ведь не так уж далеко. Если они дошли до тех мест, они дойдут и до нас.

Или она могла сказать: «Представь себе, Феликс, вдруг это правда! У меня просто голова кружится, вообразить себе только! Скоро все будет, как прежде. Ты опять сможешь играть на настоящей сцене, наш театр наверняка отремонтируют, и я буду ждать тебя после каждого спектакля возле доски объявлений рядом со швейцарской. Только представь себе это, Феликс!»

Он не отвечает. Не снимая ее рук с плеч, он поднимается и идет к шкафу. Скорее всего, у него вид человека, принявшего важное решение и не желающего откладывать его выполнение.

Франкфуртер открывает шкаф, достает чашку или коробочку и берет оттуда ключ.

— Зачем тебе в подвал? — спрашивает она.

Он взвешивает ключ в руке, будто ему надо еще кое-что обдумать, например, когда удобнее выполнить свое намерение, но чем скорее, тем лучше, нет ничего важнее. Может быть, он уже сейчас говорит ей, что собирается сделать, может быть, посвящает ее в свое намерение еще в комнате, но это маловероятно, он и раньше не очень-то спрашивал ее мнения. Кроме того, совершенно не важно, когда он ей это говорит, это ничего не меняет, ключ уже у него в кармане.

Будем считать, что он молча закрывает шкаф, идет к двери, оборачивается к жене и говорит только: «Пойдем».

Они спускаются в подвал.

Дома для бедных людей, раньше им в голову не пришло бы заходить в такой дом, стертые деревянные ступеньки скрипят, как сумасшедшие, но он держится вплотную к стене и идет на цыпочках. Она следом за ним, обеспокоенная, тоже тихо, тоже на цыпочках, зачем — она не знает, но раз он идет крадучись... Она всегда его слушалась не спрашивая, она только угадывала, как надо поступить, и не всегда это оказывалось хорошо.

— А теперь ты мне скажешь, что мы здесь будем делать?

— Тссс!

Они идут по длинному коридору, здесь можно уже ступать на всю ногу, предпоследнее помещение справа — их кладовка. Франкфуртер отпирает висячий замок, открывает проволочную дверь с железной рамой, которую нельзя использовать на топливо, поэтому она сохранилась. Он входит, она, нерешительно, за ним следом, он закрывает дверь, через которую все видно, — и вот они на месте.

Франкфуртер — человек осторожный, он отыскал кусок брезента, или дырявый мешок или, если не нашлось мешка, снимает пиджак и вешает его на дверь, на всякий случай. Я думаю, он на минуту прикладывает палец к губам, закрывает глаза и прислушивается, но кругом все тихо.

Тогда он принимается разбирать маленькую горку в углу, кучку ненужных вещей, холмик из воспоминаний.

Когда был объявлен приказ, они два дня сидели и решали, что с собой взять, кроме, конечно, запрещенных вещей. Положение было очень трудное, они, разумеется, не ждали, что там будет рай, но подробностей не знал никто. Фрау Франкфуртер рассуждала практически, слишком практически с его точки зрения, она думала только о постельном белье, посуде и одежде, он же не хотел расставаться со многим, что она считала ненужным. С барабаном — это была исключительно удачная постановка, особенно сцена, где Франкфуртер, выбивая дробь на этом барабане, возвещал о появлении наследника испанского престола, — и с балетными туфельками Розы, приобретенными, когда ей было пять лет, и с тех пор всего несколько раз надеванными, и с альбомом, в который были заботливо вклеены все рецензии, где упоминалось его имя, оно было подчеркнуто красным карандашом. Объясни мне, по какой причине я должен с этим расставаться, жизнь состоит не только в том, чтобы спать и набивать себе брюхо. Как все это перевезти? Он помчался покупать тачку, достал за бешеные деньги, тогда цены на тачки буквально за несколько дней выросли невероятно, и теперь горка вещей заполняет угол кладовки.

Он откладывает один предмет за другим, жена молча наблюдает за ним, дрожа от сдерживаемого любопытства: что он ищет? Вот он рассматривает портрет в рамке — вся труппа театра, он очень солидно выглядит в правом углу между Зальцером и Стрелецким, который тогда еще не был таким известным. Нет, это не то, что он ищет, потому что, посмотрев на фотографию, он откладывает ее и продолжает разбирать холмик, одну вещь за другой, горка становится все меньше.

— Этот Яков Гейм болван, — говорит он.

— Почему?

— Почему! Почему! Он услышал последние известия — прекрасно, но это его дело и только его. Хорошая новость, даже очень хорошая, вот пусть и радуется, а не сводит всех с ума своими рассказами.

— Я не понимаю тебя, Феликс, — говорит она. — Ты к нему несправедлив. Ведь хорошо, что мы об этом узнали. Все должны об этом узнать!

— Женская логика! — восклицает Франкфуртер в негодовании. — Сегодня это знаешь ты, завтра соседи, а на следующий день все гетто только об этом и говорит.

Она, наверно, согласно кивнула, удивляясь его раздражению, пока он ничего не объяснил, она не знает причины, по которой можно было хоть в чем-то упрекнуть Гейма.

— А в один прекрасный день об этом становится известно гестапо! — говорит он. — У них больше ушей, чем ты думаешь.

— Послушай, Феликс, — перебивает она его, — ты что, серьезно думаешь, что гестапо без нас не знает, где стоят русские?

— Кто об этом говорит! Я о том, что в один прекрасный день гестапо узнает, что в гетто есть радио. И что они делают? Сию же минуту переворачивают все вверх дном, обшаривают улицу за улицей, дом за домом, они не успокоятся, пока не найдут радио. А где они его найдут?

Горки вещей больше нет. Франкфуртер поднимает картонную коробку, белую или коричневую, во всяком случае, картонную коробку, в которой находится основание для справедливого и правомочного смертного приговора. Он снимает крышку и показывает своей жене радиоприемник.

Может быть, она тихо вскрикивает, а может быть, приходит в ужас, она смотрит то на радио, то на Франкфуртера и ничего не понимает.

— Ты взял радио, — произносит она шепотом и всплескивает руками, — ты взял наше

радио, нас могли расстрелять за это, а я ничего не знала... ничего не знала...

— К чему? — говорит он. — К чему мне было говорить тебе? Достаточно, что я один дрожал от страха, а ты и без радио тряслась. Бывали дни, что я о нем забывал, иногда целыми неделями не вспоминал, лежит себе старый приемник в подвале, о нем и не думаешь. А как только я вспоминал, меня бросало в дрожь. Но так, как сегодня, мне еще никогда не приходилось о нем вспоминать. И самое обидное — я ни разу его не слушал, ни одного раза, в первое время тоже нет. Не потому, что не хотел, чтобы ты заметила, я просто не решался рисковать. Иногда мне так хотелось, так невозможно хотелось, я думал, умру от любопытства, я брал ключи, ты знаешь, что время от времени я ходил в подвал. Ты меня спрашивала, что мне там надо. Я говорил, что хочу посмотреть фотографии или перечитать старые рецензии. Но это была неправда, я хотел послушать радио. Я приходил в подвал, завешивал дверь, но никогда не решался. Я садился, смотрел на фотографии или читал рецензии — и не решался. Но теперь с этим покончено!

— А я ничего не знала, — шепчет она про себя.

— С этим раз и навсегда покончено! — говорит он. — Ничего не останется, ничего похожего на радио. Пусть тогда приходят и ищут.

Он разбирает приемник, тихо уничтожает деталь за деталью, наверно, единственное радио, которое есть у нас в гетто. Трубки превращаются под его каблуками в пыль, проволокой, которую нельзя растоптать, он как веревочкой обвязывает какую-то коробку, стенки корпуса складывает отдельно, им придется подождать несколько недель, пока они смогут пойти на растопку. Потому что в такое время года каждая дымящая труба вызывает подозрение. Но это уже не так страшно, в конце концов, доски — всего только доски.

— Ты тоже слышал, что русские почти уже дошли до Безаники? — тихо спрашивает фрау Франкфуртер.

Он смотрит на нее удивленно.

— Я ж тебе сказал, что ни разу не слушал, — наверно, он ответил ей именно так.

* * *

Миша приходит с Розой в свою комнату, и это уже отдельная история. Если считать историей рассказ о том, как приходится обманывать человека, чтобы сделать его хоть немножко счастливым, потому что это как раз и происходит с Розой. Если история — какие отчаянные хитрости приходится придумывать и, Боже сохрани, нельзя допустить ни одной ошибки, а лицо должно оставаться серьезным и безмятежным, несмотря на страх перед разоблачением, — и если все это вместе составляет историю, то рассказ о том, как Роза с Мишей приходят в его комнату, — это уже отдельная история.

Помещение перегорожено ширмой.

Человека, который спит на второй кровати, зовут Файнгольд. Исаак Файнгольд виной тому, что устраивается этот маленький спектакль, из-за него все предосторожности, хотя сам он находит их просто смешными, он и так каждый вечер падает с ног от усталости. Ему за шестьдесят, он давно поседел, у него хватает своих забот, так нет же, участвуй в этом представлении. Вначале комнату разделял только шкаф. Миша считал его достаточным, а Файнгольд и подавно, но Розу это не устраивало. Она сказала Мише, пускай Файнгольд глухонемой, но ведь он не слепой, а луна светит прямо в комнату, и, кроме того, шкаф слишком узкий. Миша с легким сердцем снял с окна одеяло и прикрепил его рядом со шкафом к потолку, теперь луна может светить сколько угодно, но не для Файнгольда, главное — Роза успокоилась.

Файнгольд такой же глухонемой, как я или Ковальский или любой другой, но для Розы он глух, как тетерев, и нем, как рыба. Мише с первой секунды было ясно, что Роза не сделает ни шага в направлении его кровати, раз в комнате стоит еще одна и на ней спит чужой мужчина, — а что делать, если понимающие хозяйки и укромные гостиницы с портье, которые привыкли деликатно смотреть в сторону и не задавать вопросов, — они находятся не здесь, они в другом городе. Он точно знал, что при этих условиях она может сказать только нет, она не такая девушка, об этом нечего и разговор заводить, и сам он не такой парень.

В тот благословенный вечер он лежал без сна в своей кровати и думал о Розе, Файнгольд уже почти заснул в своей, и тут Миша начал рассказывать ему о Розе. Кто она и как выглядит, и как он ее любит, и как она его любит, а Файнгольд только вздыхал. Тогда Миша признался ему в своем горячем желании оставить у себя Розу на ночь.

— Почему нет, пожалуйста, — ответил Файнгольд, не вникая во всю сложность проблемы, — я ничего не имею против. А теперь дай мне, наконец, спать.

Миша не дал ему спать, он разъяснил Файнгольду, что вопрос заключается совсем не в том, имеет ли что-нибудь против этого Файнгольд, вопрос заключается только и исключительно в том, согласна ли будет Роза. А также в том, что пока он вообще не говорил ей ни слова о нем, Файнгольде, он не решается сказать, и если они ничего не придумают, то из этого, можно считать, ничего не получится.

Файнгольд зажег свет и долго смотрел на него широко раскрытыми глазами.

— Это ты серьезно? — прошептал он испуганно. — Не можешь же ты от меня требовать, чтобы я все это время шатался по улице. Ты что, забыл про запрещение?

Но Миша этого не требовал, такая мысль никогда не приходила ему в голову, и про запрещение он не забыл. Он просто искал выход, а выхода пока ни с какой стороны не видно. Файнгольд снова погасил свет, скоро он заснул, не нам нужно что-то придумать, а Мише, ему одному.

Через час или два Миша разбудил Файнгольда, терпеливо выслушал его ругательства, а затем представил ему свой план. Как было сказано, Роза никогда не останется у него на ночь, если узнает, что в комнате есть еще один мужчина, не важно сколько ему лет, двадцать или сто. Если он ее не предупредит, она, возможно, согласится, но как только увидит Файнгольда, уйдет сразу же и никогда Мише этого не простит. Как ни крути, остается единственная возможность — Файнгольд находится в комнате, и в то же время его как будто здесь нет.

— Может быть, мне спрятаться? — устало сказал Файнгольд. — Может быть, мне всю ночь лежать под кроватью или в шкафу?

— Я ей скажу, что ты глухонемой, — объявил Миша.

Файнгольд не соглашался, он отмахивался руками и ногами, но в конце концов Мише удалось убедить его — это совершенно необходимо и не терпит отлагательства. Ночью все равно много не увидишь, а если к тому же она будет знать, что ты ничего не слышишь, тогда все должно устроиться. И вот Файнгольд хоть и без всякого удовольствия, но согласился, раз это для Миши так много значит, и с тех пор он для Розы глух, как тетерев, и нем, как рыба.

У Миши к тому же была и вторая забота: по некоторым намекам Файнгольда он понял, что однажды тот подслушивал. Роза, правда, ничего не заметила, а Файнгольд молчал, но, по-видимому, слышал кое-что из того, что не предназначалось для его ушей. Когда обнимаешь любимого человека, говоришь слова, которые другим слышать не полагается, и Мише было очень неприятно. С тех пор он начал изучать сон Файнгольда. Он нарочно подолгу лежал без сна и старательно запоминал, на какой ноте тот дышит и на какой храпит. Ни один человек не слышал, как он спит, он не может воспроизвести свой собственный сон, он может притвориться спящим, но как спит он сам, он не знает. А Миша знает сон Файнгольда на слух, он клянется,

что знает его во всех тонкостях. И в те редкие ночи, когда Роза остается у него, Миша, прислушиваясь, лежит сначала совсем тихо рядом с ней, и, только когда он совершенно уверен, что Файнгольд за ширмой уже спит, он начинает ее гладить и целовать, и Роза забывает свою досаду на то, что он так долго заставляет ее ждать.

Однажды все чуть не погибло. Файнгольд, которого, вероятно, мучили кошмары, вдруг начал говорить во сне. Четко произносить отдельные слова, игнорируя то обстоятельство, что глухонемые должны оставаться глухонемыми и во время сна. Миша проснулся от его голоса, у него чуть не остановилось сердце, он со страхом посмотрел на Розу, спящую в лунном свете, она только повернула голову в другую сторону и продолжала спать. Он не мог закричать: Файнгольд, заткнись, наконец! — он мог только лежать неподвижно и надеяться. И к счастью, Файнгольд кончил со своими фантазиями раньше, чем случилось непоправимое; говорят, сны длятся мгновенья, и больше такого не повторялось.

Вот такая маленькая комедия, какой дерзкий и рискованный путь привел Розу в эту комнату, под это одеяло. Миша догадался, как это сделать, Файнгольд согласился на все условия, и Роза очень любит бывать здесь.

Я знаю, она лежит на спине, положив руки под голову, хотя с ее стороны это не очень деликатно, такой парень, как Миша, один еле уместается на кровати, теперь же ему приходится примазываться с краю. Мысли ее где-то далеко, глаза открыты, вечер, прекраснее, чем все прежние вечера, уже пережит, все слова они уже сказали друг другу шепотом, когда двое лежат так, как Миша и Роза, они шепчутся даже на необитаемом острове, если им обязательно нужно сообщить что-то друг другу. Ночь, безмолвный Файнгольд давно спит за стеной из шкафа и одеяла, жаркий день и новость, должно быть, очень утомили его. Сегодня его присутствие было лишь недолгой помехой, уже через несколько минут Миша остался доволен звуком, который доносился до них, и мог все свое внимание посвятить Розе.

Роза осторожно толкает Мишу, ногой об его ногу, настойчиво и терпеливо, пока он не просыпается и не спрашивает, из-за чего понадобилось его будить.

— Мои родители будут жить с нами, правда? — говорит она.

Родители. Никогда еще ни в мыслях, ни в разговорах родители не появлялись в этой комнате. У Розы и Миши всегда была только одна эта ночь, когда они лежали рядом и любили друг друга, эта одна, а всех других надо было сначала дожидаться, и не было смысла строить большие планы и много о них разговаривать. А теперь вот они здесь, так помечтаем немножко, как вдруг будет когда-нибудь, один только взгляд через дырочку в занавесе. Теперь родители пришли в эту комнату, и вместе с ними дуновение жизни, которая может быть потом, их уже не выгонишь, Роза такой мысли не допускает.

— Они не будут жить с нами, — говорит Миша в час, когда людям полагается спать.

— А почему нет? Ты что-то против них имеешь?

Роза говорит довольно громко, теперь речь идет о вещах, которые необязательно чуть слышно шептать друг другу на ухо, так настойчиво и громко, что Файнгольд, наверно, мог бы проснуться, только она не подозревает об этой опасности.

— Господи Боже мой, неужели это настолько важно, что нужно будить меня посреди ночи?

— Да, — говорит Роза.

— Ну хорошо, — он приподнимается на локте, — можешь радоваться, что не дала мне спать, — вздыхает, будто жизнь и без того недостаточно тяжела. — Так вот: я ничего против них не имею, ни малейших претензий. Они мне в высшей степени симпатичны, они не будут жить с нами вместе, а теперь я хочу спать.

Он шумно поворачивается на другой бок, маленькая демонстрация при свете луны, первое разногласие. Еще не настоящая ссора, только предвестник обычных житейских забот, несколько

минут проходят в молчании, в течение которых Миша выясняет, что Файнгольд проснулся.

— Мама могла бы присматривать за детьми, — говорит Роза.

— Бабушки только балуют детей, — говорит Миша.

— И готовить я не умею.

— Есть поваренные книги.

Теперь вздыхает она. Ладно, ссориться будем потом, есть еще много времени. Роза должна чуть приподнять голову, потому что Миша просовывает ей руку под затылок в знак того, что забыл маленькие пререкания, последний поцелуй, а теперь наконец пора спать. Но она не может просто так закрыть глаза и прогнать мечты, будто не было этого разговора, так долго мы ждали возможности помечтать. Когда они постучат в дверь, когда русские будут стоять на пороге, здравствуйте, вот и мы, можно начинать, тогда будет поздно прикидывать и соображать, тогда уже надо знать, что делать в первую очередь и что потом. Но Миша хочет спать, а Роза не может уснуть, все дела в таком беспорядке, хоть кое-что надо наладить. Главные дела устроятся как-то без них, наверняка приедут влиятельные люди, они проследят, чтобы главные дела были устроены. Мы же начнем с наших маленьких личных дел, их за нас никто не сделает. Роза размышляет, рассчитывает, потом начинает думать вслух: первое — дом, в котором чувствуешь себя уютно. Если тебе придет в голову что-нибудь другое, ты заставишь ее подумать не о доме, но лучше начнем с дома: не очень маленький, но и не слишком большой, скажем, пять комнат, это не чересчур. Не начинай сразу кричать, что это много, мы достаточно долго себе во всем отказывали. Одна комната для тебя, одна для меня, две для родителей. И конечно, детская, в которой дети смогут делать что хотят, ходить на голове и разрисовывать стены. Спать мы будем в моей комнате, отдельная спальня не нужна, только пустая трата места, ведь днем ею не пользуются, надо быть немножко практичнее. Когда придут гости, мы сможем сидеть в твоей комнате, тахту поставим не вплотную к стене, это современно, перед ней длинный журнальный столик и три-четыре кресла. Но слишком много гостей я не хочу, знай это наперед. Не из-за беспорядка, который остается после гостей, это ерунда, мне просто приятнее побыть с тобой вдвоем. Может быть, потом, когда мы постареем. А насчет кухни я ничьих советов не слушаю. Кафельные стены, это чисто и красиво, лучше всего белый с голубым. У Клозенбергов была точно такая кухня, просто прелесть. Пол выложен светло-серыми плитками, на стенах полки для тарелок, кофейника, разливательных ложек и маленькая полочка для всяких пряностей. Никто даже не знает, как много этих пряностей, например шафран, ты знал разве, зачем кладут шафран?

Дальше я уже ничего рассказать не могу, как раз посреди рассуждений о пряностях мой поверенный Миша окончательно заснул. Может быть, Файнгольд мог бы рассказать больше, он ни на секунду не сомкнул глаз, но его я не спрашивал.

* * *

Потом настал другой день, наконец снова настал день, и мы бегаем по товарной станции с нашими ящиками, несколько лет назад об этом сказали бы: спорится работа в ловких руках. Охранники ведут себя совершенно нормально, кричат, или дремлют на солнышке, или дают нам пинка — все как всегда, они не выказывают страха или еще не испытывают его. Может быть, я и ошибаюсь, но мне представляется, что я тоже хорошо помню этот день, хотя тогда не произошло ничего необыкновенного, во всяком случае, для меня. Сегодня я стою внутри вагона, принимаю ящики, ставлю их один на другой, чтобы вошло как можно больше. Вместе с еще одним, Гершлем Штаммом, а это уже само по себе необычно. Потому что у Гершля Штамма

есть брат Роман, и не просто брат, а близнец, и оба работают, ходят и стоят всегда вместе. Но сегодня нет, сегодня с утра с Гершлем случилась неприятность, он споткнулся, не смог удержать ящик, и в результате ящик и Гершль оба шлепнулись. Гершль, конечно, получил свою порцию побоев, но это не самое страшное, хуже, что, падая, он растянул связки, ходит с большим трудом, не может носить с Романом ящики и потому стоит со мной на платформе вагона. Гершль потеет, прямо как водопад, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так потел, он перестанет потеть, только когда русские возьмут это проклятое гетто, ни на один день раньше.

Гершль Штамм верующий. В то время, когда все мы еще жили, он был служкой в синагоге, мы называли эту должность шамес, он был набожный, как сам раввин. И потому — пейсы, украшение всех евреев, строго выполняющих предписания религии, — пойди спроси Гершля, готов ли он расстаться с пейсами. Ни за какие деньги, скажет он тебе, он посмотрит на тебя, как на сумасшедшего, как мог тебе прийти в голову такой вопрос. Но пейсы можно показывать только в собственных четырех стенах, только там, ведь на улице и здесь, на товарной станции встречаешь немцев, им наплевать на пейсы, где мы живем, скажут они, расхаживать в таком виде. Известны случаи, когда хватали первые попавшиеся ножницы, еврей тайно возносил молитву Богу, немцы хохотали до слез, с пейсами расправлялись не сходя с места, мы знаем, бывало и похуже.

Гершль сделал из этого единственный возможный вывод: он прячет свои пейсы, он контрабандой переправляет их через это страшное время. Летом и зимой он носит шапку, носить шапку, кажется, еще не запрещается, черную меховую шапку с наушниками, которые застегиваются под подбородком. Когда светит солнце, в ней невыносимо жарко, но для его целей она подходит как нельзя лучше. Мы, неверующие, подтрунивали над ним только в первую жаркую неделю, его брат Роман тоже, а потом потеряли интерес. Гершль сам знает, что делает.

Мы ставим ящик на самый верх, он оттирает пот с лица и спрашивает, пока мы берем следующий, что я думаю по поводу той истории. Мне ясно, что он имеет в виду, я говорю, что просто ошалел от радости, ни о чем другом не могу думать. Мне снова будет принадлежать все, что когда-то у меня было, все, кроме расстрелянной Ханы. Опять будут деревья, я снова вижу себя в саду своих родителей, сидящим на высоком орехе, на таких тонких ветках, что мама чуть не падает в обморок. Я наедаюсь орехами до отвала. От скорлупы пальцы у меня совсем коричневые, несколько недель их невозможно отмыть; у Гершля, однако, вид совсем не такой восторженный.

* * *

Яков и Миша ставят ящик на край вагона. Яков торопится обратно за следующим, Миша спешит за ним. Со вчерашнего дня Яков счастливчик, все рвутся работать с ним, с человеком, у которого есть прямой провод к самому Господу Богу. Миша был первым в очереди, первым, кто схватился за ящик, который заметил для себя Яков, и теперь он идет за ним следом. Самым справедливым было бы кинуть жребий, столько-то пустых бумажек и один главный выигрыш, чтобы у всех были одинаковые шансы оказаться подле Якова, вдруг это стало так бесконечно важно. Но у Якова лицо недовольное, покорно благодарю за такое счастье — с утра его спросили уже пять или десять раз, доверительно и с надеждой, даже совершенно чужие люди, что новенького сегодня по радио. Пять или десять раз он не знал, что ответить, только повторял то, что уже говорил вчера: «Безаника», или прикладывал палец к губам и заговорщическим тоном произносил: «Т-ссс!» — или ничего не говорил и сердито проходил дальше. И все эти неприятности навязал ему на шею этот длинный дурак, который, ничего не подозревая, трусит

за ним следом. Теперь они ведут себя как дети, они кружат возле него, как возле столба с театральными афишами, когда решают сходить развлечься, — если не случится чуда, то самое большее через два часа охранники это заметят. Такой наплыв публики в нормальные бы времена, кафе Якова открыто каждый день, кроме субботы, весь год без перерыва, а приемник стоит у всех на виду за прилавком, слушай сколько душе угодно. Но туда вы редко заглядываете, каждого нужно обхаживать, будто он король, иначе он уйдет и больше не придет, а теперь его самого обхаживают, как короля. И никто не уходит, наоборот, все приходят, хоть ставь против вас охрану.

Миша понятия не имеет, какие злые мысли загораются в непосредственной от него близости, ему невдомек, что это негодование подгоняет Якова. Они перенесли уже несколько ящиков, Миша вообразил, что так будет продолжаться до самого обеда, он опоздал обратить внимание на сердитые взгляды, которые время от времени все чаще на него бросают. Пока гнев не выплескивается. Яков останавливается в надежде, что Миша пройдет мимо, отойдет как можно дальше, но Миша не останавливается, в его глазах удивление и вопрос, он действительно ничего не знает, значит, ему надо разъяснить.

— Прошу тебя, Миша, — говорит Яков измученным голосом, — здесь так много симпатичных людей. Тебе обязательно носить ящики со мной?

— Что вдруг случилось?

— С меня вдруг хватит! Не могу больше видеть твою физиономию!

— Мою физиономию? — Миша непонимающе улыбается, до сих пор его физиономия никому не мешала, Якову тем более, самое большее, кто-нибудь пройдет на счет его небесно-голубых глаз, и вдруг так грубо, почти оскорбительно...

— Да, твоя физиономия! Твой длинный язык, — добавляет Яков, потому что Миша даже приблизительно еще не догадывается. Теперь Миша знает, откуда ветер дует, он оказался слабым звеном в цепи молчания. Яков прав. Хотя это не причина устраивать сразу такой скандал, мы, Бог свидетель, переживали кое-что и похуже, Миша пожимает плечами, что ж, действительно так получилось, ничего теперь не поделаешь. Прежде чем Яков успевает еще больше распалиться, Миша молча отходит в сторону, охранников наши дела не должны касаться, позже или завтра наверняка найдется время для извинения и примирения.

Итак, Миша подходит к ящикам один, он быстро нашел напарника, в конце концов, он еще не совсем потерял форму. Еще не забыты его сильные руки, их еще ценят, они еще выручат Мишу. И Яков подходит к складу один, он даже не замечает, кто берется за ящик, глаза его следят за Мишей, наконец тот исчезает и не оборачивается, наверно, обиженный, а может быть, и нет. Пройдя несколько шагов, Яков почувствовал, что его новый напарник держит ящик не так крепко, как Миша, далеко не так крепко; он смотрит на него и видит, что напарник — не кто иной, как Ковальский; на лице у Якова написана досада, он знает, что попал из огня да в полымя, Ковальский не даст ему покоя.

Ковальский не произносит ни слова. Кто знаком с Ковальским, тот понимает, что он не молчит, а сдерживает себя; неизвестно только, как долго он вынесет это противоестественное состояние, пока они носят ящики молча, это устраивает Якова. Но вместе с тем и тревожит. Ковальский и молчание, красные пятна на щеках появились у него не от усилий. Они молчат целых три ящика. Яков никогда не начнет первым, ведь ему нечего сообщить, однако молчание стоит ему нервов. Мы перехитрим тебя, приходит Якову в голову, мы поставим тебе ловушку, невинный разговор может заставить тебя забыть вопрос, который пока ты держишь про себя, о чем бы только заговорить... а потом свисток на обед — и попробуй, найди меня.

— Ты не знаешь средства против выпадения волос? — спрашивает Яков.

— С чего это ты вдруг интересуешься?

— Потому что у меня каждое утро расческа полна волос.

— Нет такого средства, — говорит Ковальский, и Яков ясно слышит, что эта тема его не волнует.

— Но ведь что-то же можно сделать? Я вспоминаю, что ты у себя в парикмахерской втирал одному клиенту какую-то жидкость в голову, кажется, зеленую.

— Так, для обмана. Я многим ее втирал, с таким же успехом я мог бы втирать им чистую воду. Но некоторые обязательно хотели. Потом, она была не зеленая, а желтая.

— И нет ничего, что помогает?

— Я ж тебе сказал.

Итак, они работают молча, в груди у Якова растет надежда, что он ошибается, Ковальскому ничего от него не нужно, он взялся за ящик просто потому, что оказался ближе других, и красные пятна на щеках от усилий или от клопов. Что ни говори, в Ковальском есть много хорошего, он может привести сколько угодно примеров, как-никак они, можно сказать, друзья. Яков смотрит на Ковальского, с которого пот катится градом, уже гораздо приветливее, он глазами просит у него извинения, только глазами, потому что, к счастью, и упреки не высказываются вслух. С каждым ящиком, который они молча тащат к вагону, подозрение отступает все дальше, по всей видимости, Ковальский его не заслужил, Яков держит зло на невинного.

И вдруг, когда недолго осталось до обеденного перерыва, Ковальский вылез-таки со своим вероломным вопросом — без всякой подготовки, униженно и вроде бы наивно он говорит:

— Ну так что же?

Только это и ничего больше. Яков вздрагивает, мы ведь знаем, что именно имеет в виду Ковальский. И вся злость вспыхивает вновь, Яков чувствует себя обманутым, красные пятна на лице Ковальского те самые. И не случайно он стоял поблизости, он поджидал его, он его подстерегал, он целый день готовил про себя это гнусное «ну что же». Он молчал до этой минуты не из тактичности, Ковальский понятия не имеет, что такое такт, он молчал потому, что видел, как Яков ссорился с Мишей, и ждал благоприятного момента, хладнокровно и расчетливо — он и есть такой по своей натуре, — чтобы усыпить его, Якова, бдительность, пусть сначала Яков успокоится.

Яков вздрагивает; самое страшное в этом гетто, что нельзя просто повернуться и уйти, не рекомендуется повторять эту игру каждые пять минут.

— Есть новости? — спрашивает Ковальский, это звучит уже яснее. У него нет никакого желания объясняться взглядами, если до тебя не доходит мое «ну так что же», получай вопрос напрямую.

— Нет, — говорит Яков.

— Ты хочешь, чтобы я тебе поверил, будто на войне за целый день ничего не происходит? За целый день и за целую ночь?

Они ставят ящик на край вагона, идут вместе к складу, Яков собирается с духом, и Ковальский ободряюще кивает ему. И тут он теряет самообладание и говорит громче, чем рекомендуется в подобных обстоятельствах:

— Слушай, оставь меня, наконец, в покое! Я сказал тебе вчера, что они в двадцати километрах от Безаники? Тебе этого мало?

Разумеется, Ковальскому этого мало; русские находятся в двадцати километрах от какой-то Безаники в то время, как он находится здесь, как же этого может быть достаточно, но у него нет времени, чтобы сразить Якова, момент неподходящий, он оглядывается испуганно, потому что Яков забыл про осторожность. И действительно, совсем близко от них стоит охранник, они должны пройти мимо него, а он уже поглядывает в их сторону. Форма сидит на нем неловко, он

слишком молод для нее, они уже заметили этого солдатика, он орет и ругается, но пока еще не научился чуть что пускать в ход кулаки.

— Что вы между собой не поделили, дерьмо собачье? — спрашивает он, когда они проносят мимо него свой ящик. Во всяком случае, слов солдат не разобрал, слышал только громкие голоса, значит, легко можно отговориться.

— Мы все поделили, господин охранник, — надывается Ковальский, — просто я глухой на одно ухо.

Солдат приподнимается на цыпочки, стоит, покачиваясь, потом поворачивается и уходит. Ковальский и Яков берут следующий ящик, эпизод остается без комментариев.

— Послушай, Яков, ведь прошел целый день. Двадцать четыре долгих часа. Хотя на несколько километров должны же они были продвинуться за это время!

— Да, на три километра по последним сообщениям.

— И ты говоришь об этом спокойно! Каждый метр имеет значение, я тебя уверяю, каждый метр!

— Что такое три километра, — говорит Яков.

— Тоже скажешь! Для тебя это, может быть, ничего, ты каждый день узнаешь новости. Но три километра — это три километра!

Все, выдержал. На сегодня Ковальский оставит его в покое, он опять нем, как Файнгольд, он узнал что хотел.

Яков должен себе признаться, что это оказалось проще, чем он ожидал, ложь легко слетела с его губ, он объяснял мне потом очень подробно, потому что это была для него, как он рассказывал, очень важная минута. Первая ложь, которая, может быть, и не была ложью, всего такая маленькая, такая крохотная, и Ковальский уже доволен. Стоит солгать, чтобы не угасла надежда, иначе они не переживут это время, он знает точно, что русские наступают, он это слышал собственными ушами, и, если есть Бог на небе, они должны дойти и до нас, а если Его нет, то и тогда они должны до нас дойти, и как можно больше оставшихся в живых должны их встретить, вот ради чего. А если всем нам суждено умереть, то все-таки это была попытка. Просто все дело в том, чтобы у него хватило выдумки, они будут каждый день спрашивать, они захотят знать подробности, не только число километров, и у него на все должен быть придуман ответ. Будем надеяться, что голова его не подведет, не каждому дано изобретать, до сих пор он только однажды в жизни что-то изобрел, это было много лет назад — новый рецепт картофельных оладий с творогом, луком и тмином, — но эти вещи никак не идут в сравнение.

— И кроме того, важно, что они вообще продвигаются вперед, — говорит Ковальский задумчиво. — Понимаешь, лучше медленно вперед, чем быстро назад...

* * *

Теперь познакомимся с Линой. Она появляется непростительно поздно в нашем рассказе, хотя играет в этой истории немалую роль, потому что придает ей законченность. Яков ходит к ней каждый день, а мы пришли только сейчас.

Лине восемь лет, у нее длинные черные волосы и карие глаза, удивительно красивый ребенок, говорят почти все. Она может так посмотреть на человека, что захочется поделиться с ней последним куском, но только Яков поступает так, иногда он отдает ей даже все, это потому, что у него никогда не было своих детей.

Уже два года, как у Лины нет родителей, они уехали, сели в товарный вагон и уехали и оставили ее одну, свое единственное дитя. Около двух лет назад отец Лины вышел на улицу, и

никто не обратил его внимания на то, что на пиджаке у него нет звезды. Было начало осени, он вышел на улицу и не думал, что с ним может случиться плохое, это могли заметить только на работе, но до работы он не успел дойти. На полдороге ему встретился патруль, достаточно было внимательного взгляда, один только Нуриэль не разгадал, что означает этот взгляд.

— Ты женат? — спросил его патрульный.

— Да, — сказал Нуриэль, не почувствовав, чего они хотят от него этим странным вопросом.

— Где работает жена?

Там и там, ответил Нуриэль. Они сразу же пошли туда вместе с ним и забрали жену прямо с фабрики. Как только она увидела его с солдатами, ей сразу бросились в глаза пустые места на груди и спине Нуриэля, она посмотрела на него в ужасе, а Нуриэль сказал ей: «Я тоже не знаю, в чем дело».

— Твои звезды, — сказала она шепотом. Нуриэль оглядел себя, только теперь он понял, что это конец или что конец совсем скоро, куда менее значительная причина была достаточна для конца, читай приказ по гетто. Они пошли с Нуриэлем и его женой к ним домой, по дороге им сказали, что разрешается взять с собой. Возле дома Лины не было, в подъезде она тоже не играла, мать строго-настрого наказала ей не выходить из квартиры. Но ведь не знаешь, где болтаются дети, когда родители целый день на работе; пока они дошли до двери, оба молились про себя, чтобы на этот раз она оказалась непослушной. В комнате ее не было, и она не могла удивиться и спросить, что случилось, почему мама и папа уже вернулись домой, тогда эти люди узнали бы, что у Нуриэля есть не только жена. Они сложили немного вещей, двое стояли рядом и следили, чтобы все делалось как положено. Нуриэль двигался, как во сне, пока жена не подтолкнула его и не сказала, что он должен торопиться. И он правда заторопился, он понял, почему она его торопит, каждую минуту в комнату могла войти Лина.

Когда они спускались по лестнице, он увидел через окно на площадке, что Лина играет во дворе. Свидетелей этой сцены не было, но, вероятно, все происходило именно так. Лина осторожно балансировала, держа равновесие руками, на невысокой стене, разделявшей два двора, именно это он ей раз и строго-настрого запретил делать, но дети не всегда слушаются родителей. Соседка, которая в эту неделю работала в ночную смену, встретила их на лестнице, когда они спускались, и слышала, как жена Нуриэля сказала ему, чтобы он не смотрел все время в окно, лучше пусть смотрит себе под ноги, иначе споткнется. Он так и поступил, они без задержек вышли на улицу, и с тех пор у Лины нет больше родителей.

Вскоре в комнату Нуриэлей поселили другую семью, в то время еще прибывали новые люди. Встал вопрос, куда же девать Лину, на все время взять ее к себе никто не мог, не из-за недостатка места и не по злой воле — вдруг неожиданная проверка, откуда у тебя взялся ребенок? Несколько недель ждали, что Лину будут искать, кому-нибудь в каком-то учреждении при регистрации бумаг могло броситься в глаза, что в эшелон попали только двое из семьи Нуриэль, но ничего такого не случилось. В конце концов женщины из того дома вычистили и вымыли комнатку на чердаке, поставили туда кровать и комод с ее вещами, теми, что сохранились, и теперь Лина живет на верхнем этаже. Только печки нигде не удалось раздобыть. Когда ночи особенно холодные и два одеяла все равно не согревают, Яков, у которого никогда не было собственных детей, идет на риск и берет ее к себе. Так уж само собой получилось, что она принадлежит больше всего ему, у нее было целых два года, достаточно времени, чтобы научиться вертеть им как захочется.

Сегодня ночь не холодная, во всяком случае, не из самых холодных, Лине придется спать одной, Гершль Штамм весь день страшно потел. Яков приходит к ней, он приходит к ней каждый вечер, Лина лежит с закрытыми глазами. Яков точно знает, что она не спит, и она точно

знает, что он это знает, каждый вечер она ждет от этой игры нового сюрприза. Яков достает из кармана фунтик, в фунтике морковка, он кладет ее на комод возле кровати, а потом начинается сегодняшнее развлечение. Он надувает пакетик, хлопает по нему, тот с шумом рвется, но Лина начинает смеяться раньше, когда еще держит глаза закрытыми, потому что сейчас что-то произойдет, наверно смешное. Оглушительный хлопок, Лина приподнимается на подушке, чмокает Якова в щеку, он заслужил поцелуй, и заявляет, что ей гораздо лучше. Завтра она наконец встанет, такой кашель не может продолжаться вечно, но этого Яков не может ей разрешить. Он потрогал ее лоб.

— Есть еще температура? — осведомляется Лина.

— Совсем маленькая, если мой термометр показывает правильно.

Она берет морковку, спрашивает, что такое температура, и с хрустом откусывает.

— Это я тебе объясню в следующий раз, — говорит Яков. — Был уже сегодня профессор?

— Нет, еще не был, но вчера он сказал, что дело идет на поправку, и пусть Яков не начинает опять про следующий раз, а объяснит, что такое противогаз, эпидемия, аэростат, осадное положение, остальное она забыла, а теперь он ей еще должен температуру.

Яков с удовольствием слушает ее болтовню, у нее уже совсем бодрый вид, может быть, он с некоторой грустью вспоминает о тех трех сигаретах, которых ему стоила эта морковка, в другой раз он постарается достать дешевле. Так они болтают о том о сем, Лина великий мастер вести беседу, у нее просто талант поддерживать непринужденный разговор.

— Что на работе? — спрашивает она.

— Все в полном порядке, — говорит Яков, — спасибо, что спросила.

— У вас тоже была такая страшная жара? Здесь здорово припекало.

— Ничего, терпеть можно.

— Что вы сегодня делали? Ты опять ездил на паровозе?

— С чего ты взяла?

— Как же! Ты же недавно ездил до Рудополя и обратно, ты уже забыл?

— Ах да. Но сегодня нет. Паровоз на днях сломался.

— Что случилось?

— Одно колесо отлетело, а новое пока не привезли.

— Жалко. Как дела у Миши? Он уже давно не приходил.

— Он очень занят. Хорошо, что ты о нем напомнила, он передает тебе привет.

— Спасибо, — говорит Лина, — ты ему тоже от меня.

— Непременно.

Такой разговор может продолжаться часами, растянуться хоть на двадцать морковок, — до тех пор, пока не открывается дверь и не входит Киршбаум.

* * *

Если бы я с самого начала не задумал рассказать именно эту историю о Якове, я рассказал бы историю о Киршбауме. Может быть, я когда-нибудь это и сделаю, искушение велико. Хотя мы встречались всего два-три раза, случайно. Собственно, я знаю его только со слов Якова, он упомянул его мимоходом, остальное досказало мне мое воображение. Киршбаум не играет большой роли в этой истории, но не забудем, что он вылечил Лину. Раньше Киршбаум был знаменитостью, с печатью и факсимиле и тысячей почестей, главный врач больницы в Кракове, кардиолог, попасть на прием к которому считалось большим счастьем, доклады в университетах по всему миру, свободно по-французски, по-испански, по-немецки, говорили, что он состоял в

дружеской переписке с Альбертом Швейцером. Кто хотел у него лечиться, должен был пустить в ход все свои связи; он и сегодня держится с достоинством уважаемого человека, и к нему относятся с почтением, хотя он ничего для этого не делает. Костюмы его из лучшего английского сукна, на коленях и локтях уже слегка потертые, но, как и прежде, безукоризненно сидят на нем, всегда в темных тонах, очень эффектно выглядят при его седине.

Киршбаум никогда не давал себе труда задуматься над тем, что он еврей, еще отец его был хирургом, — что в том, что они еврейского происхождения, немцы заставляют человека быть евреем, а сам ты не имеешь никакого представления о том, что такое еврей. Теперь вокруг одни только евреи, впервые в его жизни никого, кроме евреев, он ломает себе голову над вопросом, чем они схожи между собой. Напрасно. Он не может найти видимого сходства, а с ним у них и вовсе ничего общего.

Для большинства он оригинал, чужак; Киршбауму это неприятно, лучше дружеские отношения, чем отчужденное уважение, он старается добиться расположения, но делает это неумело, в то время как каждый ожидает от него особенного; кроме того, он совсем лишен чувства юмора, а юмор очень помогает в таких случаях.

Киршбаум приходит в комнатку на чердаке, приносит полную кастрюльку супа для Лины, у него пружинистый шаг, как у тридцатилетнего, теннис помогает сохранить форму.

— Всем добрый вечер, — говорит он.

— Добрый вечер, господин профессор.

Яков, сидящий на краю кровати, уступает место Киршбауму, который сейчас будет выслушивать Лину, она уже снимает рубашку, все равно суп слишком горячий, каждый раз ее сначала выслушивают, а потом она принимается за суп. Яков подходит к окну, оно открыто, маленькое чердачное окошко, и все-таки из него можно увидеть половину города. Может быть, это случится, когда будет закат, дома в серо-золотом свете и кругом мир. Русские пройдут по всем улицам, ни одной не пропустят, проклятые звезды снимут с дверей, и на них останутся светлые пятна, как от уродливых картин, которые слишком долго висели на стенах, а теперь, как того и заслуживали, перекочевали на свалку. Наконец у Якова, как у всех людей, находится немного времени для радостных мыслей. Он будет жить тихо, не пускаться в рискованные приключения с женщинами, пусть молодые кидаются с головой в любовные авантюры, кафе надо будет отремонтировать, освежить стены и, может быть, добавить несколько столиков, хорошо бы получить лицензию на продажу водки, тогда никаких шансов на нее практически не было, теперь посмотрим. В помещении, где он хранил запасы продуктов, можно устроить комнатку для Лины, будем надеяться, что не объявятся родственники и не захотят ее забрать, он отдаст Лину только родителям, но неизвестно, живут ли они еще на свете. На будущий год она пойдет в школу, смешно, девица девяти лет сидит в первом классе. В первом классе будет полно переростков, может быть, они что-нибудь придумают, чтобы детям не терять столько времени. Неплохо бы начать ее учить уже заранее, хотя бы читать и немного считать, почему ему раньше не пришло это в голову, пусть только выздоровеет.

— Теперь я вам могу сказать, — говорит Киршбаум, — что дела у этой юной дамы обстояли весьма неважно; но когда юные дамы слушаются старших, почти всегда удается кое-что сделать. Мы здесь у нее внутри уже все починили. Глубокий вдох! Не дышать!

В шкафу на нижней полке лежит старая книжка, описание путешествия по Африке или Америке, она хорошо подойдет для ученья, там и картинки есть. Нужно постараться, чтобы ей понравились занятия, потому что, если ей не понравится, можно хоть на голове стоять, она учиться не станет. Как только будет возможно, я ее удочерю, сначала, конечно, наведу справки о родителях, но она, Боже сохрани, не должна знать; чтобы взять девочку, надо выполнить массу формальностей, побегать по учреждениям, надо же, на старости лет оказываешься с ребенком. С

помощью немцев и с помощью русских, чья доля больше? Я ей скажу, теперь хватит бесконечно рассказывать сказки, не все слушать про принцев и ведьм и волшебников и разбойников, действительность выглядит по-другому, ты уже большая, вот это «А». Ручаюсь, она спросит, что такое «А», она захочет знать, для чего оно нужно, у нее практический ум, в ее возрасте дети донимают вопросами, вот когда мне придется трудно. Она уже восемь лет как ребенок, а я только два года как отец.

Киршбаум приложил стетоскоп к груди Лины и сосредоточенно слушает, вдруг он делает удивленное лицо, смотрит на нее большими глазами и спрашивает: «Что там у тебя внутри? Там что-то свистит!»

Лина лукаво смотрит на Якова, он и не заметил, что начал тихонько насвистывать, но теперь продолжает свистеть, он не станет портить Киршбауму его нехитрую шутку, и Лина смеется над глупым профессором, который никак не поймет, что свистит не в ее груди, что это дядя Яков.

* * *

Как, спрашивается, распознать тень, что отбрасывают впереди себя великие события? Нигде никакой тени, проходят несколько незначительных дней, незначительных для историка, никаких новых распоряжений, никаких внешних событий, ничего определенного, что позволяло бы вывести заключение о предстоящих переменах. Некоторые утверждают, что заметили, будто немцы стали сдержаннее, другие считают, поскольку ровно ничего не происходит, что это затишье перед бурей, я же говорю, что это вранье насчет затишья, потому что буря уже наступила, чувствуется ее дыхание, шелест и шепот в комнатах, когда высказываются опасения и строятся расчеты, рождаются надежды и когда молятся, — началось время великих пророков. Если двое спорят между собой, то о планах на будущее, мой лучше, чем твой, все занимаются этим с воодушевлением, все уже знают о событиях, которые так огромны, что не умещаются в голове. Кто о них еще не слышал, тот, стало быть, чудаков-отшельник, не каждый знает, откуда приходят новости, гетто велико, но русские занимают мысли каждого. Всплывают на поверхность старые долги, о них смущенно напоминают, дочери превращаются в невест, перед Новым годом отпразднуют свадьбу, люди посходили с ума, число самоубийств упало до нуля.

Кого расстреляют теперь, когда все вот-вот кончится, тот, как вдруг оказалось, упустит свое будущее, ради всего святого, не дать повода отправить тебя в Майданек или Освенцим, если для этого вообще требуется повод, осторожность, евреи, крайняя осторожность и ни одного необдуманного шага.

Давно уже образовались две партии в каждом доме, вдоль всех улиц, у Якова есть не только друзья, две партии без устава, но с вескими аргументами, платформой и искусством убеждения. Одни лихорадочно ждут новостей, что произошло прошлой ночью, какие потери на каждой стороне, нет такого самого незначительного сообщения, чтобы нельзя было сделать из него те или иные выводы. Другие же и так слышали слишком много — партия Франкфуртера; для них радио — источник постоянной опасности. Яков так легко мог бы их успокоить, я слышу их продиктованные страхом сомнения на товарной станции и по дороге домой и в доме. Болтает по своей глупости и наивности, предостерегали они, а все эти разговоры будут стоять вам и всем нам головы, немцы не глухие и не слепые. И приказы по гетто не правила хорошего тона, там черным по белому написано, что значит для тебя слушать радио, и еще там написано, что случится с теми, кто знает, что кто-то слушает, и не донесет. Поэтому оставьте нас в покое и ждите тихо в своем углу. Когда русские будут здесь, тогда они здесь и будут, от ваших

разговоров они раньше не придут. И прежде всего перестаньте болтать об этом злосчастном радио, об этой вполне вероятной причине тысячи новых смертей, приемник надо разбить на мелкие кусочки и лучше это сделать прямо сегодня.

Таково положение дел; итак, у Якова есть не только друзья, но он этого не замечает, он и не может это узнать. Те, кто жадно выпрашивают его, кому не терпится скорее узнать новости, сотни Ковальских, — они поостерегутся сказать Якову, потому что он может передумать и вдруг замолчать, лучше уж помолчат они сами. А боязливые тем более ничего ему не говорят, не отправляют к нему делегаций с предупреждением о тяжелых последствиях легкомыслия — слишком рискованно. Они обходят Якова стороной, чтобы никто не мог показать, что видел их с ним рядом.

Гершль Штамм со своими пейсами, например, из тех, кто не хочет ни слышать, ни видеть, боится, что его обвинят — он-де знал про радио. Когда мы на товарной станции, прикрыв рот рукой, обсуждаем полученные от Якова свежие новости, успехи русских за последние сутки, он останавливается в некотором отдалении, но не очень далеко, я думаю, на расстоянии голоса. Его главная забота — чтобы со стороны не показалось, будто он принимает участие в разговоре, хитрость разгадать нетрудно. Глаза Гершля равнодушно блуждают по рельсам или встречают кого-нибудь из нас неодобрительным прищуром, но не исключено, что уши свои под потогонной меховой шапкой он наострил, как заяц.

Неисправность в электросети, превратившая на несколько дней приемник Якова в пылящийся ящик, источник смертельной опасности, он считает своей личной заслугой. Правда, он не заявляет это во всеуслышание, Гершль не из тех, кто любит хвалиться, мы знаем это от его брата Романа, который каждый вечер и каждое утро проводит с ним в одной комнате, а каждую ночь в одной кровати, кому знать, как не ему. Когда мы спрашиваем Гершля, как он сумел устроить этот фокус — ведь не шутка испортить электричество на нескольких улицах и на несколько дней, — на лице его появляется кроткое выражение, почти улыбка, но он отмалчивается. И тогда мы спрашиваем: Роман, как это было? Как он это устроил?

Полчаса перед сном, рассказывает Роман, посвящены молитве. Гершль молится тихо, в углу, не только со времен радио, это у него старая привычка. Роман терпеливо ждет в кровати, когда можно будет натянуть на голову общее одеяло, он давно уже не требует от Гершля, чтобы тот поторопился и наконец шел спать, до его сведения довели тоном, не допускающим возражений, что молитва и спешка не имеют между собой ничего общего. Роман не обращает внимания на монотонное, похожее на пение бормотание, нет никакого смысла — так как он не знает ни слова по-древнееврейски, но с недавнего времени до слуха его доносятся и знакомые звуки. С тех пор как у Гершля есть что сообщить Господу Богу из конкретных сведений, а не только обращаться с обычными смиренными просьбами насчет защиты и изменить все к лучшему, он все чаще пользуется общепонятным языком. По отдельным словам Роман может теперь понять, что волнует и мучает его брата, ничего необыкновенного, если бы он сам молился, он тоже не сказал бы ничего другого. Вечер за вечером Бог получает рассказ про голод, про страх перед депортацией и побоями охранников, невозможно, чтобы это происходило с Его одобрения, пусть Он, пожалуйста, распорядится, что тут можно сделать, и по возможности поскорей, это очень срочно, и пусть подаст знак, что Он услышал его, Гершля. Для Гершля это было блестяще выдержанное испытание на стойкость, потому что ждать пришлось долго. Пока в конце концов Бог не подал долгожданный Знак, неожиданный, как все небесные знамения, и такой потрясающей силы, что даже у самых неверующих слово сомнения должно было замереть на устах.

Каждый вечер разговор идет о радио, в данный момент это самая большая тревога, заслонившая все другие. Гершль самым подробным образом объясняет Богу, какие страшные

последствия, какие невообразимые несчастья может навлечь на людей легкомыслие и недостаточная осторожность, болтовня дойдет до немецких ушей, и вот она, беда, на пороге, болтуны — такой здесь закон — будут привлечены к ответственности, те, кто говорил, и те, кто знал, но молчал. И если они будут утверждать, что все мы знали, что новость никого не обошла стороной, они даже будут правы. Кроме того, это не обязательно должен быть немец, который случайно стоял поблизости, есть и тайные немецкие уши, только Ты знаешь, сколько среди нас крутится доносчиков. Или кто-нибудь, чтобы спасти свою шкуру, побежит доносить сам, подлецы есть везде, это Ты тоже знаешь, без Твоего согласия их не было бы на свете. Не допусти, чтобы так незадолго до конца наших мучений на нас свалилось великое несчастье, если уж Ты все эти годы милостиво простирал над нами десницу Свою, не допусти, ради Себя самого. Не допусти, чтобы немцы узнали про радио, Тебе известно, на что они способны. Или еще лучше — если позволено мне внести предложение — уничтожь проклятое радио, это было бы самым удачным решением.

И как раз когда разговор дошел до этого пункта, лампочка под потолком вдруг начала мигать, сначала Гершль не обращает на это внимания, потом расширившимися глазами смотрит вверх, мгновенно на него нисходит просветление, он понял, что это означает. Бог услышал его, молитвы были не напрасны. Он шлет Свой Знак, подтверждение, что сообщение принято и практические действия начаты, на то Он и Бог. Без электричества приемнику крышка, свет мигает тем сильнее, чем истовее Гершль молится. «Давай, давай!» — кричит ему Роман, но Гершль сам знает, что поставлено на карту, он не нуждается в советах насмешников, когда вознаграждением ему с высоты светит блаженство. Он пускает в ход все свои связи со Всевышним, он молится с жаром, пока чудо не свершилось, лампочка окончательно гаснет, последнее слово сказано. Гершль бросается к окну, его испытующий взгляд проверяет другую сторону улицы, нигде, ни в одном окне сквозь занавески не пробивается свет, в доме Якова Гейма тоже темно. Мы заставили тебя замолчать, мой миленький, теперь воцарится божественное спокойствие, бери свой страшный ящик и неси его к черту, теперь он тебе ни к чему. И не воображай, что потухшее электричество, которое ты в своем неведении и легкомыслии объясняешь аварией в сети, завтра зажжется. Короткое замыкание по приказу наивысшей власти не так-то быстро исправляется. Гордый и счастливый, насколько позволяют обстоятельства, Гершль, исполнив свой труд, ложится в постель и со спокойным достоинством принимает поздравления своего брата Романа.

* * *

На Якова смотрят озабоченные лица, что же будет, сидим на мели и понятия не имеем, какие события происходят в мире. Третий день продолжается такое непереносимое состояние, это уже не отключение электричества, это стихийное бедствие, катастрофа, надо же было такому свалиться на нашу голову. Поспешили привыкнуть к хорошим известиям, дрожат от нетерпения, пока не услышат каждое утро о нескольких километрах, а потом целый день есть на что надеяться и что обсуждать. И вот уже несколько дней удручающая тишина. Первый шаг ранним утром — к выключателю, некоторые вставали даже среди ночи, мы поворачивали выключатель и получили ответ, которого боялись: Яков знает ровно столько же, сколько и мы. Только электричество сделает его всеведущим, только когда во всех комнатах снова будут гореть лампы, свет его знания засияет для нас особенно ярко, но когда это будет.

Единственный человек, кого это новое обстоятельство не беспокоит, — Яков, его в виде исключения не затронул этот удар судьбы. Его связи с внешним миром не прерваны, ибо не

может перестать существовать то, чего не существует. С ума сойти, какие наряды выискивает себе счастье, чтобы вдруг явиться к тебе, — переодеться в испорченное электричество! Пусть очень скромное счастье, только бы оно длилось, пока первые русские лица не испугают постовых на краю города.

Во всяком случае, Яков может дышать спокойнее, он опять имеет право быть таким, как все, никто не заставляет его знать больше других, однако он должен продолжать играть свою роль. Он все время должен притворяться, изображать огорчение из-за отсутствия электричества, не такая уж мелочь, несмотря на облегчение. Вы же видите, друзья, я делаю все, что в моих силах, пока было возможно, я снабжал вас самыми свежими и лучшими новостями, ни одного дня не оставлял без утешительных известий, я бы с удовольствием и дальше передавал их каждый день до долгожданного часа, но у меня связаны руки, вы сами видите.

Утром Ковальский прибежал, будто за ним кто-то гнался. Он несет с Яковым ящик, но Яков вдруг стал не больше чем самой обыкновенной рабочей силой, немолодой человек со слабыми руками, никто не рвется носить с ним в паре. Ковальский подошел к Якову скорее по привычке или по старой дружбе, во всяком случае, они таскают ящики вместе. Давно они не работали в таком молчании, ящики кажутся Якову немного легче с тех пор, как Ковальский и другие не засыпают его вопросами, Ковальскому, наверно, тяжелее с тех пор, как нет ответов, вес, как мы видим, величина не абсолютная. На последний вопрос, не погас ли, не дай Бог, свет и у Якова в доме, Яков ответил просто и правдиво «да», он был счастлив впервые за долгое время иметь право сказать чистую правду, и с тех пор вокруг него тихо.

Когда Свисток объявил перерыв, они садятся рядом на солнышке. Ковальский вздыхает, зачерпывает из своей миски, снова вздыхает; не из-за супа, который не хуже и не лучше, чем каждый день. В последнее время Яков стал бояться соседства Ковальского, Ковальский был самым дотошным из выпрашивающих, он не давал ему ни есть, ни спать спокойно, он безжалостно использовал Якова как средство удовлетворения своего любопытства. Но сегодня соседство не может пугать Якова, задавать вопросы — пустая трата слов, солнце светит, они сидят молча и мирно рядышком и едят, а где-то вдалеке с неизвестной скоростью приближаются солдаты Сталина.

— Как ты думаешь, сколько еще будет продолжаться эта история с электричеством? — спрашивает Ковальский.

— Будем надеяться, что лет двадцать, — говорит Яков.

Ковальский поднимает от миски обиженные глаза: что за тон между друзьями? Понятно, последние дни были для Якова нелегкими, единственная связь с внешним миром, с событиями, которые происходят за этими запертыми воротами, кто же оставит такую возможность неиспользованной, тебя осаждают, тебя выпрашивают, нельзя утверждать, что это совсем уж безопасно, но в нашем положении разве жалко потратить немножко усилий? Кто бы на твоём месте поступил иначе, поищи такого среди нас и не найдешь, и вот на твой скромный вопрос слышишь в ответ такую грубость.

— Почему ты отвечаешь с такой злобой? — спрашивает Ковальский.

— Ты никогда не додумался, — говорит Яков.

Ковальский пожимает плечами и продолжает есть, сегодня с Яковым невозможно разговаривать, может быть, у него плохое настроение, случались дни, когда он и раньше был, непонятно почему, очень раздражительным. Придешь, бывало, в его неудобное кафе в самом лучшем расположении духа, сядешь за один из многих пустых столиков и спросишь Якова совершенно нормально, как обычно спрашивают, как идут дела, нет бы ответить нормально, мол, дела идут так и так, как ожидаешь от взрослого человека, нет, он на тебя набросится: не задавай idiotских вопросов, оглянись лучше по сторонам!

Не совсем случайно к Ковальскому и Якову присаживается Миша, он привел с собой Швоха, младшего компаньона фирмы «Лившиц и Швох. Штемпельные подушки оптом и в розницу». Сначала Яков думает, они пришли потому, что здесь есть свободное место и пригревает солнце, пока не заметил, что они все время переглядываются. Миша смотрит на Швоха ободряюще, у Швоха в глазах нерешительность. Теперь Яков знает, что это не случайность, в игру вступила неизвестная величина. Он научился обращать внимание на самые тонкие нюансы. Взгляды Миши требуют: говори же, наконец! Глаза Швоха отвечают: нет, лучше ты. Этому переглядыванию не видно конца, и тогда Яков говорит между двумя ложками супа:

— Я слушаю.

— У нас есть одна мысль, — говорит Швох.

Что ж, прекрасно, от хорошей идеи всегда может быть польза, хорошие идеи, как воздух для дыхания, послушаем, что вы придумали, потом посмотрим.

Но, разогнавшись для разговора, Швох замолкает, снова смотрит на Мишу, и глаза его просят: лучше говори ты!

— Дело в том, — начинает Миша, — мы подумали, если электричество не приходит к радио, тогда радио должно прийти к электричеству.

— Что это за загадки, — спрашивает обеспокоенный Яков, хотя в словах Миши нет ничего загадочного, они означают не более и не менее как то, что на какой-то улице в этом гетто все же горит свет, сейчас услышим, на какой, обладая здравым смыслом, нетрудно сделать вывод.

— На улице у Ковальского горит свет, — говорит Швох.

Эти обнадеживающие слова, сказанные, чтобы объяснить Якову ситуацию, настигают Ковальского в тот момент, когда он выскребает из миски последние остатки еды. Рука его останавливается в воздухе, на секунду он закрывает глаза, губы его горестно шепчут: пусть этого Швоха гром разразит, и он отодвигается в сторону. Недалеко, на символические несколько сантиметров. Он ничего не слышал, пусть эти сумасшедшие говорят, что им вздумается, его это не касается.

Яков сделал про себя это маленькое открытие, жаль, что нельзя позволить себе улыбнуться, предстоит нечто более важное прежде, чем кончится перерыв, и Миша и Швох не расскажут еще кому-нибудь о своем плане, и его не признают вполне приемлемым. То, что с Ковальским у них ничего не выгорит, Якову ясно как апельсин, с этой стороны опасность не грозит, кто столько лет жил с Ковальским по соседству и слышал его голос, даже сидя у себя дома, тот знает, что герои выглядят иначе. Подстричь тебе бороду по новейшей моде и так особенно уложить тебе волосы, что люди на улице на тебя оглядываются, это он, пожалуй, может, но слушать под страхом смерти запрещенные передачи и распространять их содержание — ищите себе других дураков.

Проблема вовсе не в Ковальском, беда в том, что может найтись другой, улица, слава Богу, длинная. Может прийти другой и сказать, давай сюда ящик, он у нас заговорит и запоет и объявит, что наступил рай на земле.

Им нужно внушить раз и навсегда, что весь план от начала до конца никуда не годится, нужно найти слова, которые опорочат саму идею и докажут ее полную неосуществимость. Значит, выкладывай, Яков, доказательства, но откуда их взять в такой спешке, может быть, Ковальскому придет что-нибудь путное в голову. Потому что наконец он стал союзником Якова, наконец они сидят в одной уютной лодке, Ковальский тоже изо всех сил будет подкапываться под план Миши и Швоха, он скажет все, но только не то, что боится. Нужно загнать его в угол, тогда он волей-неволей заговорит. Остается надеяться, что за эти минуты на него снизойдет озарение и ангел нашепчет ему подходящие слова.

— Ты слышал, что они от тебя хотят? — говорит Яков.

Ковальский поворачивает голову в его сторону, он делает вид, будто в мыслях был далеко отсюда, и наивно спрашивает — по его мнению, он с совершенством сыграл наивность: «От меня?» — и потом Швоху: «В чем дело?»

— Насчет электричества, — терпеливо объясняет Швох. — Можно перенести радио к тебе?

Ковальский изображает на лице удивление, будто услышал глупую шутку.

— Ко мне?

— Да.

— Радио?

— Да.

— Исключительная мысль!

Эти идиоты хотят меня погубить, скорее всего, думает он, они хотят разрушить мою жизнь, будто у меня без них недостаточно неприятностей, и они говорят о моей гибели, словно это самая естественная вещь на свете.

— А ты, Яков? Что ты на это скажешь?

— Почему бы нет? — говорит Яков. — Все зависит от тебя. Я согласен.

Это только выглядит так, будто он играет с огнем, он точно знает, что такое Ковальский, кроме того, если Ковальский скоропалительно превратится в героя, всегда можно передумать. Но по человеческому разумению в этом не должно быть необходимости, Ковальский — задачка для первого класса.

— Ты знаешь, чем ты рискуешь? — спрашивает Ковальский, безмерно удивленный столь легкомысленной неосторожностью. — Что это вообще значит: можно? Кто принесет? Ты, я, он? Что это значит: можно? Вы хотите нести радио среди бела дня через все гетто? Или еще хуже, ночью, может быть, после восьми? — Он в негодовании откидывает назад голову, это уже почти смешно, что они хотят навязать человеку, а еще считают себя умными! — Они хотят устроить целую процессию! Патрули и постовые отправятся на это время спать, а когда все кончится, тогда мы с ним пойдем, разбудим их и скажем, можете сторожить нас дальше, радио в безопасности у Ковальского!

Швох и Миша озабоченно смотрят друг на друга, если разобраться в подробностях, их план вовсе не выглядит блестящим, да еще многозначительные взгляды Якова, он тоже встревожен и в сомнении.

— Кроме того, есть еще один важный пункт, — говорит Ковальский, — о том, что в гетто находится радио, узнали многие, но кому известно, что оно стоит у Якова? Нам, здесь, на станции, и в крайнем случае еще его соседям. Если пока все сходило благополучно, иначе говоря, немцы ничего не пронюхали, то это означает, что у Якова в доме живут порядочные люди. Но откуда вы знаете, что и в моем доме все сойдет благополучно? У меня трое соседей, кто вам может дать гарантию, что надо мной, рядом со мной или подо мной не живет предатель или трус? И что он не побежит сразу в гестапо?

Долгая пауза, слова Ковальского оцениваются и взвешиваются, потом Швох произносит тихо:

— Дело дрянь, он действительно прав.

Миша нерешительно пожимает плечами, а Яков встает и говорит:

— Ну, если вы так считаете...

— Не надо так торопиться, ребята, зачем рисковать, — говорит Ковальский, — исправят же когда-нибудь электричество. Если не завтра, так послезавтра. И тогда Яков успеет сказать нам, как они за это время продвинулись.

Когда Свисток свистит всех на работу, план Миши и Швоха отвергнут и похоронен. Его

подробно обсудили, как положено среди умных и разумных людей, рассмотрели во всех слабостях, что называется, при свете дня и увидели, что при свете дня он померк. Жаль, так хорошо придумали, но умный человек открыл им глаза. Швох и Миша ставят пустые миски на тележку, они почти последние, и охранники нетерпеливо и угрожающе смотрят в их сторону.

Яков и Ковальский опять одни рядышком, с каждого свалилось по одной заботе, это дело они провернули.

— Надо же такое придумать! — говорит Ковальский развеселившись, скорее себе, чем Якову, и на том кончается эта глава.

* * *

Лина стоит, лениво прислонившись к входной двери, и смотрит на Рафаэля и Зигфрида, которые сидят на кромке тротуара и тихо разговаривают, чересчур тихо и осторожно, так ей кажется. Как только кто-нибудь проходит мимо, они замолкают и начинают невинно моргать глазами. Напрасно Лина прислушивается, она ничего не может разобрать, ей надоело сдерживать любопытство, надо же выведать, о чем шепчутся эти задавалы, и она прогуливается по мостовой. До нее долетают слова Зигфрида, что осталось уже недолго, а Рафаэль сказал, у них дома считают, самое большее, несколько дней.

На этом месте ее засекли. Мальчики смотрят в сторону, изображая полное равнодушие, и ждут с непроницаемыми лицами, когда же она пройдет — досадная помеха во время важного разговора. Но пусть не надеются, долго же им придется ее ждать, Лина не собирается уходить, она останавливается там, где ее заметили, и мило улыбается. Она стоит до тех пор, пока Рафаэль не поднимается с места.

— Пошли. Наши дела не ее ума дело, — говорит он.

Точно такого же мнения и Зигфрид. Он встает перед Линой во весь рост и не скрывает от нее, что они бы ее отколошматили, не будь она жалкой девчонкой. Лина принимает угрозу стоически, не двигаясь с места, потому что оба они поворачиваются к ней спиной и исчезают в своем подъезде — что ни говори, отступили. Лина ждет еще немножко, Яков строго запретил ей заходить в чужие дома, но Яков далеко. Когда она осторожно просовывает голову в дверь, ведущую во двор, то успевает заметить, как Зигфрид и Рафаэль заходят в сарай, она проскальзывает на цыпочках во двор и усаживается тихонько на земле под окном сарая, где в благословенные времена у столяра Панко была мастерская, еще сегодня там пахнет клеем. В окнах нет ни одного стекла, Лина это знает точно, она сама видела, как Рафаэль с первого броска разбил последнее. Пожалуйста, обсуждайте свои секреты, она готова.

— Самое большее, мы можем взорвать участок, — доносится до нее голос Зигфрида.

— А если они нас накроют? — спрашивает Рафаэль.

— Что ты так трясешься? Скоро придут русские, ты же слышал. Кроме того, они нас не накроют, раз мы их взорвем, потому что тогда они все будут мертвые.

Зигфрид всегда был хвастун, Лина может поспорить на что угодно, что из этого дела ничего не выйдет.

— А даст нам что-нибудь самый главный у русских, если мы это сделаем? — спрашивает жадный Рафаэль.

— Еще бы! Орден, или настоящий пистолет, или что-нибудь из еды.

— А вдруг и то и другое?

— Наверняка! Ведь это большое дело! Только чтобы дома ничего не узнали.

Несколько минут проходят в тишине, не иначе, эти два дурака рисуют себе, как русские

прямо забрасывают их подарками, вынимают из своих набитых карманов и забрасывают, в награду за героизм.

Вдруг Рафаэль горестно произносит:

— Послушай, ничего не выйдет.

— Почему?

— Где мы возьмем динамит? Если я высыплю из своих двух патронов, этого нам ни за что не хватит.

— Твоя правда. А больше у вас нет?

— Нет.

— И у нас нет.

Лина смеется и закрывает рот рукой, она едва сдерживается, чтобы не расхохотаться, просто не верится, что мальчишки в десять лет — и такие глупые.

У Рафаэля новая идея:

— Знаешь что? Мы их просто перестреляем!

— Кого?

— Кого! Гестаповцев, конечно! Мы просто запрем участок. Ночью они все спят, вот мы их и запрем. Двери там крепкие, а на окнах они сами поставили решетки, быстро выйти не смогут. Русские придут, а они уже сидят запертые! — Рафаэль задыхался от волнения.

— Но у нас ведь нет ключа!

— Найдем! — уверенно говорит Рафаэль. — В ящике у моего старика лежит целая связка, не меньше двадцати ключей. Какой-нибудь подойдет обязательно.

— Неплохая мысль, — пробасил Зигфрид. Ясно слышно, как он злится, что не ему пришла в голову эта выдающаяся идея. Ему очень хочется найти в ней изъян, но план — что надо.

В эту минуту открывается дверь и появляется маленькая фрау Буйок, она ищет своего пропащего сыночка, но не видит его, она видит только Лину, которая сидит на земле на корточках и улыбается.

— Ты видела Зигфрида?

Лина немножко испугана, она вся ушла в слух, она поднимает глаза на фрау Буйок, и на лице ее опять улыбка. Она не забыла «жалкую девчонку», а минута торжества порою приходит неожиданно. Лина показывает большим пальцем на сарай за своей спиной. Фрау Буйок грозно смотрит на сарай, стоит еще секунду неподвижно, чтобы набрать воздуха в легкие, затем шагает внутрь. Слышен основательный шлепок, слышно «ой!» и «сколько раз я должна повторять, чтобы ты не выходил на улицу!». Еще шлепок и «а теперь марш домой, бездельник!».

Затем во дворе воцаряется тишина и спокойствие.

Лина встает, отряхивает юбочку, представление окончено. Фрау Буйок выходит из сарая, гнев раскрасил ей лицо красными пятнами, Зигфрид держится одной рукой за нее, другой за щеку. Хорошо еще, что он не ревет. Они быстро проходят двор, Лину Зигфрид не видит.

Лина тоже идет к двери, она не торопится, собственно говоря, она могла бы и остаться, но Рафаэль теперь один, подслушивать некого и сидеть под окном нет никакого смысла. Очень может быть, что он снизойдет до разговора с ней, но она на это плюет, в данную минуту у нее нет никакой охоты. Пусть сидит себе и прикидывает, какой из двадцати ключей окажется подходящим, из этого дела все равно ничего не выйдет.

Итак, она уходит, еще раз оборачивается в дверях, но Рафаэль не начинает разговора.

— Ну и дураки! — кричит она в сарай через весь двор, и этим не прибавляет себе привлекательности в глазах Рафаэля.

А сопротивление, спросят меня, где же сопротивление? Может быть, герои собираются на обувной фабрике или на товарной станции, хоть несколько человек? Может быть, на южной границе гетто, которую труднее было охранять, потому что она хуже просматривалась, нашли тайные каналы, подпольные пути для переправлявшегося в гетто оружия? Или в этом несчастном городе все руки делают только то и точно то, что требуют от них Хартлофф и его охранники?

Осуждайте их, вы можете осуждать их сколько угодно, но там были только такие руки. Не за бунт в нас стреляли, спокойствие и порядок соблюдались строго, ни намек на сопротивление. Мне кажется, можно считать, что сопротивления не было, я, правда, знаю не все, но предположения мои, как говорится, граничат с уверенностью. Если бы что-нибудь было, я бы заметил.

Я бы участвовал, могу поклясться, пусть бы только меня спросили, из-за убитой Ханы я бы участвовал. К сожалению, я не из тех, кто поднимает на борьбу, я не могу увлечь других, но я бы участвовал. И не только я. Почему не нашелся человек, который мог бы крикнуть: «За мной!» — тогда последние несколько сот километров не были бы такими долгими и такими трудными. Самое страшное, что с нами тогда могло случиться, — исполненная смысла смерть. Я читал потом о Варшаве и Бухенвальде с величайшим уважением — другой мир, хоть его и можно сравнивать с нашим. Я много читал о героизме, пожалуй, слишком много, и каждый раз меня охватывала бессмысленная зависть, но вам не обязательно мне верить. Во всяком случае, мы до последней секунды вели себя покорно, и в этом я уже ничего не могу изменить.

Мне известно, конечно, что поработанный народ может быть по-настоящему свободен, только если сам помогает своему освобождению, если он идет навстречу Мессии хотя бы кусочек пути. Мы этого не сделали, мы не сдвинулись с места, я выучил наизусть все приказы по гетто, неукоснительно их выполнял и только время от времени спрашивал бедного Якова, что передавали в последних известиях. Наверно, я никогда не расквитаюсь с этим, так мне и надо, и все мои терзания и все, что я вбил себе в голову с деревьями, — все от этого, и моя несчастная чувствительность и слезливость. В нашем гетто сопротивления не было.

Говорят, что хорошо для твоих врагов, плохо для тебя. Я не собираюсь против этого спорить, это имело бы смысл только на конкретных примерах, скажем, на таком, который есть сейчас у меня, но я не хочу против этого спорить. Мой пример — электричество. Яков с удовольствием отказался бы от него, он прекрасно может без него обойтись, что значит — обойтись, никто даже не представляет себе, как хорошо может быть без электричества.

После русских и здоровья Лины самое большое желание Якова — чтобы испорченное электричество подольше не чинили. Но Яков единственный, а нас много, мы хотим, чтобы было электричество, мы беспомощны перед властью наших надежд и планов, и если не освободители сию же минуту, то хотя бы электричество.

Немцы, возвращаясь к моему примеру, тоже хотят, чтобы горело электричество. Не только потому, что в участке при свечах портишь себе глаза. Летят к черту во всех тонкостях разработанные планы, ни один стул и ни один буфет не вывозят с мебельной фабрики, не делают клещей, молотков и винтов на инструментальном заводе, не шьют ботинки и не кроят

брюки, евреи сидят без дела и точат ляды.

Две группы спешно разысканных электриков — дополнительный паек и сигареты — рассыпались по гетто и ищут повреждение день и ночь, сопровождаемые нашими пожеланиями успеха, они проверяют предохранители, раскапывают мостовые и вытаскивают кабели. После пяти безрезультатных дней Хартлофф распорядился расстрелять их за саботаж, что совершеннейшая нелепость, потому что электрики тоже были клиентами Якова и лично заинтересованы в устранении поломки. Они были расстреляны на площади перед участком, кто хочет, может смотреть, пусть это будет вам предостережением, и выполняйте, что от вас требуют.

Потом прибывает немецкое подразделение, на машинах — точно люди с Марса. Снаряжение как у водолазов, они смеются и упиваются своей значительностью, можете не беспокоиться, мы обделаем это дело, покажите только, где эти еврейские халтурщики обломали себе зубы. Два дня — и поврежденное место вот оно, пожалуйста, у всех на виду, крысы прогрызли провода и подошли от своей жадности; в землю уложен новый кабель, и снова евреи при деле, снова буфеты, ботинки, клещи, винты, радио у Якова.

Мы хотим знать, правда ли, что у них был план отдать нас за выкуп. Если так, то почему до сих пор не нашлось денег? Мы хотим знать, соответствует ли фактам слух, что будет создано еврейское государство. Если да, то когда? Если нет, то кому это мешает? И прежде всего мы хотим знать, где сейчас стоят русские. За это время должна была накопиться масса новостей, ладно, они не будут передавать краткую сводку специально для нас, они понятия не имеют, как мы пострадали из-за отсутствия электричества, но кое-что узнаешь из сегодняшних известий, пожалуйста, не пропусти ничего, слышишь, ничего.

Бедный Яков. Ему нужно бы иметь хорошо оборудованное агентство, центральное бюро с тремя секретаршами, лучше с пятью, по несколько связных во всех главных столицах, которые точно и надежно посылают всю информацию, каждую мелочь, добытую слежкой и хитростью, в центр, где заваленные работой секретарши сортируют эти мелочи, прочитывают все крупные газеты, прослушивают все радиостанции, выуживают самое значительное и представляют Якову — ответственному в последней инстанции, — только тогда бы он смог правдиво ответить хотя бы на треть вопросов — в той мере, в какой правдивы газеты и радиостанции и связные на местах.

* * *

Из кармана у Свистка торчит газета. Свисток вышел из каменного дома, проходит, волоча за собой деревянную ногу, мимо евреев, которые и внимания на него не обращают, зачем нам газеты, у нас есть Яков. Только Яков не спускает с него глаз, только его волнует этот клочок бумаги с правдивыми или лживыми сообщениями о том, что действительно произошло, в любом случае бесконечно более ценными, чем ничто, называемое радио. Пища для иссякающего воображения, облегчение для измученного ума, если удастся дерзкий обмен владельцами.

За последним железнодорожным путем Свисток достигает цели — предназначенного только для немцев деревянного домика, как написано на двери под сердечком, — его вырезали позже, потому что так, наверно, принято у них дома.

Яков тащит ящик в паре с Ковальским, но не дает отвлечь себя разговорами, не упускает из поля зрения деревянный домик с вырезанным в двери сердечком. Если железнодорожник сунул в карман всю газету целиком, а похоже, что это так, и если он не слишком большой расточитель, то должно остаться порядочно. Если железнодорожник не скупердяй, он оставит

там неиспользованную бумагу, и, если представится возможность, Яков достанет то, что останется от газеты. Но какая бы возможность ни представилась, это все равно будет смертельно опасно: что еврей потерял в немецком клозете? Ради вас, братья, я рискую жизнью. Не картошку я хочу своровать, как Миша, у него более практическое направление ума, чем у меня, он думает о благах земных, я, если все сойдет хорошо, уведу для вас несколько граммов новостей и сделаю из них тонну надежды. Если бы мама подарила мне при рождении более умную голову и фантазию, как у Шолом-Алейхема, — о чем я говорю, и половины хватило бы, — не нужно было бы мне красть пищу для воображения, я мог бы высосать из пальца в десять раз больше и кое-что получше, чем то, что они способны написать в своих газетах. Но я не могу этого, я выдохся — до того, что самому стало страшно, я сделаю это для вас и для себя, потому что совершенно ясно, что один я, я один не смогу пережить это время, я смогу пережить его только вместе с вами. Так выглядит лжец, если смотреть на него сзади, я пойду в их клозет и возьму, что там еще осталось, только пусть хоть что-нибудь останется.

Свисток наконец снова показывается на свет Божий, он облегченно вздыхает, закуривает, на что расходует на таком ветру целых четыре спички, теперь ему некуда торопиться, но карман его — карман его пуст. Как тогда обстояло дело с газетами? В наших было большей частью восемь страниц, четыре двойных листа, в его газете тоже было четыре, значит, это полная газета. Один лист рвут пополам, потом еще раз, и еще раз, на каждую страницу — минуточку, на каждый лист — выходит восемь листочков. Четырежды восемь — тридцать два. Здоровый человек столько не истратит, он разорвет только одну страницу, а остальные отложит для чтения. Но даже если он разорвал все, то что-то обязательно осталось, будем надеяться, что в своем неведении он не выбросил потом остаток.

— Что ты все время бормочешь? — спрашивает Ковальский.

— Я бормочу?

— Все время. Четыре и шестнадцать, получается столько и столько, что ты высчитываешь?

Наконец Свисток снова исчезает в каменном доме, Яков бросает взгляд на охранников, один скучает возле ворот, другой сидит на подножке вагона, успокоительно далеко, третьего нигде не видно.

— Продолжай работать и не поворачивайся в мою сторону, — говорит Яков.

— С чего вдруг? — спрашивает Ковальский.

— Я иду в их уборную.

На лице у Ковальского удивление, потом этот сумасшедший придумает пойти в каменный дом за водкой и табаком, он попросит охранника одолжить ему сигарету, и они за это поставят его к стенке, точно так же, как и за то, что он собирается сделать сейчас.

— Ты в своем уме? Не можешь подождать до перерыва и присесть за забором?

— Нет, не могу.

Яков пригибается и срывается с места, ряды ящиков прикрывают его от взглядов из каменного дома почти всю дорогу, кроме последних нескольких метров, но он готов рискнуть, и вот они позади, Яков закрывает за собой дверь уборной. Не будем говорить об ароматах, о художественных произведениях на стенах, когда рядом с крутым отверстием лежит богатая добыча. Но сначала взгляд через вырезанное в двери сердечко: все идет своим порядком. Добыча состоит из остатка газеты, как он и ожидал, Свисток не расточитель, стопка аккуратно разорванных по сгибу, будто разрезанных ножом листочков, а под ними нетронутая двойная страница. Яков запикивает листочки под рубашку, по возможности гладко, чтобы они не шуршали, когда он будет работать, лучше за спину, чем на живот. Вкладной лист ценности не представляет, то есть что значит не представляет, он тоже чего-то стоит: в четыре столбца сверху донизу траурные объявления в черных рамках, само по себе приятно, но как источник

информации нуль. Погиб, погиб, погиб, погиб. Оставим это, не станем таскать с собой балласт, это мы легко и просто выучим наизусть, четыре страницы смертей, пусть следующий посетитель получит удовольствие. Но не будем расслаживаться, будто мы в собственном клозете, не будем терять времени, это опасно, нам нужно снова на работу, а потом придем в нашу комнату, где никто за нами не следит, освободим спину от бумажек и включим наше новое радио. Можете завтра снова приходить и спрашивать, пока хватит запасов.

Яков снова смотрит через сердечко, все ли в порядке — ничего не в порядке, обратная дорога заминирована, к домику приближается солдат, можно сказать, он приближается к нему целеустремленно. Его пальцы отстегивают португую, в мыслях он уже сидит и чувствует приятное облегчение. Никто не может выйти из домика незамеченным, что теперь делать. Колени настоятельно напоминают Якову, что он уже далеко не юноша, а каким быстроногим он домчался сюда, неприятные вещи всегда замечаешь поздно. Дверь закрыть нельзя, какой-то идиот оторвал петельку для крючка, попытайся теперь ее придержать, он толкнет плечом и окажется внутри, сделает большие глаза, и тебе не поздоровится. Сохраняй хладнокровие, спокойно, твое преимущество в том, что ты подготовлен к встрече, ему еще надо сделать целых восемь шагов. Доски на задней стороне займут по крайней мере пять минут и шуму будет больше, чем достаточно, у него есть еще пять шагов, теперь тебе остается только маленькое овальное отверстие, вниз, в их дерьмо! Но невозможно преодолеть отвращение, а пролезть, ты пролез бы, ты, слава Богу, худой.

Солдат открывает дверь, она не сопротивляется, перед его глазами — вот досада — раскрытая газета, двойная страница, она немножко дрожит, что довольно естественно в такой пикантный момент.

— О, извините, — говорит он и быстро закрывает дверь и не замечает разбитых еврейских ботинок под газетой, не успевает удивиться, что не красуются спущенные штаны, которые дополнили бы картину, но для этого не хватило в такой ситуации хладнокровия и времени. Может быть, так даже лучше, слишком тщательная маскировка, бывает, тоже вредит. Солдат закрывает дверь без тени подозрения, он приготовился немного подождать, португую висит на согнутой руке, он прогуливается взад и вперед, ему так легче, чем стоять на одном месте.

На какое же время должен рассчитывать Яков, он смотрит поверх газеты через сердечко — серая униформа прохаживается перед домиком. Теперь поможет только чудо, явись какое угодно, не стоит напрягать мозги, потому что настоящие чудеса неуправляемы. У него есть две минуты, вряд ли больше, а если Нежданное не явится, что только естественно, значит, так смехотворно выглядит твой последний час.

— Поторопись, товарищ, у меня понос, — просит солдат.

Газетные листки приклеились к спине, их придется просушить прежде, чем складывать, если, как в сказке, все кончится хорошо. И Яков рассказывает мне, что вдруг он почувствовал усталость, вдруг ушли от него страх и надежда, все стало в одно и то же время тяжелым и легким: ноги, веки, руки, из которых тихо выскользнули четыре страницы погибших за Отечество.

— Ты слышал, что Мароцке снова получил отпуск? Здесь что-то нечисто! У него, наверно, есть рука наверху. Беспрерывно катается, а мы должны ждать и ждать и торчать среди этих вонючих чесночников!

Господи Боже мой, если бы иметь хоть зубчик чеснока, натереть им теплую корочку, ты, идиот, они думают, что в клозете сидит какой-нибудь Шульц или Мюллер.

Кто мог подумать, что о чуде, оказывается, уже позаботились. Ведь существует еще Ковальский, на то у Ковальского глаза, чтобы все увидеть и ужаснуться. Ковальский знает, что произошло, и понимает, каково положение. Он видит солдата, которому нужно в уборную, и

дверь, которая пока еще держится, он знает, кто внутри и не может освободиться без его помощи, если он там не умер от одного только страха. Спасение — отвлечь немца! Бросить камешек, в сторону, чтобы он повернулся и посмотрел, кто бросил, — не поможет, должно произойти что-то, что потребует его немедленного вмешательства. Первое, что приходит в голову, — пирамида ящиков почти в два метра высотой и не очень устойчивая. Если вытащить два ящика снизу, она, уже готовая к отправке, не будет стоять так гордо, тогда прощай равновесие, все разлетится, вот что наверняка заставит немца подойти. Но что же тогда случится с раззявой, допустившим такую неловкость, — а что случится с Яковом, если поблизости не найдется такого раззявы, чего стоят сорок лет дружбы, вот задачка для Ковальского.

Яков слышит вдалеке грохот, уши нельзя закрыть, как глаза, потом он слышит, как быстро удаляются солдатские сапоги. Веская причина раскрыть глаза как можно шире, именно так возвещает о себе чудо. К рукам и ногам вернулся их прежний надежный вес, жизнь идет дальше. Кругом вроде бы спокойно, говорит взгляд через сердечко, евреи прекратили работу и смотрят все в одну сторону, туда, где, по-видимому, разыгрывается чудо.

Ковальский изловчился, подкопался под гору ящиков, у него как раз хватило на это сил, один свалился ему на голову. Солдат мчится сломя голову в ловушку, прочь от домика с сердечком, и набрасывается на приманку-Ковальского, редко когда фокус удастся лучше. Не важно, что его избили, хотя по сравнению с побоями получить ящиком по голове просто ерунда, Ковальский тихо стонет, закрывает лицо руками и в живописных словах выражает сожаление по поводу своей непростительной небрежности.

Мы все стоим как вкопанные и скрежещем зубами, кто-то рядом со мной утверждает, что он заметил, как Ковальский нарочно опрокинул ящики. Солдат бьет и бьет, Мароцке опять получил отпуск, а он нет, может быть, он действительно возмущен такой неповоротливостью, но вдруг неожиданно он прекращает свое занятие, не сострадание и не изнеможение побуждает его к этому—понос напоминает о своих правах, на лице его появляется гримаса, и он мчится со всех ног к домику, который между тем освободился и предоставлен в его единоличное распоряжение. Он кричит:

— Чтобы все стояло, как полагается, когда я вернусь! — И удаляется большими прыжками, глядя на которые, несмотря ни на что, трудно удержаться от смеха. Дело не терпит отлагательства, теперь он настойчиво потребует от читателя газеты, кто бы он ни был, незамедлительно освободить помещение, иначе случится небольшое несчастье. Но в этом нет необходимости, солдат рывком открывает дверь в пустую уборную, и небольшое несчастье в последнюю минуту предотвращено.

Из нас, зрителей, никто не решается помочь Ковальскому или утешить его, здесь положено работать, а не утешать. Он вытирает кровь с лица, проверяет, целы ли зубы, все целы, кроме одного, если посмотреть на дело трезво, все могло кончиться гораздо хуже. Боль утихнет, Яков нам остался, после войны мы подарим ему первоклассный ватерклозет, в котором он сможет сидеть сколько душе угодно и вспоминать своего верного друга Ковальского.

Из-за обломков ящичной пирамиды выходит чудом спасенный, он появляется за спиной Ковальского, который еще ощупывает себя. Яков собирает все свое мужество, чтобы показаться ему на глаза, потому что истинную причину рискованной экскурсии Ковальский узнать не должен. Именно он не должен, он заслужил право не знать этой причины, для него это должно остаться непонятным капризом Якова, прихотью, которая едва не стоила ему жизни.

— Спасибо тебе, — говорит Яков растроганно. Растроганно — правильное слово, через сорок лет впервые растроганно. Не каждый день тебе спасают жизнь, к тому же тот, кого ты так хорошо знаешь и от кого, честно говоря, ты этого не ожидал.

Ковальский не достаивает его взглядом, он кряхтя встает и берется за ящики, лучше уложить их прежде, чем солдат вернется, справив свою нужду, и проверит, чего стоит здесь его слово. Они могли бы аккуратно стоять в ряд, как немногие, оставшиеся у него во рту зубы, если бы Яков был нормальный человек, если бы он не поддался безответственно своим странным прихотям, а другие должны за него расплачиваться.

Руки у Якова так и летают, один ящик Ковальского, три — Якова. Ковальский злится, да и боль его мучает.

— Мы хотя бы хорошо сходили на горшочек? — осведомляется Ковальский, еле сдерживаясь, чтобы не кричать. — Посмотри на мое лицо, как следует посмотри, красиво выглядит! Это не его, это твоя работа. Но что я так волнуюсь, главное — ты восседал прямо на троне, все остальное не важно. В одном я тебе клянусь, Гейм, попробуй еще раз! Можешь спокойно попробовать, тогда посмотришь, кто тебе поможет!

Яков прикрывается работой от упреков Ковальского, со своей колокольни тот, конечно, прав, то, что могло бы успокоить Ковальского, он не имеет права рассказать, а все другие слова вызовут еще большее раздражение. Потом, Ковальский, когда мы все это перетерпим, мы вдвоем сядем где-нибудь в тихом уголке с рюмочкой, а на сковородке будут хрустеть картофельные оладьи, тогда я тебе все объясню, подробно и обстоятельно, и ты услышишь всю правду, мы будем смеяться и качать головой, что за сумасшедшее было тогда время. Ты спросишь меня, почему я сразу тебе не сказал, хотя бы тебе, своему лучшему другу, а я отвечу: не мог, потому что ты не удержался бы и рассказал всем, и они посчитали бы меня за одного из тысячи лжецов и распространителей слухов и снова остались бы без надежды. И тогда ты положишь мне руку на плечо, потому что ты, может быть, поймешь это и скажешь: пойдём, старина, выпьем еще по одной!

Когда после довольно продолжительного времени дверь уборной снова открылась, пирамида ящиков гордо вздымалась в высоту, будто никто не поработал над ее крушением. Солдат не спеша приближается, руки за спиной, обмундирование в порядке, его уже ждут. Без всякого восторга, просто, чтобы покончить наконец с этой неприятностью. Но то, как он подходит и останавливается, как держит голову, — вся его манера внушает беспокойство, потому что взгляд его скорее дружелюбный, чем проверяющий. Похоже, что он смотрит на мир другими глазами, как могут изменить человека несколько приятных минут. Про ящики он забыл думать, он смотрит только на раздувшееся лицо Ковальского, пока оно красного цвета, но уже видно, как оно посинеет, позеленеет, станет фиолетовым, и солдат выглядит огорченным, на взгляд Якова, он выглядит огорченным, а там поди разберись. Он молча поворачивается и уходит. Яков думает, счастье, что он открыл в себе доброе сердце только потом, а не показал себя с самого начала хорошим человеком, иначе он не отбежал бы от двери, он остался бы там стоять, и тогда его доброте пришлось бы вскоре подвергнуться слишком тяжелому испытанию. Солдат уходит, и на земле остаются две сигареты марки «Юно» без фильтра. Он уронил их случайно или намеренно — вопрос, который никогда не удастся выяснить. Во всяком случае, сигареты принадлежат Ковальскому, в конце концов, он за них заплатил.

Через несколько минут из каменного дома выходит Свисток и раздаётся трель к обеду. Железнодорожник, голоса которого до этого часа никто из нас не слышал, и тем не менее — самый болтливый из наших немцев, потому что у него из кармана выпал сегодня почти пригодный к употреблению радиоаппарат. Сегодня все началось со Свистка, а он ни о чем не подозревает, свистит, как всегда, на раздачу супа и не может знать, как бесстыдно была использована его забывчивость, или как уж там это назвать. Только Яков знает, он снова вспоминает листочки и двойную страницу, судьба которой неопределенна.

— Я уже рассказывал тебе, что немцы понесли огромные потери? — говорит Яков.

Они стоят с мисками в очереди, Ковальский поворачивается к нему, и среди его кровоподтеков расцветает ясная, вопреки всему благодарная улыбка.

* * *

Радио оказывается не слишком щедрым на информацию. Яков кладет листок к листку на стол, всего девять штук, и Пивова и Розенблат ему нисколько не мешают. Сегодня они те, кто есть на самом деле, а именно — давно умершие от кошачьего мяса и от надзирателя, сегодня они не вмешиваются в дела Якова, потому что он должен сосредоточиться на этой игре в складывание картинок.

Название газеты установить не удастся, как и день выпуска, так по случайности неудачно получилось. Девять листочков не составляют ни одной целой страницы, потому что Свисток хватал листки без всякого разбора. Яков пробует и так и сяк, вертит во все стороны и почти не находит мест, где два листка хотя бы подходили друг к другу. В результате всех его усилий перед нами лежат две неполные страницы с зияющими дырками цвета черной туши, они выглядят, словно добросовестный цензор вырезал все стоящее и позаботился о том, чтобы в неправомочные руки попало только самое неважное. Спортивный отдел, как назло именно спортивный отдел сохранился безупречно, вот обрадуются евреи, узнав, что боксеры военно-воздушных сил выиграли у сборной моряков десять — шесть. Или гамбургские футболисты не оставили берлинцам, как уже часто бывало в прошлом, никаких шансов на победу. Из событий, волнующих мир, газета без названия сообщает нам, что гауляйтер, фамилия которого оказалась оторванной, с похвалой отозвался о какой-то выставке, что Его Превосходительство испанский посол выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений между двумя государствами, а процесс против двух подкупленных мировым еврейским капиталом агентов закончился вынесением заслуженного ими приговора.

Ты сидишь с разочарованным лицом, ты и раньше не ожидал многого, лишь небольшого попутного ветра для бедного твоего ума, какого-нибудь намек, из которого при известном умении можно было бы приготовить праздничное блюдо, но на такую малость ты не рассчитывал. Ни слова о Безанике, через которую русские уже давно прошли, ни словечка, указывающего на трудности немцев, вместо этого болваны играют в футбол и в справедливость.

Мы, по крайней мере, хотим быть справедливыми, допустим, что газета оказалась старой или что самое интересное Свисток использовал, но, так или иначе, ты сам идиот, что возлагал на нее столько надежд. Следовало сообразить, что может тебя ожидать, надо было дать себе труд поразмыслить хотя бы пять секунд. Какие газеты они могут выпускать — это достаточно хорошо известно, когда-то в наших местах выходила немецкая «Фелькишер ландботе», не спрашивайте, что это была за газета. Покупать ее никогда не покупали, грех выбрасывать деньги, но иногда она все-таки попадалась в руки, хотел ты того или нет. На базаре в нее заворачивали рыбу, она лежала в приемной у зубного врача, конечно, в страховом управлении и иногда у Ковальского в парикмахерской, потому что он хотел вести свое заведение на столичный манер. Ему сказали: Ковальский, сказали ему, если ты будешь держать у себя этот дерьмовый листок, ты только разгонишь своих клиентов. Или ты думаешь, к тебе пожалует немец, чтобы ты своими еврейскими пальцами копался в его кайзеровской бороде? Это уж ты предоставь мне, отвечал обиженный Ковальский, я ведь тебе не указываю, сколько опилок подмешивать к картофельным оладьям. Таков был Ковальский. Во всяком случае, достаточно было бросить только один взгляд на газетенку, и уже было ясно, с чем ты имеешь дело. Они постоянно чувствовали себя униженными и в опасности, обойденными Богом и миром, не они

нас унижали, а, оказывается, мы их. Вопрос, сколько лет Германия должна еще страдать от постыдных результатов последней войны, не давал им покоя в каждом номере, три раза в неделю. А на последней странице рядом с ребусом помещали такие непонятные стихи, что можно было подумать, ты разучился понимать и не знаешь их языка.

Только отдел объявлений был у них неплохой, в этом они знали толк. Каждую вторую среду или вторник две внутренние страницы были сплошь заполнены объявлениями, и, если требовалось что-то, что редко появлялось на рынке или что вообще невозможно было достать, например несколько красивых стульев с соломенными сиденьями и спинкой, или современный торшер, или большая партия тарелок, потому что в кафе посуда долго не держалась, не мешало заглянуть в «Ландботе». Конечно, надо учитывать, кто предлагал свои товары, если его звали Хагедорн или Лейневебер, то туда и не ходили, и если его фамилия была Скрыпчак или Бартоевич, то тоже не очень охотно, если же он был Зильберштрейф, вот тогда шли. Потому что когда дело касалось объявлений, то люди из «Ландботе» не были очень разборчивы, главное, чтобы за объявления платили. Но это, как сказано, только каждую вторую среду или вторник, а остальное была одна сплошная дрянь.

Обо всем этом можно было вовремя вспомнить, прежде чем так бесполезно совать голову в петлю, хорошо еще, что благодаря чуду, сотворенному другом, он вытащил ее обратно; так они делали газеты тогда, и так они делают газеты теперь, никто за это время не показал им, как делать их лучше. Только талант помещать объявления остался при них, четыре оставленные страницы, сплошь забитые объявлениями о смерти, доказывают, что там все еще работают люди, понимающие свое дело.

Яков поворачивает листки один за другим обратной стороной, еще Польша не сгинела, еще осталась непрочитанной другая сторона, такая же клочковатая, как и передняя, может быть, хоть не такая же никчемная. Там написано о каком-то герое, которые рождаются в недрах только нашего народа, о летчике с французской фамилией, который подбивает в африканском небе вражеские самолеты, как воробьев. Фюрер направил ответ на послание дуче, а в Мюнхене грузовик налетел на трамвай, в результате чего уличное движение было приостановлено на несколько часов. Карикатура: большой человек держит над головой маленькую зажженную спичку. Вопрос: что это означает? Ответ: Дауэр под огнем. И крупным шрифтом заголовок, утверждающий, что одержаны победы на всех фронтах! Можно верить, можно нет, лучше не станем верить, листка с текстом не хватает. Утверждения без доказательств. А мы знаем, что они утверждали, будто одержана победа под Москвой. Это они говорили, а не мы, мы же своими ушами слышали, что бои ведутся возле Безаники. Есть некоторая разница. Если так выглядят их победы, пожалуйста, пусть одерживают их сотнями.

Все это прекрасно, Яков может сообразить, что они немного привирают, но что ему ответить на вопросы, которыми его засыплют завтра утром? Он представлял себе это гораздо, гораздо проще, как он мне потом, вздыхая, рассказывал. Читаешь их лживые сообщения, рассчитанные на победное настроение, без труда или с трудом разглядываешь сквозь них правду, то есть понимаешь все наоборот, и вот у тебя целая куча готовых новостей, выпускай их изо рта по очереди в нужное время. А теперь попробуй и переверни все наоборот. Боксеры военно-воздушных сил не выиграли у моряков, а проиграли, гауляйтер с оторванной фамилией нашел выставку никудышней, немецкий герой не встретил в Африке ни одного вражеского самолета, трамвай в Мюнхене ловко увернулся от грузовика, и фюрер не ответил на послание дуче, потому что никогда его не получал. Я тебе говорю, все ерунда. Разве что карикатуру можно использовать: Дауэр в огне, Дауэр обстреливают, Дауэр, если не ошибаюсь, находится в Англии, и если они обстреливают Англию, то и она будет их обстреливать, это вероятно. Прекрасно, скажут мне завтра утром, Англия обороняется, а что будет с нами? Самое большее,

из побед на всех фронтах можно сделать поражения, но что я знаю о фронтах, где они проходят и сколько их, поражения надо подтвердить подробностями, а я не знаю ни одной, как бы ты поступил на моем месте?

Яков принимает важное решение. Отсутствие электричества было райской паузой с одной только досадной неприятностью — нельзя было повлиять на ее продолжительность. Теперь дадим себе передышку сами, притом со всеми удобствами, пауза, которую мы имеем в виду, будет длиться бесконечно. Если они спросят, Яков, что нового сегодня, мы пожмем плечами, изобразим на лице живейшее огорчение и сообщим им безнадежным тоном: представьте себе, евреи, вчера ночью я сел к аппарату и наострил уши, кручу ручку и никакого звука! Никакого! Вы понимаете, вчера он еще пел, как жаворонок, а сегодня молчит. Никакие вздохи не помогут, евреи, вы же знаете, какая капризная вещь радио, вот оно и испортилось.

Радио испортилось. Яков скомкал листочки, все девять. Досадно, что раньше ему не пришла в голову эта блестящая идея, но гораздо больше радость, что она его осенила, и если клозетная бумага ни на что другое не пригодилась, как только на то, чтобы вдохновить его на эту мысль, то и тогда, несмотря ни на что, в этом был смысл, и цена, которую заплатил Ковальский, не была слишком высокой. Теперь не надо будет ночь за ночью лежать с открытыми глазами и ломать себе голову, что преподнести им на следующий день, теперь можно ночь за ночью лежать с открытыми ушами и, как все другие, прислушиваться, не перестанет ли наконец молчать вдалеке желанный пушечный гром.

Радио испорчено, листки летят в печку, дверца захлопывается, Яков их сожжет, когда придет время топить.

Как раз вовремя, потому что в спешке он забыл запереть дверь и без стука входит улыбающаяся Лина.

— Ты сегодня меня забыл? — спрашивает она.

— Что ты, конечно нет, — говорит Яков, целует ее и закрывает дверь. — Я как раз собирался подняться к тебе, мне нужно только кое-что закончить.

— Скажи что?

— Тебе это знать необязательно. Ты уже съела свой ужин?

— Да, то, что ты мне оставил.

Лина осматривает комнату, она не ищет ничего определенного, просто проверяет, все ли в порядке и нет ли пыли. Пальцем она проводит дорожку по шкафу, результат оставляет желать лучшего.

— Завтра я у тебя уберу, — заявляет она, — сегодня мне не хочется.

— Нечего тебе убирать, — говорит Яков строгим голосом, — профессор еще не разрешил.

Лина не возражает, она садится к столу и улыбается. Яков знает так же хорошо, как и она, что уборка завтра состоится. Так уж повелось, что тон здесь задает она, дебаты на эту тему бесполезны. Яков заботится о еде, об одежде и зимой о топке, за все остальное отвечает она, хоть он иногда и выкидывает фокусы. Она пришла не для того, чтобы спорить по поводу давно решенных вопросов, и не из страха, что он ее забыл, такого быть не может, причину ее появления ищи глубже, в событиях, происшедших несколько дней назад, когда она много слышала и мало поняла, кое-что в этом деле ей неясно.

— Ты слышал, о чем все говорят? — спрашивает Лина.

— О чем же?

— Что скоро сюда придут русские!

— Да что ты говоришь! Неужели?

Яков подходит к шкафу, вынимает свой недельный паек хлеба, отламывает кусочек на сегодня и жует.

— Кто же это рассказывает?

— Зигфрид с Рафаэлем, и фрау Зонштейн, и фрау Лондон, все кругом. А ты еще ничего не знаешь?

— Нет.

Яков садится напротив нее, смотрит в разочарованное личико. Свой кусок он разделил поровну и протягивает половину Лине — в качестве компенсации за ее огорчение. Она берет, откусывает, жует, но вкус его не может перебить горечи от досадной неосведомленности Якова.

— Кое-что я, правда, слышал, — говорит Яков, — но ничего определенного. Вообще, это не так уж важно.

В глазах у Лины недоверие, ее что, за дурочку считают, она, слава Богу, не младенец, самостоятельно ведет хозяйство, везде говорят о потрясающих вещах, а он заявляет, что в этом нет ничего важного!

— А как будет, когда придут русские?

— Откуда я знаю, — говорит Яков.

— Хуже или лучше?

Впору застонать. Сегодня ты счастливо отделался от гиен на станции, а если идея со сломанным радио сойдет благополучно, то спасешься от них навсегда, так на тебе, теперь надо искать, в какую еще сторону бежать, потому что мучитель объявился в собственных четырех стенах, милый мучитель, правда, но он в состоянии задать вопросов больше, чем у тебя волос на голове. Или ты подчинишься своей судьбе, ведь она ребенок, нет девяти, — придется тебе взять это на себя, рассказать, как умеешь, о том, как будет выглядеть мир завтра, тебя же это тоже интересует, а если она будет знать что-то о том, что ей предстоит, ей это совсем не помешает.

— Будет лучше или хуже?

— Конечно, лучше, — говорит Яков.

— А как лучше? Что будет по-другому?

— Не надо будет носить звезду. Лина сможет надеть, что ей захочется, и никто на улице не спросит, почему не пришита звезда.

— И это все?

— Нет, конечно. Есть ты сможешь досыта.

— Сколько захочу?

— Сколько захочешь. Представь себе, на столе стоят разные вкусные вещи, ты берешь, что душе угодно, а когда в тебя уже больше не влезет, их уберут и к следующей еде опять поставят на стол.

— Ну, это ты сочиняешь, — говорит она; неплохо, если он повторит такие слова еще раз.

— Чистая правда. И у тебя будут красивые платья, мы пойдем вместе в магазин и...

— Подожди. Какие вкусные вещи будут стоять на столе?

— Все, что ты любишь. Мясной паштет, и хала, и вареные яйца, и рыба, сможешь брать, что тебе захочется.

— И ты опять будешь печь картофельные оладьи?

— Буду.

— В кафе?

— В кафе.

— Помнишь, что ты мне обещал? Что я буду помогать тебе!

— Конечно!

— Ты стоишь за прилавком и жарить оладьи, а я в белом фартуке подаю гостям. Летом я буду разносить мороженое.

— Обязательно.

— Я уже сейчас очень рада!

Лина уже радуется, каждый раз, когда она радуется, она поднимает плечи до самых ушей. Яков наконец приступает к еде, сначала сухой хлеб, пока она после некоторого раздумья не морщит лоб — есть, оказывается, препятствия.

— А что будет со школой? Ты же сказал, мне нужно будет в школу. Если нужно в школу, когда же разносить мороженое?

— Школа важнее, — решает Яков. — Пока ты будешь в школе, я возьму клиентов на себя, а когда ты вернешься, то сможешь мне помогать, если тебе не расхочется.

— Но мне лучше хочется сразу в кафе.

— Что ты имеешь против школы? Какой-нибудь дурак рассказал тебе о школе плохое?

Она трясет головой.

— Вот видишь, школа — это самое, самое замечательное. Туда приходят одни глупые дети, а выходят оттуда одни умные. И если ты думаешь, что глупой ты мне нравишься больше...

Нет, ничего плохого она о школе не слышала.

— Рафаэль и Зигфрид тоже должны будут ходить в школу?

— Конечно.

Такой ответ приносит успокоение. В это время стучат в дверь, Лина вскакивает и хочет открыть, Яков задерживает ее и прикладывает палец к губам. Стук всегда подозрителен, но не каждое подозрение подтверждается. Это может быть, например, Киршбаум, который хотел бы поговорить о том, что Лина уже выздоравливает, или сосед Горовиц собирается одолжить под честное слово до новых талонов ложку солодового кофе, это может быть просто обыкновенный стук, сейчас узнаем, но Лину не должны видеть, Лина никого не касается. Он обнимает ее за плечи, подводит к окну и показывает пальцем на угол за кроватью.

— Сиди здесь и не шевелись, пока я не позову, — шепчет он. — Поняла?

Поняла. Лина садится на корточки и не шевелится, Яков открывает дверь. Кто стоит на пороге? Ковальский собственной персоной со своим раздутым лицом, стоит и пытается улыбнуться.

— Опять я явился на твою голову.

Яков с удовольствием не впустил бы его в комнату, говори скорее, что случилось, и до свидания, но у Ковальского такой вид, будто ему некуда девать время. Он проходит мимо Якова, который стоит в дверях, садится к столу и говорит:

— Ты собираешься закрыть дверь?

Яков закрывает дверь с несколько большим шумом, чем требуется. Лина сидит тихо, как ей велено.

Яков, ничего не поделаешь, придвигает ему стул и старается сделать вид, что очень занят.

— Ты как раз ужинаешь, — отмечает Ковальский. — Я не помешаю?

— Говори же, наконец, какое у тебя дело!

— Так встречают гостя? — дружелюбно спрашивает Ковальский.

— Нет, я сейчас спущусь в погреб за вином!

— Почему ты сразу раздражаешься? В этом всегда было твое горе, Яков. Ты всегда встречал своих гостей не так приветливо, как следовало, они мне часто об этом говорили, когда я их стриг. Потому к тебе постепенно перестали ходить.

— Благодарю за совет. Так ты пришел, чтобы сообщить мне это?

За кроватью тихонько хихикнули.

— Ты будешь смеяться, Яков, я пришел без всякого дела. Дома меня стены давят, нельзя каждый день сидеть в той же комнате, вот я и подумал, зайду поболтать к Якову, ему, наверно, так же тоскливо, я подумал, он обрадуется. Раньше ведь мы тоже встречались после работы, и

все считали это совершенно нормальным. Разве не пора постепенно привыкать к нормальной жизни?

Прежде чем Яков успел ответить, что раньше — это раньше, а сегодня — это сегодня и он хочет, чтобы его оставили в покое, он хочет лечь спать, потому что работа на станции ему не по силам, Ковальский опускает руку в карман и достает обе сигареты, кладет их на стол, одну перед собой, другую перед Яковым, и таким образом затыкает ему рот на первое время.

— Это ты хорошо придумал, — говорит Яков. Ковальский думает, наверно, слова Якова относятся к его приходу, Яков смотрит на сигарету, под конец он имеет в виду и то и другое.

— Кроме того, ты мне сегодня довольно мало рассказал, — произносит Ковальский, выдержав паузу. — Насчет потерь, это было приятно слышать, но пойми, другие вещи меня интересуют не меньше. А о них ты не сказал сегодня ни слова.

— Караул, Ковальский, почему ты меня мучаешь? Разве нам и без того недостаточно тяжело, каждый день ты начинаешь одно и то же. Я не могу уже больше это слушать! Если я что-нибудь знаю, я ведь сразу говорю тебе, но дай мне покой хоть в моей собственной комнате!

Ковальский задумчиво качает головой, крутит в пальцах сигарету, выпячивает еще опухшую нижнюю губу, он пришел со своими подозрениями, в которых он опасно близок к истине. Он говорит:

— Знаешь, Яков, я заметил, что ты всегда раздражаешься, когда я спрашиваю тебя о новостях. Сам ты никогда ничего не рассказываешь, значит, мне ничего не остается, как тебя спрашивать, а как только я спрашиваю, ты сердишься. Это у меня в голове не укладывается, не понимаю, где здесь логика. Представь себе обратный случай, у меня есть радио, а у тебя нет, разве ты не стал бы меня спрашивать?

— Ты с ума сошел! При ребенке!

Яков вскакивает и поворачивается к окну, Лина достаточно долго сидела скрючившись в углу и слушала, теперь, как было уговорено, она выходит, сияя, из своего неудобного укрытия.

— Боже милосердный, — испуганно бормочет Ковальский и всплескивает руками, но никто не обращает на него внимания, безмолвный разговор ведется между Линой и Яковым. Они обмениваются взглядами, Лина подмигивает ему, ничего себе, проболтался, и Яков расстается с робкой надеждой, что вдруг она не расслышала, дети часто витают в небесах, или хотя бы не поняла, — нет, у этой плутовки ушки на макушке, ничего не упустит, все схватывает на лету, она ему подмигивает, значит, прощай надежда. Придется как следует попотеть, пока придумаешь, как выпутаться из этой неприятности, каждый день новые напасти, опять не до того, чтобы прислушиваться по ночам, не гремят ли пушки. Но еще не ночь, Лина еще стоит напротив и наслаждается торжеством, которое по неосторожности приготовил для нее этот болван Ковальский, нельзя бесконечно изнемогать в углу и не подавать признаков жизни.

— Иди наверх, Лина, я потом поднимусь к тебе, — говорит Яков каким-то тусклым голосом.

Лина подходит к нему, Яков думает, что она хочет его поцеловать, поцелуй — неписаное правило даже при самом поспешном прощании. Но он может думать, что хочет, сегодня у Лины на уме совсем не поцелуй, она притягивает к себе его голову, потому что на голове есть уши, и шепчет в одно ухо:

— От тебя они все знают! Ты меня обманывал!

Лина ушла, Яков и Ковальский снова сидят за столом, Ковальский ждет, что на него посыплются упреки, и не чувствует за собой никакой вины. Потому что ничего бы не случилось, если б Яков не прятал от него своего ребенка, от него, своего лучшего друга. А если уж он ее прячет — потому что не может знать, кто стучится в дверь, — то должен был ее выпустить, когда увидел, что пришел я. Но нет, он оставляет ее в углу, наверно, он о ней забыл, я

спрашиваю тебя, как можно забыть о ребенке? В конце концов, я не ясновидящий, а теперь он злится и начнет меня обвинять.

— Замечательно! Мало того что об этом болтает все гетто, теперь по твоей милости и она знает, — говорит Яков.

— Извини меня, пожалуйста, но я при всем желании не мог ее видеть. С моим теперешним глазом...

Ковальский показывает на глаза, пусть Яков выберет, какой из двух, они оба, как щелочки, а вокруг их эффектно оттеняют здоровенные синяки. Да, Ковальский показывает на свои глаза, деликатное напоминание об утренних событиях, о сегодняшнем спасении его, Якова, жизни, яснее высказаться и не требуется, и если уж начинать с упреков, то неизвестно еще, кто кого имеет право упрекать. Настроение за столом сразу меняется, становится теплее на несколько градусов, взгляд Якова выражает горячее сочувствие, он придвигает немного свой стул и совсем другими глазами рассматривает, что он натворил.

— Неважно выглядит.

Ковальский небрежно машет рукой, ерунда, пройдет, раз Яков настроен миролюбиво, он тоже не хочет быть мелочным, он сегодня добрый. Сигареты еще лежат на столе, Ковальский молодец, подумал даже о спичках. Еще один сюрприз, он вытаскивает их из кармана, зажигает одну об исчирканный коробок, теперь, брат, покурим. Откинься же на спинку стула и прикрой глаза, не будем портить себе удовольствие разговорами, помечтаем эти несколько затяжек о старых временах, которые скоро вернутся к нам снова. Давай вспомним о Хаиме Балабуле в очках с толстыми стеклами в никелевой оправе и его лавочке, где мы всегда покупали сигареты, вернее, табак для сигарет. Его лавка была ближе к тебе, чем моя, а моя ближе к нему, чем к тебе, она стояла как раз между тобой и мной, у нас никогда не было с ним по-настоящему дружеских отношений, но это по его вине. Потому что он не интересовался ни картофельными оладьями или мороженым, ни стрижкой и бритьем. Многие говорили, что он отпустил свои рыжие волосы из набожности, но я знаю лучше — он сделал это из скупости и ни из чего другого. Ну ладно, все равно о мертвых плохо не говорят, у Балабулы всегда был большой выбор, сигары, трубки, портсигары с цветочками на крышке, сигареты с золотым мундштуком для богатых, он все хотел уговорить нас покупать более дорогой сорт, но мы остались при своем «Эксцельсиоре». А подставка с газовой зажигалкой и ножницами для сигар на прилавке из желтой меди, которую он всегда чистил, — как зайдешь к нему в лавку, так он ее чистит, об этой дурацкой подставке вспоминаешь каждый раз, когда думаешь о том, как было раньше, хотя табак мы покупали не чаще чем раз в неделю, а подставкой никогда не пользовались.

— Ты тоже думаешь о Хаиме Балабуле?

— Почему ты вдруг вспомнил о Хаиме Балабуле?

— Просто так. Наверно, потому, что мы курим.

— Я ни о чем не думаю.

Сделана последняя затяжка, еще одна — и сожжешь себе губы. Дым так божественно щекочет легкие, и голова кружится, как после нескольких хороших рюмок, и мир так славно ходит перед тобой кругами. Немножко повздыхали, немножко постонали, дым еще плавает в комнате, Ковальский говорит:

— А теперь по делу, Яков. Как там, за воротами? Что слышно про русских?

Яков не теряет самообладания, это только вопрос времени, когда Ковальский заведет этот разговор, ведь он пришел именно для этого, сигарета никого обмануть не может. Теперь нет уже скрючившейся в углу Лины, теперь можно говорить открыто, ответ мы уже приготовили для таких, как ты, соберись с духом. Итак, изобрази на лице огорчение, опусти безнадежно плечи, как человек, собирающийся сообщить печальную новость, теперь начинается последний акт

спектакля с вопросами и ответами, Ковальский, он тебе не понравится. Но с этим уже нельзя считаться, Ковальский, слишком долго я с этим считался, ведь я тоже не больше чем измученный человек.

— Мне не хотелось бы говорить...

— Их разбили! Им пришлось отступить!

— Нет, нет, все не так плохо.

— Так что же? Говори, наконец!

— Представь себе, — говорит Яков тихо и с безукоризненно разыгранным огорчением, — я сажусь к аппарату, кручу ручку, как всегда, а оттуда ни звука. Понимаешь, вчера он еще играл, просто замечательно играл, не к чему было придраться, а сегодня молчит, как проклятый. Ничего не поделаешь, дорогой, кто в нем разберется, в радио, сломалось, и все.

— Боже милосердный! — восклицает Ковальский в ужасе и складывает руки, как для молитвы. Уже второй раз за этот вечер Ковальский восклицает «Боже милосердный» и даже снова всплескивает руками, наверно, потому, что одно без другого не получается.

* * *

— Покурить бы сейчас, — мечтательно говорит Яков, потому что пришел уже другой день и сигарета марки «Юно» живет только в воспоминаниях. Он стоит на товарной станции, работа у него, можно сказать, не пыльная, праздничная работа, он принимает от нас, евреев, мешки, сегодня нас наградили такой работой — мешки таскать. Мы приносим ему мешки с полцентнера весом, таскаем их метров за пятьдесят, а то и дальше, а он должен только подтащить их к стенке вагона и уставить в порядке, потому его работа, можно сказать, не пыльная. К тому же их двое — Яков и Леонард Шмидт.

День, кстати, начался с того, что мы очень удивились, когда слышали, что нам сегодня предстоит делать, удивились и подумали, что они тоже не знают, чего хотят. Потому что две недели назад пришел целый поезд с мешками цемента, будто они собираются строить здесь дома, мы все мешки разгрузили и накрыли брезентом, а сегодня приказ таскать обратно в вагоны. Их дело, мы послушно грузим мешки обратно, как они хотят, пожалуйста, мы тащим их к вагонам, в одном стоит Яков, повезло ему сегодня с работой, и говорит: покурить бы сейчас, а Шмидт отвечает ему даже как-то весело: у вас, видно, нет других забот, господин Гейм.

Леонард Шмидт. Судьба наградила его этим гетто, как Бог Святую Деву младенцем. Оно настигло его на путях, о которых ему и во сне не снилось, что нога его туда ступит. Потому что раньше у Шмидта была жизнь, которой положено было продолжаться по другую сторону закрытых ворот, и его пребывание среди нас относится, по его мнению, к немногим непостижимым вещам на этом свете. Он родился в 1895 году у состоятельного отца и матери, верноподданной кайзера, в Бранденбурге на Хавеле, ходил в лучшую гимназию в Берлине, куда по причинам делового характера (приобретение текстильной фабрики) переехал его отец, сдал на аттестат зрелости и попал в солдаты. Наступление во Фландрии, Верден, оккупация Крыма, потом Шампань, когда были исчерпаны резервы, — так Шмидт провел войну. Потом он был со всеми почестями уволен из разбитой армии в гордом чине лейтенанта с орденом за храбрость и занялся своей карьерой. На очереди университет — как полагается сыновьям из хороших семей, факультет правоведения — в Гейдельберге, а последний семестр в Берлине, блестящие успехи, все экзамены сданы с отличием. Три года обязательной стажировки, затем визитная карточка «ассессор Леонард Шмидт» и, наконец, долгожданная минута — начало собственной адвокатской практики в богатом районе Берлина. Выгодные клиенты не замедлили появиться,

благодаря связям отца они буквально слетались в его контору, вскоре ему пришлось взять двух молодых адвокатов в помощь для менее серьезных дел, он приобрел известность в десять раз быстрее, чем любой на его месте. Женитьба по любви, две красавицы дочери-блондинки, мир каждый день с уважением снимал перед ним шляпу, пока одному завистнику из коллегии адвокатов не пришла в голову роковая идея подкопаться под его родословное дерево, подпилить его и вырвать с корнем. Для Шмидта все кончилось очень плохо. Жена, обе дочери и банковский счет успели еще спастись в Швейцарию, потому что добрые друзья предупредили Шмидта, сам же он не успел. Он был занят приведением в порядок неотложных дел, когда похозяйски постучали в дверь. Шмидту кажется, что все это идиотская шутка, может быть, он проснется когда-нибудь утром, и в приемной опять будут ждать клиенты, он был уже почти готов стать добрым немецким националистом. Но они его не пустили, они постучали в дверь и настоятельно порекомендовали ему не устраивать представления, перепуганное лицо прислуги между покрытыми белыми чехлами плюшевыми креслами. Они привезли его сюда, потому что его прадедуска ходил в синагогу и его родители имели глупость сделать ему обрезание, почему — и сами не знали. Шутка или не шутка, а он страдает вдвойне и втройне. В первые дни, когда Шмидт только попал к нам, он, едва кончив рассказывать свою историю, спросил меня с несчастным видом: вы что-нибудь понимаете?

Потом нам показалось, что он постепенно привыкает к жизни в гетто, как вдруг он явился на товарную станцию в таком виде, что нас от неожиданности чуть не хватил удар. На левой стороне груди приколата планка, а на ней висит какая-то маленькая черно-белая штука, которая при ближайшем рассмотрении оказывается Железным крестом.

— Не будь дураком, — говорит ему один, — сними крест и спрячь его подальше! Они тебя из-за него пристрелят, как бешеную собаку!

Но Шмидт отворачивается и начинает работать как ни в чем не бывало. Мы все обходим его, никто не хочет оказаться впутанным в это дело, помочь ему нельзя, с безопасного расстояния мы не выпускаем его из поля зрения. Только через какой-нибудь час охранник замечает чудовищное преступление; он так поразился, что заглотнул воздух, стоит молча перед Шмидтом, Шмидт, бледный, стоит перед ним. Проходит целая вечность, охранник поворачивается на каблуке, это выглядит так, будто у него отнялся язык, он исчезает в каменном доме и сразу же выходит оттуда со своим начальником и показывает на Шмидта, который единственный из нас взялся за работу. Начальник пальцем подзывает Шмидта к себе, никто не дает ломаного гроша за его безрассудную голову, наклоняется к планке, внимательно рассматривает орден, как часовщик сломанное крошечное колесико.

— Где вы это получили? — спрашивает он.

— Верден, — отвечает Шмидт с дрожью в голосе.

— Нельзя. Здесь это запрещено, — говорит начальник.

Он снимает планку с груди Шмидта, кладет ее в карман, не записывает имени, не расстреливает наглеца. Смотрит на этот случай, как на забавное развлечение, которое вызовет сегодня вечером веселое оживление в пивной. Довольный, он направляется в каменный дом, ни слова об этом, Шмидт получил свое удовольствие, а мы свой спектакль. Так Шмидт вскоре после своего появления стал своего рода знаменитостью. Это что касается Шмидта.

— Я за всю свою жизнь не имел дела с судом, — говорит Яков.

— Так-так, — откликается Шмидт.

Они устроили себе спокойный день, берутся вдвоем за один мешок, который мы, носильщики, кладем им на край вагона. Даже дождь им не мешает, ведь в вагоне есть крыша. Когда им выпадает маленький перерыв, они прислоняются к стенке, вытирают пот со лба и болтают, как в мирные времена. Ковальский, Штамм и Миша, кряхтя, сбрасывают свои мешки,

смотрят на них с завистью и ядовито советуют не перетруждаться, а то, чего доброго, умрут от усталости. Шмидт и Яков улыбаются: о нас не беспокойтесь.

— Впрочем, один раз я был свидетелем, — говорит Яков.

— Так-так.

— Но не в суде. В конторе прокурора, который вел дело.

— Какое дело?

— Надо было установить, должен ли Ковальский деньги ростовщику Порфиру или нет. У Порфира вексель Ковальского куда-то пропал, и я должен был только подтвердить, что Ковальский вернул ему его деньги.

— Вы при этом присутствовали? — спрашивает Шмидт.

— И не думал. Но Ковальский до этого объяснил мне все слово в слово.

— Но если вы при этом не присутствовали, а знаете о деле только понаслышке, вы вообще не имели права выступать в качестве свидетеля. Как вы можете с уверенностью утверждать, что Ковальский действительно возвратил деньги этому господину? Он мог бы — я не хочу подозревать его, не имея на то оснований, — но тем не менее можно себе представить, что Ковальский мог вас обмануть, чтобы вы дали показания в его пользу.

— Этого я не думаю, — говорит Яков без долгих размышлений, — у него много плохих качеств, никто не знает этого лучше меня, но он не лгун. Он сразу мне сказал, что не отдавал деньги Порфиру. Откуда ему было их взять?

— И хотя вы это знали, вы показали прокурору, что он отдал их в вашем присутствии?

— Само собой разумеется.

— Это совсем не само собой разумеется, господин Гейм, — говорит, развеселившись, Шмидт, я убежден, что он размышляет в эту минуту о любопытном представлении насчет правовых норм у этого странного народа, к которому якобы он принадлежит.

— Во всяком случае, это прекрасно помогло, — досказывает Яков свою историю, — душегуб Порфир ничего не добился своей жалобой. Пропали его денежки, но что я говорю, денежки! Почти с каждого из нас, мелких торговцев, он шкуру сдирал, ссужал под тридцать пять процентов, представляете? Вся улица была в восторге, когда Порфир и Ковальский вышли после решения из здания суда, Порфир зеленый от злости, а Ковальский как ясное солнышко.

Ковальский с разноцветным лицом бросает свой мешок на край вагона, мимоходом он услышал — Ковальский, как ясное солнышко, — он спрашивает:

— Что за истории ты обо мне рассказываешь?

— Это дело с пропавшим векселем у Порфира.

— Не верьте ни одному его слову, — говорит Ковальский Шмидту, — он рассказывает обо мне гадости, где только может.

Ковальский трусит под дождем за следующим мешком, сухие Яков и Шмидт работают молча, болтать тоже надоедает. До следующего маленького перерыва, пока Шмидту не приходит в голову кое-что важное, пока он не спрашивает:

— Не примите мое любопытство за назойливость, господин Гейм, каково мнение сэра Уинстона о сложившейся на сегодняшний день ситуации?

— Кого?

— Черчилля. Английского премьер-министра.

— Понятия не имею, каково его мнение. Разве вы не слышали? Мое радио не работает.

— Вы шутите!

— Почему вы так обо мне думаете? — спрашивает Яков серьезно.

Шмидт растерян, отмечает про себя Яков, — точно так же, как и все другие, от которых он сегодня не считал возможным скрыть эту единственную новость, он сообщил ее несчастным

голосом и горестно опустив плечи. Этот высокомерный Шмидт, один остряк прозвал его Леонард Ассимилянский, этот Шмидт тоже потрясен и уничтожен, и сразу пропали все различия между ним и остальными.

— Как это случилось? — спрашивает он тихо.

С утра ответ на этот вопрос претерпел некоторые изменения, у Якова не было времени преподнести каждому эту новость, бережно завернутую в шелковую бумагу, как Ковальскому, пришлось пойти на существенные сокращения. Как это случилось? Обыкновенно. Как ломается радио, вчера работало, а сегодня молчит.

Реакция была различной. Одни проклинали несправедливого Бога, другие обращались к Нему с молитвой, утешали себя тем, что радио и русские ничего общего между собой не имеют, один заплакал, как малый ребенок, и слезы, незаметные среди капель дождя, катились по его щекам.

Кто-то сказал: «Будем надеяться, что это не плохой знак».

Яков не говорит ни да, ни нет, пусть переживут эту маленькую боль, лучше так, чем убить их правдой. И для Шмидта он не может найти утешающих слов, кончился его запас утешения. Вспомним, между прочим, хоть ненадолго, что Яков тоже нуждается в утешении, как и все несчастные вокруг него, что его терзают те же надежды. Только сумасшедший случай превратил Обычного в Особенного и запрещает ему открыть карты. Но только до сегодня. Сегодня я разрешил вам заглянуть в рукав фокусника, и вы увидели, что он пуст, там нет козырного туза. Теперь мы все одинаковы, я не умнее вас, ничто нас не различает, ничто, кроме вашей веры, что когда-то я был Особенным.

— Что ж делать, господин Шмидт, мы должны работать. Взялись!

Через всю станцию сквозь утихший дождь раздается незнакомый голос:

— Эй, убери руки!

Яков и Шмидт подбегают к двери и видят, что происходит снаружи. Гершль Штамм, один из близнецов, стоит на пути возле самого обыкновенного еще закрытого вагона. Он думал, наверно, что его надо загружать, и незнакомый голос, он может быть обращен только к нему; Гершль быстро убирает руку от засова. Пока единственное примечательное во всем этом — голос, потому что он принадлежит Свистку, а раньше мы его никогда не слышали. Свисток ковыляет к Гершлю Штамму с такой скоростью, с какой позволяет ему деревянная нога, Гершль испуганно отпрянул в сторону. Свисток останавливается возле вагона, проверяет засов.

— Ты что, не слышал? К этому вагону не притрагиваться, черт вас дерит!

— Слушаюсь, — говорит Гершль Штамм. Потом Свисток обращается ко всем евреям, которые ради такого случая прекратили работу:

— Поняли вы, дерьмо собачье? К этому вагону не притрагиваться, в следующий раз получите пулю!

Вот как, значит, звучит его голос, должен признаться, не очень удачная премьера, я бы сказал, плохой баритон, хотелось бы, чтобы звук был приятней. Свисток с достоинством удаляется в каменный дом, Гершль Штамм поспешно берется за работу, чтобы не попадать больше под свет рампы, мы, другие, тоже, инцидент, который не был настоящим инцидентом, пока окончился.

— Что это за вагон, как по-вашему? — спрашивает Шмидт.

— Господи Боже, откуда мне знать!

— К тому же для господина Штамма большая удача, что он не попался. Постовой действительно сегодня утром приказал, чтобы мы не подходили к этому вагону. Вы ведь тоже, наверно, слышали?

— Да, да.

— Зачем же он идет?

— Господи Боже, откуда мне знать?

Шмидт не понимает, когда пора прекратить разговор, он высказывает еще несколько соображений в пользу строгого соблюдения приказов, откровенно говоря, он ни у кого не вызывает особой симпатии, он держит себя, хоть никогда это открыто не высказывает, будто он лучше, умнее и культурнее остальных, он бы, наверно, ни одним словом не возражал против гетто, если бы они не послали сюда его самого. Когда он старается сгладить различия, а он делает это почти всегда, невольно создается впечатление, что он подыгрывает, смотрите, мол, как это любезно с моей стороны, я веду себя так, будто мы с вами одинаковые люди. А различие есть, он не может его стереть, уже одно то, как он смотрит на кого-нибудь из нас, или говорит, или ест, или отзывается о немцах, или рассказывает о прежней жизни, а самое главное — как думает. Что ж, товарищей по несчастью не выбирают, а он, несомненно, такой же несчастный, как мы все, он так же дрожит за свою порцию жизни, хоть и немножко иначе, на свой манер, который нашему брату не очень приятен.

Потом Гершль Штамм притаскивает свой мешок, на голове промокшая шапка, под которой он прячет свою набожность. Яков спрашивает его:

— Что там случилось, Гершль?

— Ты не поверишь, но я слышал из вагона голоса, — говорит Гершль.

— Голоса?

— Голоса, — говорит Гершль, — провалиться мне на этом месте, человеческие голоса.

Он, которому всегда жарко в меховой шапке, чувствует, наверно, как по спине бегают мурашки, он надувает щеки и озабоченно качает головой, подумай сам, что это может означать. Яков подумал, он закрывает глаза и поднимает брови, они ведут безмолвный разговор, а Шмидт стоит рядом и не понимает ни слова.

Подходит Миша, сбрасывает свой мешок и говорит тихо:

— Давайте, работайте, охранник уже смотрит в вашу сторону.

Якова вдруг перестают слушаться руки, мешок выскальзывает, Шмидт замечает с досадой:

— Что же вы, куда вы смотрите! Надо внимательней!

У Якова такое чувство, вспоминал он потом, как бывает у человека, который только успел размяться, и вдруг приходит кто-то и сдергивает одеяло, под которым тепло и уютно, и ты лежишь голый и дрожишь от отрезвления.

— Вы все молчите, — говорит Шмидт через некоторое время.

Яков по-прежнему молчалив, несокрушимо печально принимает он мешки, только иногда бросает украдкой взгляд на ничем не примечательный вагон, за стенами которого были слышны человеческие голоса. Отверстия для воздуха под самой крышей, никому не достать до них и не выглянуть наружу, и никто не кричит, внутри никто и снаружи никто, почему же никто не крикнет, надо укладывать и укладывать мешки. Стоит красно-бурый вагон на запасном пути, будто забытый, но нет, они его не забыли, есть на свете вещи, в которых на них можно положиться. Вчера его еще здесь не было, завтра опять не будет, только короткая остановка по дороге куда-то. Такие вагоны они уже сто раз нагружали и разгружали и снова нагружали ящиками, углем, картофелем, машинами, камнями. Точно такие же вагоны, а к этому нельзя приближаться, будут стрелять.

— Вы думаете, это правда? — спрашивает Шмидт.

— Что правда?

— Про голоса.

— Станный вопрос! Что ж, по-вашему, Гершль Штамм сболтнул для красного словца?

— Кто же может тогда сидеть в этом вагоне?

— Кто, как вы думаете?

Шмидт невольно открывает рот, только теперь у него возникло страшное подозрение, он произносит слова едва слышно:

— Вы считаете...

— Да, я считаю!

— Вы считаете, они отправляют еще кого-то в лагеря?

Так это, к сожалению; Шмидт не понимает игры намеками, когда известные вещи не упоминают, но тем не менее их высказывают, он ее никогда не поймет, в глубине души он раз и навсегда чужой. Ему все должно быть сказано прямо и ясно.

— Нет, они больше никого не отправляют! Война давно кончилась, мы все можем идти по домам, если хотим, но мы не хотим, потому что нам здесь очень нравится, — говорит Яков, и глаза его чуть не выскакивают из обрит. — Отправляют ли они еще кого-нибудь в лагерь! Вы думаете, уже некого отправлять? Еще есть я, еще есть вы, мы все еще пока здесь! Только не воображайте, что все уже кончилось!

Шмидт прерывает эту оказавшуюся необходимой лекцию быстрым движением руки, он испуганно показывает на железнодорожные пути и кричит:

— Смотрите, Штамм!

Гершль никогда ничем особенным не выделялся, только своей молитвой, которой, по его убеждению, погасил электричество на всей улице, теперь же он наверстал упущенное, он удивляет всех, он стоит возле вагона. Охранник его еще не заметил, Гершль прижался ухом к стенке вагона и что-то говорит, я ясно вижу, как он двигает губами, прислушивается, потом опять говорит, этот набожный Гершль. Его брат Роман случайно оказался рядом со мной, глаза у него стали, как мельничные колеса, он хочет бежать к Гершлю и оттащить его прежде, чем будет поздно. Двоим пришлось держать его силой, один шепчет ему на ухо: стой спокойно, идиот, ты сам привлечешь к нему внимание.

Я не могу слышать, что говорит Гершль и что они ему оттуда отвечают, расстояние слишком велико, но я могу представить себе с большой достоверностью их разговор.

— Эй, в вагоне! Вы меня слышите? — первое, что говорит Гершль.

— Мы слышим тебя, — должно быть, ответил голос из вагона. — Кто ты?

— Я из гетто, — говорит потом Гершль. — Держитесь, вам надо продержаться еще совсем недолго! Русские уже прошли Безанику!

— Откуда ты знаешь? — спрашивают его там, внутри, — естественный вопрос.

— Можете мне поверить. У нас есть радио, спрятанное. А теперь мне надо обратно.

Запертые растерянно благодарят его, белый голубок залетел к ним в крошечную тьму, не важно, что они говорят, наверно, желают ему счастья и богатства и жить до ста двадцати, пока не слышат, что шаги его удаляются.

Все взгляды прикованы к Гершлю, который сейчас будет возвращаться. Обезумев, мы стоим и не можем оторвать от него глаз вместо того, чтобы работать и вести себя так, будто ничего не происходит. Сначала мы удержали Романа от огромной глупости, потом совершаем ее сами, быть может, Гершль и так не спасся бы от них, кто может это утверждать задним числом, во всяком случае, мы ничего не делаем, чтобы отвлечь их от него. Только теперь он почувствовал страх, раньше все совершалось само собой. Его укрытие ненадежно, можно сказать, у него совсем нет укрытия, Гершль знает, почему ему страшно. Штабель ящиков, потом пустой вагон и больше ничего на его пути, на котором ему по-настоящему нужна защита. Я вижу, как он подвигает голову за угол вагона, сантиметр за сантиметром, взглядом он уже с нами, я слышу уже, как он рассказывает о своем путешествии на край света, до сих пор противник ведет себя спокойно. Охранник у ворот стоит спиной к разгрузочной площадке, ни один звук не

привлекает его внимания, двух других не видно, наверно, дождь загнал их в дом. Я вижу, как Гершль готовится к большой перебежке, вижу, как он молится. Хотя он все еще возле вагона и двигает губами, ясно, что он говорит не с теми, внутри, а со своим Богом. Потом я поворачиваю голову к каменному дому, там под крышей есть чердачное окошко, оно открыто, на подоконнике лежит винтовка, и ее спокойно и хладнокровно наводят на Гершля. Человека за винтовкой я рассмотреть не могу, в помещении слишком темно, я вижу только две руки, они покачивают дуло, пока не находят точное направление; тогда они замирают, как нарисованные. Что я должен был предпринять, я, который никогда не был героем, что я должен был предпринять, если бы был им? В лучшем случае закричать, но разве бы это помогло? Я не кричу, я закрываю глаза, проходит вечность. Роман говорит мне: что ты закрываешь глаза, смотри, он пробежит, этот сумасшедший успеет!

Не знаю почему, в этот момент я думаю о Хане, как ее расстреляли возле дерева, название которого мне неизвестно, я думаю о выстреле в нее до тех пор, пока все вокруг меня не заговорили, перебивая друг друга. Всего только один сухой выстрел, у двух рук было время — целая молитва Гершля, чтобы подготовиться наилучшим образом. Странно слышать его, я еще никогда не слышал одиночного выстрела, всегда только несколько сразу, а тут как будто избалованный ребенок упрямо топнул ногой, или будто воздушный шар слишком сильно надули и он лопнул, или — раз уж мы решили выбирать образы для сравнения — будто Бог кашлянул, Бог подал знак Гершлю своим кашлем.

Запертые за красно-бурыми стенами, наверно, спросили: что случилось?

Гершль лежит на животе поперек рельс. Его судорожно сжатая правая рука попала в черную лужу, лицо, сначала я могу видеть только его половину, кажется мне удивленным, открытый глаз придает ему такое выражение. Мы молча стоим вокруг, нас не разгоняют, разрешают этот маленький перерыв. Роман наклоняется над ним, стаскивает его с рельс и поворачивает на спину. Потом снимает с него меховую шапку, ему с трудом удастся развязать тесемки под подбородком. Он засовывает шапку в карман и уходит. В первый раз на товарной станции пейсы свободно развеваются на ветру, многие из нас никогда раньше их не видели, вот как, значит, выглядит Гершль Штамм на самом деле, без маскарада. В последний раз лицо его в черной рамке из мокрой земли и густых волос, глаза ему кто-то закрыл. Не хочу лгать, зачем, он не был красавцем, он был очень набожным, хотел передать людям надежду и за это умер. Охранник, стоявший возле ворот, подошел незамеченным к нам, пора уже переключить наши мысли на другие предметы, он говорит:

— Хватит глазеть, вы что, никогда не видели мертвого? А ну за работу, живо!

После работы мы заберем его и похороним, это разрешается, хоть и не написано черным по белому ни в одном из многочисленных распоряжений, но так у нас заведено. Я еще раз поднимаю глаза к окну, которое уже захлопнули, нет больше винтовки, нет рук, никто не выходит из дома, им больше нет до нас дела, для них эпизод исчерпан.

Жизнь идет дальше, Шмидт и Яков принимают мешки. Хоть это Шмидт понял, теперь он молчит, он держит про себя, почему Гершль обязательно должен был побежать к вагону, хотя железнодорожник заранее настойчиво и определенно предостерег его. Яков осыпает себя упреками, он знает, до ужаса точно знает, какую роль сыграл в этой пьесе. Ты придумываешь себе скудное утешение, ты рисуешь большие весы с двумя чашами, на одну ты кладешь Гершля, на другую всю ту надежду, которую за это время принес людям, — в какую сторону они склонятся? Трудность состоит в том, что ты не знаешь, сколько весит надежда, никто тебе этого не скажет, ты сам, один, должен вывести формулу и закончить подсчет. Но ты считаешь и считаешь и не можешь найти ответ, трудности все растут, вот еще одна — и кто может разгадать секрет, сколько несчастий ты предотвратил своим выдуманном радио, ведь то, чего

удалось избежать, навсегда останется для тебя скрытым, явно только то, чему ты стал виной, вот она, твоя вина, лежит возле рельс под дождем.

И во время обеденного перерыва решение задачи со многими неизвестными не продвинулось ни на шаг. Яков ест свой суп в сторонке, сегодня каждый хочет побыть один. Он старается не попадаться на глаза Роману Штамму. Роман его и не ищет, только возле тележки, куда ставят пустые миски, они оказываются вдруг рядом. Они смотрят в глаза друг другу, особенно Роман. Яков рассказывает мне: он смотрел на меня так, будто это я убил его брата.

* * *

Вечер принадлежит Лине.

Как-то, это было уже давно, Яков привел ее на площадку перед своей дверью и сказал:

— А теперь смотри внимательно, мало ли что может случиться, вдруг тебе что-нибудь понадобится, чтобы ты могла найти ключ от моей комнаты, видишь, здесь за дверью есть дырочка в стене. Сюда я сейчас положу ключ и снова прикрою камнем. Ты сможешь его легко вынуть, если станешь на цыпочки, ты уже большая, попробуй.

Лина попробовала, стала на цыпочки, вынула камень, едва дотянувшись до ключа и гордо протянула его Якову.

— Замечательно, — сказал Яков. — Запомни хорошенько место. Я сам не знаю зачем, но, может быть, когда-нибудь это будет важно. И еще одно: никому про это место не рассказывай.

Теперь Лине не нужно становиться на цыпочки, два года она без устали росла и росла, чтобы дорасти до отверстия за дверной рамой. Если что-нибудь тебе понадобится, сказал Яков. Сегодня ей понадобилось. Лина достает ключ, открывает и стоит, затаив дыхание, в пустой комнате. Немножечко ей все-таки страшно; но страх исчезнет, если Яков неожиданно войдет, тогда она ему просто скажет, что наводит здесь порядок. Ее привели сюда рискованные намерения, он вряд ли одобрил бы их, но, как говорится, чего не знаю, о том не вспоминаю.

Перед ней два препятствия, на этот счет она не заблуждается, первое — пока ей неизвестно, где оно спрятано, второе — она не знает, как выглядит радио. Мест, куда его можно спрятать, в комнате не бесконечно много, ничего не стоит за пять минут обыскать все углы, гораздо труднее представляется ей второе препятствие.

— Ты мне покажешь завтра свое радио? — спросила она его вчера вечером, когда он пришел к ней на чердак после неудачного визита Ковальского.

— Нет, — сказал он.

— А послезавтра?

— Тоже нет.

— А послепослезавтра?

— Я тебе сказал, что нет! И прекратим этот разговор!

Даже ее обычно безотказный взмах ресницами не произвел никакого впечатления, Яков не смотрел в ее сторону, поэтому после нескольких минут недовольного молчания она начинает сначала:

— А вообще когда-нибудь ты мне его покажешь?

— Нет.

— Почему же?

— Потому.

— А ты мне скажешь хотя бы, как оно выглядит? — спросила она тогда, план действий был уже наполовину готов. Но и на этот вопрос он отвечать отказался, и тогда из наполовину

готового плана моментально составиллся совсем готовый.

Итак, Лина должна искать вещь, о которой она знает только: Яков ее прячет, вещь без цвета, без формы и веса, счастье еще, что у Якова в комнате не может быть так много неизвестных вещей. Первый найденный ею неизвестный предмет должен согласно человеческому разумению называться радио.

Лина начинает с потайных мест, которые у всех на виду, каждому придет в голову искать здесь: под кроватью, на шкафу, в ящике стола. Очень может быть, радио такое большое, что оно вообще там не помещается, люди стали бы громко смеяться, что она ищет радио в столе. Но не ее вина, это Яков заупрямился, и, кроме того, сейчас ее никто не видит. В ящике его нет, там вообще ничего нет, под кроватью и на шкафу одна только пыль. Остается шкаф внутри, больше спрятать некуда. В шкафу две дверцы: одна внизу, другая наверху. Верхнюю смотреть бесполезно, там стоят четыре тарелки, две глубокие и две мелкие, две чашки, одна из них, когда Лина ее мыла, упала на землю и лишилась ручки, потом еще нож и две ложки, всегда пустая сахарница, и еда там лежит, когда она есть. На этой полке Лина распоряжается, как хозяйка, она часто накрывает на стол, приносит еду, убирает, здесь можно бы и не смотреть, но, с другой стороны, нельзя допустить, чтобы операция провалилась из-за небрежности. И она внимательно просматривает все: четыре тарелки, две чашки, сахарницу, нож и ложки, кусок хлеба и пакетик с фасолью, — никаких неожиданностей.

Посмотрим, что за нижней дверцей. Лина медлит, и, хотя ключ уже в руках, открыть она пока не решается; если то, что она ищет, там не лежит, значит, его нет нигде. В нижнее отделение она раньше не заглядывала, «там мои вещи», сказал Яков, и это звучало вполне безобидно. Мои вещи. Только теперь она поняла, что скрывается за этими двумя такими невинными словами.

Однако и промедление имеет свои границы, Лина наконец поворачивает ключ, на площадке чьи-то шаги. Закрывать входную дверь — не годится, если это Яков, он не станет спрашивать, что она здесь делает, он спросит, почему она заперлась, — как на это ответишь? Лина вынимает рубашку, брюки, иголку, нитки, ящичек с гвоздями, кастрюлю, почему она не стоит на верхней полке, рамку без фотографии, книжку об Африке. Она разрешает себе небольшой перерыв, в книжке есть кое-что поинтереснее букв, о которых в последнее время Яков почему-то столько говорит, картинки, несмотря на особые обстоятельства, заслуживают нескольких минут внимания. Женщина с ужасно длинными грудями, груди выглядят плоскими и будто высохшими, в носу у нее продето кольцо, зачем — Яков обещал объяснить потом. Голые мужчины с перемазанными лицами носят в руках длинные копья, а на голове целые дома из перьев, волос и лент. Тощие дети с округлыми, как мяч, животами, звери с рогами и полосами и длинными-предлинными ногами и еще более длинными шеями — все это может заинтересовать человека, но не настолько, чтобы он забыл о своей главной цели. Лина заползла в шкаф до живота, последнее препятствие устранено, скромная стопка белья, накрытая зеленым носовым платком, и — свободна дорога к этому никогда не виденному предмету, — гордая победительная улыбка, он скромненько стоит незаметный в углу сзади, таинственный и запрещенный. Она вытаскивает его на свет, легкая тоненькая решетка, винтики, стекло, и он весь круглый, она благоговейно ставит его на стол, садится перед ним, теперь должно что-то произойти. Его вещи, сказал Яков, она смотрит на таинственный предмет, не отрываясь, проходят минута за минутой, интересно, что она узнает, чего раньше не знала. Эта вещь говорит как обыкновенный человек или выдает свои секреты каким-нибудь другим, чудесным образом? Опыт с ожиданием, пожалуй, не удался, после напрасных попыток вызвать его на разговор молчанием Лине приходится убедиться, — по своей воле он не произнесет ни словечка, надо как-то заставить его заговорить, может быть, просто спросить его о чем-нибудь. Будем

надеяться, что для этого не требуется тайное слово, как Али-Бабе в случае со скалой Сезам.

— Как меня зовут? — Лина начинает с самого простого, но ответить на этот легкий вопрос таинственному предмету, видимо, не под силу. Лина дает ему достаточно времени на обдумывание, но напрасно, она была бы очень разочарована, если бы ее не осенила счастливая догадка: нужно спрашивать о чем-то неизвестном, чего она раньше не знала, свое-то имя она ведь знает. Она спрашивает: «Сколько будет тридцать раз два миллиона?» Когда же и этот вопрос остается без ответа, Лина вступает на новый путь: она думает о свете, об электричестве, которое можно по желанию включать и выключать, вдруг эту штуку тоже можно включить, попробуем с винтиком. Он заржавел, еле поворачивается, после стольких усилий только чуть-чуть пискнул, а у нее уже пальцы заболели. И вдруг Яков в дверях и спрашивает, как она и предполагала:

— Что ты здесь делаешь?

— Я, — говорит Лина, — я хотела у тебя убраться, ты разве забыл?

— Не забыл.

Он смотрит на Содом и Гоморру перед шкафом, потом на Лину, которая хотела наводить порядок, и прежде чем он успевает открыть рот, она уже знает, что большого скандала не будет.

— И ты, как я вижу, еще не кончила? — говорит Яков. Конечно, она не кончила, она только начала, она вскакивает, засовывает кастрюлю, книжку и белье обратно в шкаф с такой быстротой, что он едва успевает уследить за ней глазами. Туда же летят рамка без фотографии, гвозди в спешке посыпались на пол, она быстренько собирает, остаются нитки и иголка, она их найдет потом, дверца захлопывается, все в полном порядке. Только эта штука стоит на столе, он ее все равно увидел, стоит его единственная тайна, а он еще не начинает ее ругать.

— Ты ведь на меня не сердишься?

— Нет, нет.

Яков снимает куртку, отмывает руки от товарной станции, Лине становится как-то беспокойно, а штука стоит себе, и он не обращает на нее внимания, хоть бы что.

— А на самом деле что тебе здесь было нужно?

— Ничего. Я убирала у тебя в шкафу, — говорит она и знает, что вранье бесполезно.

— Что ты искала?

Теперь он наконец повысил голос, она находит его вопрос слишком глупым, сидит перед этой штукой и лицемерно осведомляется, что она искала, в таком случае мы отвечать отказываемся.

— Почему здесь стоит лампа?

— Какая лампа?

— Вот эта. Разве ты видишь другую?

Лина молчит и смотрит на эту будто бы лампу, и тогда большие глаза медленно наполняются слезами. Яков обнимает ее, прижимает к себе и спрашивает совсем тихим голосом:

— Что с тобой?

— Ничего.

Он сажает ее на колени, она редко плачет, кто знает, что происходит в маленькой головке, когда она целый день одна, о чем она думает.

— Ну скажи мне, что случилось. Что-нибудь с лампой?

— Нет.

— Ты ее когда-нибудь видела?

— Нет.

— Показать тебе, как она работает?

Лина удерживает слезы, в конце концов Яков не виноват в ее ошибке, кроме того, есть еще и завтра, завтра будет время найти тайное место, которое она сегодня проглядела. Она приводит в порядок глаза и нос с помощью рукава, но его оказывается недостаточно, на помощь приходит носовой платок Якова.

— Объяснить тебе, как ее зажигают? Смотри: это называется керосиновая лампа. Раньше были только такие лампы, до того, как узнали электрический свет. Сюда наливают керосин, в эту маленькую ванночку. А это фитиль, он весь в керосине, только кончик торчит наружу. Можно его отпустить подлиннее или сделать короче вот этим винтиком. Фитиль зажигают, и тогда в комнате становится светло.

— Ты можешь сейчас попробовать?

— К сожалению, у меня нет керосина.

Лина спрыгнула с колен Якова, она берет лампу в руки, рассматривает ее со всех сторон, вот почему напрасно было ждать от нее ответа.

— Знаешь, о чем я подумала?

— О чем же?

— А ты не будешь надо мной смеяться?

— Как можно!

— Я подумала, что это твое радио.

Яков улыбается, он вспоминает, как маленьким мальчиком был уверен, что их старая горбатая соседка — ведьма, вот ведь и он ошибался, но улыбка его быстро гаснет, ее смывает с лица. Лина искала радио, в этом она призналась, было бы очень неплохо оставить ее в этом убеждении, что сделается лампе, если ее будут считать радио. Он бы взял с нее торжественное честное слово молчать, наконец ты его нашла, теперь ты знаешь, как оно выглядит, теперь об этом больше ни слова, и тем более чужим людям. И на несколько недель у него был бы покой, хотя бы дома. Но возможность упущена, Лина выдала себя, когда было уже поздно, а у него самого не хватило догадливости и хладнокровия правильно оценить ситуацию в комнате, и лампу на столе, и причину ее слез. Сейчас или через час, самое позднее завтра, она уже переминается с ноги на ногу. Сказать, что оно сломано, — она не успокоится, покажи, скажет она, сломанное, а он, к сожалению, не такой человек, чтобы даже в виде исключения отделаться от неприятного вопроса пощечиной. Выход есть, и очень простой, Яков может сказать, что он его сжег, сломанное радио, если его найдут, не менее опасно, чем целое.

Он может, конечно, это сказать, тогда он счастливо избавится от радио, нет у него радио — и для Лины, и для всех других нет, но сегодняшний день на товарной станции тоже играет некоторую роль, он тоже что-то значит, его нельзя сбросить со счета. Мертвый Гершель Штамм, его брат Роман и осуждающие, мучительные для Якова взгляды, которые тот бросал на него, неизвестные люди, запертые на запасном пути, — все они имеют право сказать свое слово прежде, чем радио будет окончательно уничтожено.

И евреи, которые рано утром с надеждой в глазах пришли к нему с вопросами и ушли обескураженные, без новостей, на которые имеют право. Теперь они уже дома, знакомые и родственники стучат в дверь, что нового те слышали на товарной станции. Ничего, скажут им, ничего, радио сломано, вчера еще говорило, а сегодня ни звука, молчит и все. Знакомые и родственники уходят, распространяют последнюю новость по домам и улицам, которые скоро опять будут выглядеть такими же несчастными, как до того вечера, когда прожектор остановил Якова около половины восьмого на мостовой на Курляндской улице. Много надо обдумать прежде, чем будет принято легкомысленное решение, прежде, чем купишь себе спокойствие, которое на самом деле никакое не спокойствие.

— А теперь ты мне покажешь радио?

— Я уже вчера тебе сказал, что не покажу. Разве что-нибудь с тех пор изменилось?

— А я его все равно найду, — говорит Лина. — Хочешь, поспорим, что я его найду! — Лина переходит в открытое наступление.

Пусть лучше ищет, чем выпрашивает, следующее радио Яков не станет оспаривать, пусть оно останется для нее радио. А радио, которое она никогда не найдет, пока что не сгорит в огне, для этого есть много причин, на первом месте Гершль с его пейзажами, еще утром, когда он лежал под дождем между бревнами, он его, можно сказать, исправил.

* * *

Яков идет на работу гордо, с легким сердцем, он решительно шагает, распрямивши плечи и подняв голову, и кто сравнивает его с ним вчерашним, тому бросается в глаза разница: идет спокойный, уверенный в себе человек. Он горд, и сердце его ликует, потому что в ночные часы, проведенные в постели, были приняты важные решения, связь с внешним миром восстановлена. Радио говорило допоздна, как только он спровадил Лину, он включил приемник и слушал, пока его не сморил сон, но к тому времени кое-какие сообщения дошли до его слуха, и совсем, совсем недурные. Его сердце ликует, потому что огонек ожидания не должен погаснуть, таково решение Якова, полночи он собирал для него хворост и дрова. Ему удалось прорваться далеко вперед, ему и русским; в полной тишине он заставил их выиграть важный бой на речке Рудне, которая катит свои воды хоть и не возле самого твоего порога, но все же обнадеживающе ближе, чем находится город Безаника.

Рассмотрев объективным и трезвым взглядом все сообщения, которыми он до сих пор снабжал знакомых и незнакомых, Яков пришел к выводу, что в общем и целом речь шла о событиях весьма незначительных, кроме самого первого, насчет Безаники, все остальные — подробности о мелочах. В его изложении они разрастались до колоссальных историй, часто неправдоподобных и легко уязвимых, и сомнения не возникали пока лишь потому, что надежда сделала их слепыми и глупыми. Но в ночь перед боем у реки Рудны Яков пробился к важному рубежу: он увидел наконец источник своих трудностей. Другими словами, как только погас свет, его осенило, почему ему с таким трудом давались его выдумки, в чем причина того, что в последнее время он почти не в состоянии был что-нибудь сочинить. Он был слишком скромным, досадовал он, он всегда пытался говорить о вещах, которые когда-нибудь, когда жизнь снова пойдет своим нормальным ходом, нельзя будет проверить. Смущение сковывало его каждый раз, когда он передавал очередное известие, что-то вроде нечистой совести, ложь сходилась с его уст нескладно и как бы сопротивляясь, словно искала укромный уголок, чтобы поскорее забраться туда, пока кто-нибудь не захочет рассмотреть ее повнимательнее. Но такой образ действий был в основе своей порочен, как выяснилось в последнюю ночь, лжец, мучимый угрызениями совести, на всю свою жизнь останется жалким халтурщиком. Если кто работает по этой части, тот должен отбросить сдержанность и ложный стыд, нужно действовать без стеснения и с размахом, уверенность должна сиять на твоём лице, сыграй им, как выглядит человек, который уже знает то, что они узнают от него только в следующую минуту. Нужно сыпать именами и датами, битва у Рудны должна быть только скромным началом. Она никогда не войдет в историю, но в нашей истории ей принадлежит почетное место. И когда мы все вынесем и выстоим, когда каждый заинтересуется и сможет прочесть в книгах об истинном ходе военных действий, пусть приходит и спрашивает, послушай, что за чепуху ты тогда нес? Где ты взял битву у Рудны? Ее не было? — ответим мы с удивлением, — покажи-ка книгу... действительно не было... О ней не написано. Значит, я ослышался, извините, пожалуйста. Они

ему, наверно, простят, в худшем случае пожмут плечами, может быть, найдутся среди них и такие, что поблагодарят за ошибку.

Что касается развития военных действий, Яков подготовился заранее, при этом его знание местности оказалось очень полезным. Сражения у Рудны со всеми его последствиями должно хватить на ближайшие три дня, надо держаться в разумных границах. Потому что форсирование реки не может пройти без всяких трудностей, мы не станем облегчать дело русским; немцы взорвали единственный мост — так придумал Яков, — чтобы продолжать наступление, потребовалось возвести временный понтонный, а на это должно уйти три-четыре дня. Когда русские покончат с мостом, они продвинутся в направлении городка Тоболина, который немцы превратили в крепость. Крепость держится опять же три дня, ее взяли в клещи, сильный артиллерийский обстрел, непрерывные атаки пехоты, положение безнадежное, майор Картхойзер — подходящее имя и соответствующий чин — вынужден подписать акт о капитуляции, Тоболин освобожден. Кстати, этому очень обрадуется Миша, у него живет там тетка, которая, будем надеяться, дожила до этой победы. Тетя Лея Меламуд, владелица галантерейной лавки, когда Миша был маленьким, она присылала ему к каждому дню рождения коробку с пестрыми пуговицами и тесьмой.

Но мы не станем задерживаться в Тоболине дольше, чем необходимо, оттуда до уездного города Прыи, следующего пункта в направлении нашего наступления, — расстояние немалое, примерно семьдесят километров. В общем и целом план действий уже намечен, осталось доработать детали. Этим Яков будет занят в ближайшее время в ночные часы, до Тоболина пока все ясно, и сегодня на товарной станции будет объявлено о результатах славного сражения у берегов Рудны.

Ликуя сердцем, Яков идет на работу. Ему приходит в голову блестящая подробность, маленький интересный штришок, которым он мог бы украсить события на берегах Рудны. Что, если секретные планы немцев попали в руки русских, и в результате все операции противника на этом участке фронта, задуманные на несколько недель вперед, заранее известны и потому терпят провал? Это был бы рассказ с изюминкой, произведение искусства, но тут сразу же возникли сомнения касательно правдоподобия, ведь не хранят же секретные планы в таком ненадежном месте, что ни говори, немцы не идиоты. И русские не идиоты, если они даже и завладели такого сорта планами, не станут же они трезвонить об этом на весь свет по радио, они будут помалкивать и в полной тайне примут контрмеры. Значит, откажемся от маленького украшения на этом произведении искусства, достаточно и приготовленного, чтобы передать евреям немножко от той уверенной походки, которой Яков все еще шагает на работу, ликуя сердцем.

На углу Тисменицкой он видит Ковальского, случай сам по себе не исключительный, Ковальский часто поджидает его здесь, он живет рядом. Когда же Яков подходит ближе, выясняется, что Ковальский стоит не один, рядом с ним молодой человек, а в этом уже, можно сказать, есть что-то особенное, прежде всего потому, что этого молодого человека Яков никогда раньше не видел. Уже издали Ковальский показывает пальцем на Якова, незнакомый молодой человек смотрит по направлению его пальца, похоже, что Ковальский хочет объяснить ему, вот тот, в темно-серой куртке, и есть он самый.

Яков поравнялся с ними, поздоровались за руку и пошли втроем, молодого человека Якову пока не представили; Ковальский говорит:

— Сегодня ты! что-то поздно. Мы давно тебя ждем.

— Может быть, мы договаривались? — спрашивает Яков.

Он посматривает сбоку на молодого человека, который не произносит ни слова, смотрит прямо перед собой, явно смущенный и немного растерянный, и слепой поймет, что его привели

неспроста, Ковальский наверняка что-то задумал.

— Ты не собираешься нас познакомить? — говорит Яков.

— А вы разве не знакомы? — Ковальский изображает на лице удивление. — Это Иосиф Найдорф.

— Меня зовут Яков Гейм.

— Я знаю, — говорит робкий молодой человек, фамилия которого, значит, Найдорф, по этим первым произнесенным им словам еще нельзя сделать никакого заключения.

— Ты ведь не работаешь на товарной станции? — спрашивает Яков.

— Нет.

— А где?

— На инструментальном заводе.

— Тогда тебе не по этой дороге. Как раз в обратном направлении.

— Мы начинаем позднее, чем вы, — говорит молодой человек, и видно, что ему неловко за нелепое объяснение.

— Так-так. И раз у тебя есть немного времени, ты решил проводить нас до станции. Ясно.

Найдорф вдруг останавливается, как останавливаются перед тем как убежать, вид у него испуганный, он тихо говорит Ковальскому:

— Нельзя обойтись без меня? Понимаете, не хочу я ввязываться в эту историю. Понимаете, я боюсь.

— Ну не начинай опять сначала! Я ж тебе все объяснил самым подробным образом, — говорит нервно Ковальский и берет его за руку для верности, чтобы он не смог дезертировать. — Пойми же наконец! Он будет молчать, я буду молчать, и ты тоже будешь молчать. Кроме нас троих, об этом не узнает ни один человек. Что может случиться?

У Найдорфа вид совсем несчастный, но он не уходит, тогда Ковальский осторожно отпускает его руку.

— О чем я буду молчать? — спрашивает Яков, который хотел бы узнать наконец, в чем дело. Ковальский жестом просит его потерпеть, жест этот означает много, он означает, ты видишь, в каком состоянии парень, дадим ему минутку, пусть справится с собой и своим страхом. Вот какими содержательными могут быть жесты Ковальского. Он ободряюще подмигивает Найдорфу, что не так просто при его затекшем глазе, и говорит:

— А теперь ты можешь сказать ему, кто ты.

Найдорф еще колеблется, Якову не терпится узнать, в чем дело, вот неожиданность прямо с утра пораньше, молодой человек почему-то боится, о чем-то по неизвестной причине нужно молчать, молчать Ковальскому удастся не каждый день.

— Я по профессии радиотехник, — выдавливают наконец из себя Найдорф.

Так, значит, он радиотехник.

Для Якова стула не приготовили, они разговаривают взглядами, довольными и уничтожающими, бессмысленная злость на Ковальского стеснила Якову дыхание. Этот кретин, его друг, изображает из себя Господа Бога, заботится о ремонте радио, Боже мой, он же понятия не имеет, что это за радио и какой требуется ремонт, и еще воображает, что ему должны быть благодарны за его предприимчивость и хлопоты! Потому что наверняка было нелегко за один короткий вечер, который уже в восемь кончается, разыскать кого-то, кто разбирается в радио, нелегко, но не невозможно для такого друга, как Ковальский. Стоит и сияет, ждет похвал — ну, как я это провернул, — конечно, замечательно, еще раз такая помощь, и можно сразу вешаться. И для такого стоило выигрывать сражение при Рудне! Честное слово, опять захочется сжечь радио, хоть все и обдуманно. Сразу же, как они попрощались, он, наверно, бежал все гетто, всех свел с ума. Раньше он этого Найдорфа не знал, знакомые Ковальского, к сожалению, и его,

Якова, знакомые. Он, наверно, пробирался потихоньку от одного к другому и доверительно спрашивал своим гнусным голосом: «Не знаешь ли ты! случайно кого-нибудь, кто может починить радио?» — «Радио? Зачем тебе, ради всего святого, понадобился кто-то, кто чинит радио?» — «Ну как ты думаешь зачем?»

Нашелся-таки один, кто натравил его на этого бедного Найдорфа, у которого в одном мизинце больше ума, чем у Ковальского во всей голове, лучшее доказательство — его страх. Ковальский невесть что ему наплел, чтобы успокоить, приволок сюда, в результате положение хуже не придумаешь, рядом стоит живой радиотехник.

— Прекрасная у тебя профессия, — говорит Яков.

— Правда, прекрасная?!

Ковальский радуется, как король, рассыпающий милости, дружеским услугам просто нет конца, недавно чудесное спасение из клозета, сегодня второй подвиг — пусть кто-нибудь совершит подобное здесь, в этом гетто, где так мало места для добрых дел. Но он не ожидает особой благодарности, между настоящими друзьями такие вещи само собой разумеются, в таких случаях не тратят лишних слов, а действуют. А так как время поджигает и так как Яков пока не выказывает признаков радости или понимания Ковальский объясняет ему: он должен починить твое радио. И не бойся, парень абсолютно надежный.

— Что ж, приятно это знать, — говорит Яков.

— Я, конечно, не могу ничего гарантировать, — вставляет Найдорф с готовностью и скромно. — Если, например, перегорела трубка, я ничего сделать не смогу. У меня нет запасных частей, это я сразу сказал господину Ковальскому.

— Что рассуждать, прежде всего сходи туда и посмотри, в чем дело, — говорит Ковальский.

За считанные секунды Яков должен найти выход, предполагается, что с каждым разом это должно даваться легче, недаром есть поговорка: навык мастера ставит, но на самом деле легче ничуть не становится. Поневоле он вспоминает о решении, принятом этой ночью, решении, которое легче принять, чем выполнить, когда перед человеком встают такие препятствия, но Яков берет себя в руки. Добрые вести следует сообщать с радостным лицом, Якову никак не удастся изобразить радость, какая уж тут улыбка при виде Ковальского с его идиотским рвением. С ожесточением Яков растягивает губы, что должно означать удовольствие, и прищуривает глаза, что следует понимать как приветливость, читай — только сейчас, сию минуту ему пришло в голову что-то чрезвычайно важное.

— Боже мой, ты же еще не знаешь, — говорит он, — зря ты столько старался. Радио уже работает.

— Что ты говоришь!

— Но все равно спасибо, это было мило с твоей стороны.

— Как же оно заработало? Ты сам его исправил? — спрашивает Ковальский, и непонятно, действительно ли он радуется или разочарован, что старания пропали впустую.

— Работает и все. Тебе недостаточно?

— Но как же? — спрашивает Ковальский. — Ведь не может же оно само себя починить!

Если б рядом не стоял Найдорф, Яков мог бы что-нибудь сочинить: трубка отпаялась или еще что-нибудь в этом роде, или что он стукнул как следует по ящику и оно заговорило. Ковальский так же ничего не понимает в радио, как и он, но этот Найдорф, который разбирается, к несчастью, торчит тут, у него на лице написано не только облегчение — потому что теперь не требуется его помощь, — в его взгляде еще и профессиональный интерес. И попробуй, объясни им, когда нет времени даже подумать, объясни так, чтобы твой ответ удовлетворил и мастера и дурака, ты же должен знать, как починил свое радио, расскажи без

запинок и толково и делай еще при этом веселое лицо.

— Оказалось, что провод был не в порядке, я его немножко укоротил и все.

Итак, все устроилось наилучшим образом, Яков может гордиться собой, все три стороны удовлетворены. Найдорф пожимает ему на прощание руку, еще раз большое спасибо за готовность помочь, он направляется в сторону инструментального завода, ему не надо больше бояться.

Ковальский и Яков идут своей дорогой на товарную станцию, Яков изобретает мст за испорченное утро, которое так хорошо началось. Ковальскому не будет рассказано о битве при реке Рудне, пусть другие сообщат ему это радостное известие. Для друзей, которые не упускают возможности извести человека прямо до умопомрачения, для таких друзей слишком жалко сражений, выигранных в мучениях бессонными ночами. Даже если это случилось без злого умысла — те трудности, что Ковальский преподнес ему сегодня утром, положение, в которое он ставит человека, пусть и не имея плохих намерений, становится устрашающе опасным, никак нельзя сидеть сложа руки, когда дела развиваются таким образом. Позавчера он напустил на него Лину, сегодня Найдорфа, сам он дотошнейший из всех, кто изводит его вопросами, что ж, в качестве ответной меры одно утаенное сражение, пожалуй, не так уж много.

— Что нового за прошлую ночь? — спрашивает Ковальский.

— Ничего.

По дороге встречается кое-кто из знакомых, на станцию ведет только одна эта улица, и постепенно оказываешься в толпе. Яков замечает, как они испытующе смотрят на него и на Ковальского тоже, и на того падает сияние, окружающее Якова. Ковальский позволяет себе немного погордиться и шепотом сообщает то одному, то другому: радио опять заработало.

Как будто в этом есть и его заслуга, а тот ускоряет шаг и передает на ухо новость другому, и вот уже многие поворачивают голову в сторону Якова и выглядят веселее, чем вчера. Яков незаметно кивает, да, это правда, вы правильно расслышали, и починенное радио, наверно, окажется на станции раньше, чем его владелец.

— Знаешь, Яков, я хотел спросить у тебя, — говорит Ковальский, — пора, пожалуй, пораскинуть умом насчет других вещей.

— Насчет чего, например?

— Например, подумать о делах.

— О делах? О каких делах?

— Я коммерсант, — говорит Ковальский. — Разве сейчас не самое время хотя бы в мыслях все подготовить на будущее?

— Это ты коммерсант? И что ты собираешься подготавливать? Разве твоя парикмахерская не стоит на том же месте и не ждет тебя?

— В этом-то и вопрос. Я уже давно подумываю, не стоит ли потом взяться за что-нибудь другое.

— На старости лет за что-нибудь другое?

— А почему бы и нет? Строго между нами, я припрятал немножко денег. Не скажу, что это состояние, ты ж понимаешь, но разве их нельзя вложить во что-нибудь лучшее, чем старая цирюльня, которая мне никогда по-настоящему не нравилась? И тебе твоя забегаловка тоже, скажем откровенно. А если уж я вкладываю деньги во что-то другое, то должен быть уверен, что я не выбрасываю их на улицу.

— Ну а я тут при чем?

— Ведь они наверняка передают иногда что-нибудь насчет экономического положения.

— Передают.

— Не было там ничего такого, на что можно было бы ориентироваться? Какого-нибудь

намека?

— Я этим не интересуюсь.

— Так я тебе и поверил, что не интересуешься! — говорит Ковальский. — Ведь что-то же ты слышал!

— А что ты вообще хочешь знать? До сих пор я не понял ни одного слова.

— Очень просто, я хочу знать, на что в торговле самые лучшие перспективы.

— Послушай, Ковальский, ты иногда ведешь себя прямо как ребенок. Неужели ты серьезно думаешь, что они по радио так и говорят: мы рекомендуем вам после войны вложить ваши деньги именно в такое-то дело?

Ковальский понимает, он говорит:

— Ну ладно, я спрашиваю тебя как друг. Если бы у тебя были деньги, на что бы ты считал выгодным их употребить?

Вот и Яков взвешивает в уме этот вопрос, ведь вложение капитала требует серьезных размышлений, — куда бы в самом деле он вложил свои деньги? Может быть, в гастрономию? Ты не забыл, после прошлой войны все просто помешались на деликатесах, на них был сумасшедший спрос. А Давид Гедалье, ты ведь его тоже знаешь, так он построил себе тогда из водки роскошный дом.

— Да, да, построил, — подтверждает Ковальский. — Но откуда взять сырье? Ты думаешь, в первое время будет достаточно картофеля, чтобы из него делать водку?

— Это вообще неправильный подход. Сырья не будет ни на что. Для успеха в делах после войны требуется не логика, а хороший нюх.

Ковальский все еще сомневается, водка его не особенно прельщает, слишком жалко вбухивать в нее деньги.

— Собственно, хорошие шансы должны быть в текстильном деле. Носильные вещи всегда нужны, — говорит он.

— Пожалуй, ты прав. Сколько лет шили только солдатские брюки, солдатские шинели, солдатские гимнастерки, нормальные люди изнашивали свои старые вещи. А что это означает?

— Что?

— Что на них будет спрос.

— Да, но это только половина правды. Не забудь, Яков, что в то же время очень много вещей висели неношенные в шкафах, костюмы этих же солдат. Сегодня они, можно сказать, как новые.

— М-да, — задумчиво произносит Яков.

И дальше в таком же духе, они обдумывают несколько возможностей, Ковальский высказывает даже мысль сложить их деньги; может быть, их хватило бы, чтобы поднять настоящий ресторан со всякими современными штучками. Но Яков находит предприятие слишком рискованным, кроме того, со стороны Ковальского такое предложение наверняка несерьезно, Яков возвращается к первоначальному плану. А план такой: Ковальский должен остаться в своей старой парикмахерской, если же он не знает, куда деть свои припрятанные немножко денег, пусть оборудует ее по-модному, купит наконец новые стулья. Спрос туда, спрос сюда, а волосы и щетина на щеках расти будут всегда. И когда они подходят к станции, Ковальский уже опять почти парикмахер.

* * *

Лина выиграла спор, потому что Якову не под силу вечно вести неравный бой, он

показывает ей радио.

После нескольких дней безуспешных поисков — уже не было ничего, что она бы не осмотрела, — Лина переменила тактику: перешла к просьбам. Никто не умеет просить так, как Лина, особенно хорошо она знает, как просить Якова — лаской, слезами, потом сыграть обиженную, да так, чтобы совершенно его расстроить, потом опять слезы, и все представление сначала, с терпением и настойчивостью, против которых устоять невозможно. Яков держался три дня, затем силы его иссякли, и однажды вечером — Лина точно рассчитала, когда это случится, — она выиграла спор.

Для меня, наверно единственного, который еще жив и может вспоминать обо всем этом и строить догадки, тот вечер — самый необъяснимый во всей истории. Даже когда Яков, как мог, растолковал мне, что тогда происходило, я не совсем понял его действия. Я спросил:

— А не слишком ли ты далеко зашел? Она могла разболтать, и все было бы кончено.

— Что ты, — ответил Яков, улыбаясь, — Лина никогда бы меня не предала.

Я сказал:

— Я имею в виду, без всякого злого умысла, ненамеренно. Часто случается, что дети обронят необдуманное слово, кто-то его поднимет и построит из него целый дом.

— Ну нет, Лина точно знает, что где сказать. Она сначала все обдумает, — ответил Яков, и мне пришлось ему поверить, он конечно же знал лучше. Но было другое, что казалось мне вовсе уж непонятным.

— Не мог же ты быть уверенным, что она не разгадает твоей хитрости? Ведь она легко могла заметить, что происходило на самом деле, она умная девочка, как ты сам говоришь. Это какое-то отчаянное везение, что она ничего не поняла.

— Она поняла, — сказал Яков, и глаза у него стали очень гордые. — А знаешь, в конце концов, мне было все равно, замечает она или нет. Я просто хотел доставить ей радость, пусть будет, что будет, поэтому я пошел с ней в подвал. — И после паузы, которая показалась мне слишком короткой, чтобы понять тот вечер, он добавил: — Пожалуй, нет, мне было не все равно. Мне кажется, тогда я хотел, чтобы она все узнала. Я должен был наконец показать кому-нибудь мое радио, и из всех людей Лина была самая подходящая, самая лучшая для этого, с ней это было вроде игры. Все остальные пришли бы в ужас от правды, она же потом радовалась. Поэтому в тот вечер я ей сказал, теперь пойдем в подвал, будем вместе слушать радио. И я вдруг в этом месте улыбнулся и сказал:

— Если б я тогда знал, как много ты можешь, я бы пришел к тебе и попросил показать мне дерево.

А этого уже не мог понять Яков.

Пусть же пройдет перед нами тот вечер.

Волнение, любопытство, нетерпение, немножко страх. Лина ухватила за пиджак Якова, коридор в подвале длинный и темный. Железные двери, мимо которых они проходят на цыпочках, все заперты, будто охраняют богатства невообразимой ценности. Сыро и холодно, хотя на улице август. Яков настоял на том, чтобы Лина надела зимнее платье, чулки и платок, с потолка и стен свисают капли, дрожат и светятся, как слабые лампочки.

— Ты боишься?

— Нет, — решительно шепчет она в ответ и не очень грешит против истины: любопытство пересиливает все другие чувства. Что ни говори, а в конце коридора ее ждет та самая вещь, которую она напрасно искала столько дней, которую уже почти не надеялась найти, — так что же, теперь она скажет, я боюсь, лучше повернем обратно?

Наконец Яков останавливается почти перед самой последней дверью в длинном ряду, вынимает из кармана ключ, отпирает, зажигает свет, который лишь чуть светлее, чем полная

темнота.

Теперь опишем подвал, четыре квадратных метра без окна. Самое примечательное, что посреди помещения стена, которая делит его на два помещения, оставляя только узкий проход, по-видимому, подвал предназначен для угля. Перечисление предметов обстановки не займет много времени: железная кровать с заржавленной пружинной сеткой, остатки печки с обломками зеленого и коричневого кафеля и несколько труб, одна в форме колена. В углу рядом с дверью — единственная драгоценность, которая заслуживает быть запертой: немножко распиленных аккуратно сложенных досок, на которых несколько месяцев назад спал грубиян и браконьер Пивова, когда эти чурбашки представляли собой кровать. Затем бросим взгляд за перегородку, и там остатки печки, кирпичи, лопата, дырявое ведро и топор. И это все; я перечисляю их, не упуская ни одной мелочи, не потому, что эти предметы имеют какое-либо значение, а потому, что я приходил туда потом, когда искал свидетелей и следы несуществующих деревьев. Точно так же как я измерял рулеткой расстояние от участка до ближайшего угла, как я заходил в комнату Якова, куда поселили одинокую старую женщину, которой вообще ничего не было известно о судьбе прежних жильцов, жилищный отдел выделил ей эту комнату на первое время, таким же образом я попал и в этот подвал. Подвал, как и раньше, числился за этой комнатой, и пани Домник вручила мне ключ без лишних вопросов, она сказала только, что еще ни разу не спускалась вниз, у нее нет вещей, которые можно поставить в подвал, потому пусть я не удивляюсь, что там пыль и беспорядок, она тут ни при чем. И правда, там было пыльно и полно паутины, но беспорядка я не заметил, я нашел все на тех местах, как описывал мне Яков. Железная сетка от кровати на ножках, остатки печки, топор и ведро, даже поленья еще лежали возле двери.

Яков запирает дверь изнутри, Яков говорит: — Чтобы нам никто не мешал. — Потом: — Теперь садись сюда, — и показывает на железную кровать.

Лина успела немного осмотреться, пока что без всякого результата, тем не менее она усаживается без возражений, он мог бы потребовать от нее и других доказательств послушания — при таких-то обстоятельствах.

— Где же у тебя радио?

— Потерпи еще немножечко.

Яков становится перед Линой на корточки, берет за подбородок, поворачивает ее лицо к себе так, чтобы ни один ее взгляд не ускользнул от него, и начинает необходимые приготовления:

— Теперь слушай внимательно: прежде всего ты должна обещать мне, что будешь слушаться и сделаешь все, что я сейчас тебе велю. Честное-пречестное слово?

Честное-пречестное слово, установленное только для самых важных вещей, дается с поспешностью, глаза ее требуют, чтобы он не мешкал, длинные предисловия ни к чему.

— Ты сидишь здесь тихо-тихо и ни с места. Радио стоит там, за стенкой. Я сейчас пойду туда и включу, оно начнет играть, и мы вдвоем будем слушать. Но если я замечу, что ты встанешь с места, я сию же секунду выключаю.

— Я не могу на него посмотреть?

— Ни в коем случае! — говорит Яков решительным тоном. — Вообще-то и слушать таким маленьким нельзя, это строго запрещается. Но я сделаю для тебя исключение. Договорились?

Что ей остается, на нее нажимают, и приходится подчиниться. Слушать все-таки больше, чем ничего, хотя она так хотела на него посмотреть. Кроме того, она могла бы — мы увидим, что могла бы.

— И что же будет играть твое радио?

— Этого я заранее не знаю. Надо сначала включить.

Приготовления окончены, больше уже нельзя сделать для обеспечения собственной безопасности. Яков поднимается, подходит к перегородке, останавливается и еще раз бросает взгляд на Лину — взгляд, который должен приковать ее к железной кровати, — потом окончательно исчезает.

Глаза Якова еще не привыкли к полутьме в этой части подвала, он натывается на дырявое ведро.

— Это уже было радио?

— Нет, еще нет. Подожди минуточку.

Нужно найти что-нибудь, на что сесть, это представление с радио может затянуться, если Яков как следует разойдется. Он переворачивает ведро и устраивается поудобнее. Только теперь он спохватился, какую же программу предлагает слушателям радио? Лина еще раньше справлялась, самое время ответить. Ему бы заранее этим заняться, много чего надо было бы, например, немного подготовиться, а так придется радио играть наобум. Пусть оно передает музыку, пусть говорит, Яков вспоминает, что его отец когда-то, целую вечность назад, умел изображать голосом целый духовой оркестр, с тубами, трубами, тромбонами и здоровенными литаврами, можно было лопнуть со смеху, после ужина, если день прошел без особых неприятностей, а иногда Якову удавалось это даже еще лучше, чем отцу. Но удастся ли ему с первого раза такой оркестр, отец долго над ним трудился; Лина тихо ждет в своем зимнем платье, а Яков уже весь в поту, хотя представление еще и не началось.

— Включаю, — говорит Яков, что будет, то будет, надо начинать.

Он щелкнул пальцем по ведру, так включают радио, потом воздух наполнился шипением и свистом. Надо бы дать время приемнику разогреться, но на это наплевать, это тонкости для знатоков, у Якова радио сразу набирает нужную температуру, долго крутить ручку, чтобы поймать подходящую станцию, он тоже не стал. Диктор с высоким голосом, первое, что попало под руку. «Добрый вечер, дамы и господа, далекие и близкие слушатели, передаем беседу с английским министром сэром Уинстоном Черчиллем». Ведущий передает микрофон радиожурналисту, человек с голосом в среднем регистре начинает: «Добрый вечер, господин Уинстон».

Затем раздается голос самого сэра Уинстона, бас с сильным иностранным акцентом: «Всем добрый вечер».

Журналист: «От всего сердца приветствую вас в нашей студии. Разрешите задать вам первый вопрос: может быть, вы скажете нашим слушателям, какова, с вашей точки зрения, ситуация на сегодняшний день?»

Сэр Уинстон: «Ответить на этот вопрос нетрудно. Я твердо убежден, что эта заваруха скоро кончится, самое большее, через пару недель».

Журналист: «Разрешите спросить, откуда у вас такая приятная уверенность?»

Сэр Уинстон (в некотором затруднении): «Видите ли, на всех фронтах наши войска хорошо продвигаются вперед. Похоже на то, что немцам долго не продержаться».

Журналист: «Замечательно. А как обстоят дела в районе Безаники?»

Небольшая заминка, непредвиденная помеха, пот катится с Якова градом, воздух в подвале сырой, а может быть, что-то попало ему в нос, журналист, диктор и сэр Уинстон все попеременно чихают.

Журналист (он первый справился с неловкостью): «Будьте здоровы, господин министр!»

Сэр Уинстон (высморкавшись): «Спасибо. Но вернемся к вашему вопросу. В районе Безаники у немцев положение особенно плохое. Русские бьют их вовсю, Безаника давно в их руках. Как раз вчера они выиграли крупный бой на реке Рудне, если вы знаете, где она находится».

Журналист: «Да, я знаю, где эта река».

Сэр Уинстон: «Тогда вы знаете, где сегодня проходит фронт. Наверняка теперь осталось недолго».

Журналист (радостно): «Наши слушатели останутся очень довольны, если они, конечно, не немцы. Сэр Уинстон, большое вам спасибо за интересную беседу».

Сэр Уинстон: «Не стоит благодарности».

Диктор (после короткой паузы): «Это была, уважаемые дамы и господа, объявленная в нашей программе беседа с английским министром сэром Уинстоном Черчиллем. До свидания».

Щелчок по ведру, так выключают радио, Яков вытирает пот со лба. Не очень содержательное интервью и трудновато для Лины, но что поделаешь, по части фантазии ему далеко до Шолом-Алейхема, и этого, к сожалению, не изменишь, не требуйте слишком многого от измученного человека, на сегодня, он надеется, хватит.

Яков появляется из-за перегородки, оказывается, не только в районе Безаники положение блестящее, здесь в подвале дела обстоят еще лучше: Лина наконец собственными ушами слышала радио, которое детям слушать строго запрещается, и в восторге. Все могло оказаться гораздо хуже, говорить чужим голосом, да еще за трех, занятие для Якова совершенно новое, Лина могла ледяным тоном потребовать, чтобы ее больше не дурачили и чтобы Яков наконец включил настоящее радио. От одной этой мысли его едва не хватил удар, но ничего подобного даже в помине нет, все в наилучшем порядке, он это сразу видит.

— Тебе понравилось?

— Да.

Оба довольны, Яков стоит перед ней и собирается завести разговор о том, что время уходить, послушали, получили удовольствие, а сейчас пора в постель, но Лина говорит:

— Но ведь это не конец?!

— Как не конец?

— Мне хочется еще немножко послушать!

— Нет, нет, на сегодня достаточно, — говорит он, но это так, пустые слова, небольшая перепалка, уже поздно, Лина хочет слушать еще, может быть, в другой раз, ну хоть что-нибудь, ей все мало, пусть только еще раз включит радио, она на все согласна. Яков опять чихает, в этот вечер у всего света насморк, он подносит к лицу носовой платок и следит за ее взглядом, не замечает ни тени подозрения, это решает дело.

— Что же ты хочешь послушать?

И вот Яков сидит на ведре, в полной тишине, и ему уже хочется, да, хочется показать, на что он способен, он весь напрягся, как артист перед выходом на сцену, — а ну-ка, блеснем своим искусством. По части духового оркестра — он не выходит у него из головы, хотя оркестр молчал добрых сорок лет, инструменты в пыли и заржавели, но Яков рискнет, сегодня он вообще действует решительно.

Вначале был щелчок, потом шипение и свист, во второй раз это получается уже лучше, а потом стремительно начинается музыка, литавры и тарелки в первом такте, им вторит одинокий тромбон, которому нужно приспособиться, издать несколько звуков, прежде чем он находит верный тон. Мелодия неопределенная, Яков говорит, чистая импровизация, перемежающаяся различными популярными темами без всякой закономерности, одно можно утверждать с определенностью — это марш. Робко вступают ударные — ноги отбивают такт, поддержанные пальцами, отстукивающими ритм по ведру, а губы — весь остальной оркестр. Потому что одна-единственная литавра — она ведь еще не делает музыки, она одна — не духовой оркестр, ее должна сменить труба, а ту в свою очередь свистящий звук кларнета и время от времени ради разнообразия низкий звук тубы, исторгнутый откуда-то из самой глубины горла. Как

рассказывает Яков, он разошелся вовсю, единственное правило — он помнит только одно правило, которое тогда строго соблюдал отец, — а именно, не увлекаться гласными, по возможности совсем избегать их. Потому что инструменты высказываются только в среднем регистре, солидными голосами, иначе говоря, только звуками, которые можно изобразить согласными, они отдаленно на них похожи. Значит, никаких там тра-ра-ра и ля-ля-ля, требуется вызвать к жизни звуки, не обозначенные ни в одной азбуке, подвал сотрясается от сочетаний, которые уха человеческого никогда не касались. Можно было бы подумать, чересчур много стараний для такого ребенка, как Лина, она удовольствуется не столь отточенным исполнением, но вспомните, здесь играет роль и артистическое самолюбие, это экзамен, который Яков сдает добровольно, настоящее искусство не подчиняется стеснительным ограничениям. И вот уже тональность соблюдается без затруднений, труба и литавры перехватывают друг у друга тему, перекидываются фразами и приводят ее почти всегда к счастливому концу. Кларнет поневоле отходит все больше на задний план, у него слишком ненатуральный высокий тон, зато все чаще слышно тубу, она отваживается время от времени сыграть соло, вариации в нижнем регистре, когда же не хватает дыхания, она прячется за двумя-тремя тактами на ведре.

Одним словом, написана еще одна страница истории музыки, Яков наслаждается триумфом, а Лина не может больше усидеть на железной кроватной сетке. Она неслышно встает, забыты все честные-пречестные слова, ноги беспрекословно крадутся по направлению к перегородке. Она должна увидеть эту штуку, у которой голос похож на Якова и вместе с тем какой-то другой, у нее много разных голосов, она может чихать, как Яков, и из нее раздается такой странный шум. Только один раз взглянуть. Один только взгляд, даже ценой обманутого доверия, невозможно сопротивляться своим ногам, когда они сами несут тебя туда. Между тем вовсе не требуется такой осторожности, грохот от этой штуки перекрывает все другие звуки — и все-таки она крадется. До узкого прохода, как раз в этот момент, когда литавра окончила мастерски исполненное соло и передала тему трубе, Лина осторожно просовывает голову за угол. Невидимо для Якова. Во-первых, он сидит сбоку, и к тому же крепко закрыл глаза, признак наивысшей концентрации физических и душевных сил, он самозабвенно стучит, подчиняясь только ему известным правилам. Нет, Яков не замечает, что несколько секунд его видели голым и неприкрытым, только потом он начнет что-то подозревать из-за туманных намеков Лины, и лишь гораздо позднее она скажет ему прямо в лицо обо всем, что происходило в действительности тогда, в том подвале. Пока ей достаточно нескольких секунд, чтобы увидеть и удивиться, теперь она знает точно, эта штука выглядит точь-в-точь как Яков. Затем остается один-единственный вопрос, она осведомится, есть ли у него, кроме этого радио, еще одно, скорее всего, у него нет никакого вообще, иначе где бы он его прятал, если не здесь, Лина знает то, чего не знает никто. Она тихо садится на место, удовольствие от концерта не становится меньше, но теперь к нему примешиваются кое-какие мысли, которые никого не касаются.

Потом марш заканчивается, но представление продолжается. Когда Яков появляется, измученный и радостный, с запекшимися губами, Лина восторженно требует исполнения на бис, пусть радио сыграет еще что-нибудь. Это для него доказательство, что она ничего не заподозрила, это должно быть доказательством, так он думает, если этот марш ему удался, тогда уже ничего плохого с ним случиться не может.

— Но это самое последнее, — говорит Яков.

Он снова занимает исходную позицию, теперь он собирается включить другую станцию, по которой рассказывают сказки, там выступает симпатичный дядя, он говорит:

— Для всех маленьких слушателей дядя-сказочник рассказывает сказку о больной принцессе.

У него голос, похожий на голос сэра Уинстона Черчилля, только не такой громкий и,

разумеется, без иностранного акцента.

— Ты знаешь эту сказку? — спрашивает Яков, владелец радио.

— Нет, не знаю. А откуда в радио есть дядя-сказочник?

— То есть как это откуда? Есть и все.

— Но ты же сказал, что детям радио слушать запрещается.

— Правда. Но я хотел сказать, что у нас в гетто запрещается. Там, где нет гетто, там дети могут слушать. А радио есть везде. Понятно?

— Понятно.

Дядя-сказочник, немножко расстроенный этой помехой, но достаточно справедливый, чтобы признать, что сам виноват, снимает пиджак, кладет его на ведро, потому что оно твердое, с острым ободком, а сказка — одна из самых длинных, если у него вообще хватит на нее воображения. О Господи, как это было давно, надо же, именно сейчас ему вспомнилось: отца сказки не касались, это было дело матери, бывало, ты уже лежишь в постели и ждешь, и ждешь, пока она кончит всю домашнюю работу и придет к тебе, и почти всегда засыпаешь, не дождавшись. Но иногда она все-таки присаживалась к тебе, просовывала теплую руку под одеяло тебе на грудь и рассказывала истории. О разбойнике Яромире с тремя глазами, который мог спать только на холодной земле, потому что не находилось для него кровати, где он мог бы уместиться, о коте Рашке, который не хотел ловить мышей, а только птичек, пока не увидел летучую мышь, и об озере Шакун — ведьма Двойра заставляла всех детей плакать в него, пока оно не вышло из берегов и ведьма Двойра, так ей и надо, злодейке, утонула в нем, — и однажды сказку о больной принцессе.

— Когда же наконец начнется? — спрашивает Лина.

— Сказка о больной принцессе, — объявляет сказочник. И рассказывает, как добрый старый король, которому принадлежала большая страна, и шикарный дворец, и к тому же еще дочь — старая история, — как этот король однажды страшно испугался. Потому что он ужасно любил ее, свою принцессу, и, когда она падала и слезы катились у нее из глаз, он и сам плакал, так он ее любил. А испугался он потому, что однажды она не захотела вставать с постели и выглядела совсем больной. Тогда стали искать по всей стране самого дорогого врача, чтобы он сделал ее здоровой и веселой, но врач, сколько ни слушал и ни выстукивал со всех сторон, развел руками и не знал, что делать. Очень сожалею, господин король, я ничего не могу найти, никакой болезни. Ваша дочка заболела такой болезнью, которой я в жизни не встречал. Тогда добрый король еще больше испугался, он сам пошел к принцессе и спросил, пусть скажет, ради Бога, что такое с ней стряслось и чего бы ей хотелось. И тогда она сказала ему, что хочет получить облако, когда она его получит, она сразу выздоровеет. Но настоящее, прибавила она. Вот тут-то все испугались не на шутку, потому что каждый может себе представить, что совсем непросто раздобыть настоящее облако, даже для короля. От огорчения король целый день не мог управлять, а вечером приказал отправить письма всем мудрецам своей страны, в которых говорилось, что они должны сию минуту бросить все дела и немедленно прибыть к нему в королевский дворец. На следующее утро они уже все собрались, доктора и министры, звездочеты и предсказатели погоды, и король встал на свой трон, чтобы каждый в зале мог его хорошо видеть, и закричал: «Тихо!» Тогда в зале стало совсем тихо, и король объявил: «Тому из вас, мудрые мужи, кто достанет моей дочери облако с неба, я дам столько золота и серебра, сколько уместится в самой большой повозке во всей моей стране!» Когда мудрецы услышали эти слова, они, не сходя с места, начали все выяснять, обдумывать, размышлять, так и сяк рассчитывать. Потому что много золота и серебра захотели получить все, почему бы нет? Один особенно хитроумный взялся даже строить башню высотой до неба. Он подумал, когда башня будет готова, он заберется наверх, схватит облако, и награда у него в кармане, то есть на самой

большой повозке. Но башню не достроили еще до половины, как она упала. И другим не посветило счастье, никто из мудрецов не смог достать для принцессы облако, которое ей так хотелось иметь. Она стала совсем худой и выглядела очень больной, с каждым днем она худела и худела, потому что не брала в рот ни крошки, даже мацу не ела.

В один прекрасный день сынишка садовника, с которым принцесса иногда играла во дворе, когда была еще здоровой девочкой, заглянул во дворец проверить, стоят ли во всех вазах цветы. И тогда он увидел, что она лежит в постели под шелковым одеялом, белая как снег. Все дни он ломал себе голову, почему она не выходит поиграть, но не знал причины. И поэтому он спросил ее: «Что с тобой, принцессочка? Почему ты не выходишь на солнышко?» И тогда она ему тоже сказала, что она больна и не выздоровеет, пока кто-нибудь не принесет ей облако. Сын садовника немножечко подумал, а потом воскликнул: «Но это же очень просто, принцессочка!» — «Как? Ты говоришь, это просто? — спросила удивленная принцесса. — Все мудрецы бьются и не могут придумать, а ты говоришь, что это совсем просто?!» — «Да, — ответил сын садовника, — ты должна мне только сказать, из чего состоит облако». Тут принцессе стало так смешно, что она рассмеялась бы, если б не была так слаба. «Ну и дурацкие вопросы ты задаешь! — ответила она. — Каждый ребенок знает, что облака состоят из ваты». — «А теперь скажи мне еще, какой величины облако». — «Даже этого ты не знаешь? — удивилась она. — Облако величиной с мою подушку, можешь сам убедиться, если отодвинешь занавеску и посмотришь на небо». Тогда сын садовника подошел к окну, бросил взгляд на небо и воскликнул: «Действительно! Точно такое же, как твоя подушка!» С этими словами он вышел и принес принцессе кусок ваты такой же величины, как ее подушка.

Остальное я рассказывать не буду, каждый может легко представить себе, как глазки у принцессы снова стали ясными и веселыми, а губы румяными, и как она выздоровела, и как обрадовался добрый старый король, и как сын садовника не захотел получать обещанную награду, а захотел лучше жениться на принцессе, и они жили долго и счастливо, такую историю рассказывал Яков.

Скорее всего, это было в тот же вечер, а может быть, за день до того или через день после, нежная красавица Роза лежит рядом с Мишей в кровати и слушает о битве на реке Рудне. Миша рассказывает о ней тихо, но не шепотом, говорить шепотом и говорить тихо — между этими двумя вещами большая разница. Вы спросите, почему он не говорит шепотом? Вы спросите также, почему шкаф не стоит теперь посреди комнаты, а как положено, у стены, и почему занавеска висит на окне, вместо того чтобы делить помещение на две половины? Где ширма, спросите вы с удивлением, почему Роза лежит вдруг без ничего, хотя свет еще горит, почему она перестала стесняться? Посмотрите, будьте любезны, на вторую кровать, вы увидите, что она пуста, и все вопросы сведутся к одному: куда девался глухонемой Исаак Файнгольд с его острым слухом?

Я этого не знаю, так же, как не знает этого Миша, а Роза тем более, неделю назад он ушел рано утром, как обычно, на работу и с тех пор пропал. В первый вечер не заподозрили плохого, Миша подумал, он, наверно, зашел навестить знакомого, заболтался, потом только спохватился, что больше восьми, поздно выходить на улицу, лег на пол, так и переночевал. «Как заболтался? — спросила Роза недоверчиво. — Ведь он глухонемой!» — «А ты думаешь, глухонемые не могут разговаривать? — нашелся Миша. — Ты думаешь, что им приходится вечно держать свои мысли про себя, все, что приходит им в голову? Ничего подобного, они могут объясняться точно так же, как и мы с тобой, только знаками».

Но и на второй день Файнгольд не вернулся, и на третий тоже нет, потому Миша на четвертый день пошел к единственному знакомому Файнгольда — о других Миша не слышал, — к Гершлю Прашкеру, тому, что работает вместе с Файнгольдом в бригаде

уборщиков, чистит улицы от мусора и от умерших с голоду, но Прашкер тоже понятия не имел. Он сказал: «Я собирался завтра зайти к нему на квартиру, узнать, почему он не является на работу. Они за ним придут, он же у них в списке». — «Когда он в последний раз был на работе?» — «Во вторник». — «А в среду утром он вышел из дому как обычно».

Он никогда больше не пришел, никогда не вернулся домой, может быть, он сбежал, или разбился насмерть, или его арестовали прямо на улице. За то, что он не умер и не разбился, говорит то обстоятельство, что его нигде не нашли, об этом справлялись. За то, что он не готовился убежать, говорит тот факт, что все его вещи до одной остались лежать в шкафу, даже фотография внука, с ней бы он ни за что не расстался, ее он берег, как сокровище. Остается арест на улице, почему — загадка. Файнгольд всегда был услужливый человек, не нарушал, не дай Бог, законы, но ведь не даром говорится, если есть желание, найдутся и средства. Из всего этого и вытекает, почему Миша рассказывает о сражении при Рудне тихим голосом, но не шепотом.

Уже два вечера подряд Роза лежит рядом с Мишей, такого раньше еще не случалось. Франкфуртер как человек искусства вообще-то придерживался широких взглядов, но считал нужным предупредить: ну ладно, дети, вы любите друг друга, это можно понять; но не надо уж слишком. Поэтому, а также из-за сдержанности Розы не так много ночей они провели вместе, Миша должен уговаривать ее каждый раз, будто это ее первая ночь. А тут уже вторая подряд. Роза представляет себе, так, примерно, должно быть, когда люди женаты, но, по правде говоря, ей не очень хорошо. И не Миша тому причиной, он не стал вдруг другим, чем раньше, более несдержанным или, не дай Бог, бесстыдным, нет, он ей сегодня не менее дорог, ни чуточки, она смотрит на него с такой же любовью, как в первый день. Или, скажем, как в пятый. Причина — пусть это многим может показаться непонятным — Исаак Файнгольд. Странно, но к его присутствию привыкли. Как можно привыкнуть к кому-то, кто только мешает, какой он ни глухонемой? В такой ситуации, когда само собой разумеется, что люди должны находиться наедине? Как же можно привыкнуть? Можно и нельзя, сейчас мы объясним: во-первых, в этой комнате Роза впервые подарила Мише свою любовь, в присутствии Файнгольда, он был здесь с первой секунды, они привыкли любить друг друга так, чтобы, не дай Бог, этого не заметил Файнгольд. Во-вторых, кровать Файнгольда не просто пуста, нет, Файнгольд никогда не будет лежать в ней, а это уже совсем другое дело. Каждый взгляд за ширму, взгляд, который теперь бросать туда ни к чему, напоминает о его неизвестной судьбе, правда, чем больше ломаешь себе голову, тем яснее, что неизвестно, собственно говоря, только то, какой смертью он умер. И в третьих и последних, когда Миша сказал ей, что Файнгольд пропал, в глазах ее отразилось изумление, как и следовало ожидать, но через минуту изумления уже не было, и она поймала себя на том, что подумала: наконец. «Наконец» относилось не к Файнгольду, ему она желала всего самого лучшего, это относилось только к ней и Мише, и должно было означать — наконец одни, наконец без оглядки на третьего, наконец свободный уголок для нас двоих. Она поймала себя на этой мысли, и ей стало неприятно, она посчитала ее постыдной и все-таки опять подумала: наконец. А потом она еще подумала, как хорошо, что Миша не знает, что она оказалась такой эгоисткой, и еще она подумала, что случилось с Файнгольдом, то случилось, а мысли, которые держишь при себе, — они на жизнь повлиять не могут.

Но они повлияли на жизнь, не все так просто. Несколько дней подряд она отговаривалась то одной, то другой причиной, почему не может пойти с Мишей к нему в комнату, и он, разочарованный, уходил. До вчерашнего дня, когда она уже не могла найти повода для отказа или не хотела, и он ее спросил: «А сегодня почему ты не идешь?» Она ответила: «Я же иду!» И тогда он сказал это слово: «Наконец!»

Они пришли к нему в комнату, Миша еще раньше все переставил, потому что теперь

можно было считать — Файнгольд больше не придет, окончательно и бесповоротно. Шкаф стоял, как уже было сказано, у стены, занавеска висела на окне, Роза остановилась, ей надо было сначала привыкнуть. Потому что такой она эту комнату еще не видела. Конечно, ей бросилась в глаза аккуратно застеленная кровать Файнгольда, как будто она предчувствовала, что с этой кроватью у нее еще будут неприятности. Она спросила:

— Что за коробка?

— Его вещи. На случай, если за ними кто-нибудь придет, — сказал Миша. И им сразу стало легко.

Прошло какое-то время, они легли в постель, но долго лежали молча и неподвижно, и не было радости, как все оказалось по-другому в этот вечер, свет еще горел. Миша повернулся на бок, она лежала на спине, потому что кровать была слишком узка для того, чтобы оба лежали на спине. Бросив взгляд на застеленную кровать Файнгольда, он спросил:

— Как ты думаешь, не могли бы мы...

— Пожалуйста, нет, — перебила она испуганно.

— Ну хорошо, не надо.

Он погасил свет, положил руку ей под голову, так всегда у них начиналось, и хотел ее поцеловать, но она отвернулась. Пока он не спросил:

— Что с тобой?

— Ничего.

Какое-то время он раздумывал, что означает «ничего», а потом сказал:

— Но ведь ты его все равно что и не знала? А если бы и знала, что мы можем изменить?

Он снова попытался ее поцеловать, на этот раз она разрешила, разрешила и только, не ответила на его ласку. Скоро он понял, что ничего у него с ней сегодня не получится, тогда он закрыл глаза, подождет до подходящего настроения, и заснул. И только это единственное было как всегда, он всегда засыпает первым.

Среди ночи Роза его разбудила, он не рассердился, он надеялся, что она наконец передумала, а для этого приятно быть разбуженным.

— Мне нужно тебе кое-что сказать, Миша, — шепнула она.

— Давай, говори.

Но она продолжала молчать, и он неправильно понял ее молчание, притянул к себе и коснулся губами ее лица и почувствовал, что оно все мокрое и соленое, начиная от глаз и ниже. Он страшно испугался, потому что привык к тому, что она редко смеялась и никогда не плакала, даже когда ее единственную подругу посадили на поезд полгода назад, она не могла плакать, молчала как убитая несколько дней. И вдруг все лицо мокрое, есть от чего испугаться, но она не всхлипывала, не жаловалась, она просто безмолвно плакала, он бы не проснулся, если бы она его не разбудила. И если судить по ее голосу, все уже как будто прошло.

— У меня к тебе просьба, она покажется тебе странной.

— Ну скажи.

— Пусть комната будет, как раньше.

— Что значит, как раньше?

— Чтобы шкаф стоял посередине. И занавеска.

— Но к чему? Ведь Файнгольда нет!

— Мне так хочется, — сказала она.

Это действительно показалось ему странным, сначала странным, потом он посчитал это капризом, потом нашел глупым, а потом просто смешным. Он вспомнил, что когда-то слышал или читал о беспричинных капризах женщин и что рекомендуется с самого начала им не поддаваться. Вся эта перестановка не заняла бы у него и десяти минут, но он сказал:

— Только если ты мне назовешь разумную причину.

— Мне так хочется, — сказала она.

А это не было разумной причиной, при всем желании нельзя было считать это разумной причиной, и он решительно воспротивился. Он сказал, хоть ей делает честь то, что она так близко к сердцу принимает исчезновение Файнгольда, правда, она его совсем не знала, только слышала, как он дышит и храпит, но в конце концов, в гетто каждый день пропадают люди, которых она тоже не знает, и если по поводу каждого устраивать такой спектакль, то выдержать это просто невозможно. А она назвала его бесчувственным бревном, и, если бы не приказ насчет восьми часов, она бы наверняка встала, оделась — и прощай. А так она только повернулась к нему спиной, чтобы он заметил, как она его презирает.

На следующий день, сегодня, значит, он встречал ее возле фабрики, потому что у нее дома, в присутствии родителей, помириться было бы гораздо труднее. И так это примирение далось достаточно трудно, не из-за нежелания, а потому что у них не было опыта в том, как кончать ссору. В конце концов они оба признали, что вели себя не совсем правильно, поцеловались в каком-то подъезде, и снова можно было вздохнуть свободнее. Они зашли к ней домой, чтобы предупредить, где она останется ночевать. Франкфуртера это не привело в восторг, он не мог знать, что вчерашняя ночь, можно сказать, прошла даром, Миша слышал, как фрау Франкфуртер тихо сказала мужу: «Пусть идет!»

Все, можно отправляться к нему, они оба изо всех сил стараются быть ласковыми друг с другом, после ссоры каждый хочет показать себя с лучшей стороны, но чувствовалось, что должно пройти какое-то время, пока все будет, как раньше.

Миша рассказал ей о сражении на Рудне, вернее — ведь мы опять вернулись к нашей истории, — Миша тихо рассказывает ей о сражении на Рудне, сегодня он услышал о нем от Якова, что называется, самые свежие новости из эфира. Роза сияет, ей известно, где протекает Рудна и как далеко продвинулись русские со времени победы у Безаники, она не прочь помечтать, пожалуй, можно себе позволить строить планы. Но Миша вовсе не настроен обсуждать планы именно сейчас, в эту минуту, они никуда от него не убегут, так может даром пройти этот второй вечер подряд, и он тушит свет. Вечер принадлежит Розе, хватит говорить о победах, прошлая ночь все равно что пропала. Забыты Рудна, и Файнгольд, и сказанные в раздражении слова, они радуются близости, Миша просовывает руку ей под голову, так всегда у них начинается, все будет хорошо, раз это зависит от их желания. Но оказывается, не все может сделать одно желание быть счастливым, они ловят себя на том, что невольно сравнивают — теперь вот так, собственно, никакой разницы, все, как было раньше, они лежат рядом и смотрят друг на друга. Может быть, они даже слышат, что из другой половины комнаты! им не мешает чужое дыхание. Скажем откровенно, им не очень удастся наверстать упущенную прошлую ночь, хотя они в этом никогда не признались бы и делают вид, что счастливы и довольны, как молодые влюбленные.

Оставим их и пожалеем немножко, в надежде, что снова наступят менее грустные времена, надежду у нас никто не отнимет. Послушаем только, как Миша в минуту сладкого примирения с улыбкой спрашивает о том, о чем ему лучше не спрашивать: «Ты все еще хочешь, чтобы шкаф и занавеска перегораживали комнату?»

Он говорит и — стоит заметить — при этом улыбается, конечно же он не сомневается, что сейчас Роза смотрит на вещи другими глазами, что она ответит: мол, это был с ее стороны глупый каприз, она сама не знает, что на нее вчера наехало, и самое лучшее — забыть поскорее этот печальный инцидент.

И послушаем только, что отвечает Роза: «Да, пожалуйста».

Якову пришлось собственными ушами услышать, в каком искаженном виде передается его информация.

Яков собирается зайти на чердак к Лине, ей еще рано спать, но ведь нужно следить не только за тем, чтобы она как следует умывалась, чистила зубы и вовремя ложилась в постель. На товарной станции нас отпустили сегодня на два часа раньше, грузить было нечего, у охранников не было никакой охоты сторожить празднующихся, и они приказали нам убираться оттуда. Некоторые особенно дальновидные политики высказывали смелые предположения в том духе, что за этим приказом кроется нечто гораздо большее, чем просто лень, может быть, господа охранники хотят к нам подлизаться, ведь они могли держать нас здесь два часа без дела. А они скомандовали построиться и отпустили по домам, кто знает, не свидетельствует ли этот будничный факт о том, что в дверь стучатся новые времена.

Так или иначе, провести с Линой два свободных часа — это хорошо, так считает Яков, — он берется за ручку двери и слышит, что она не одна. Он слышит голос Рафаэля, который осведомляется:

— Про что вообще говорили?

— Про принцессу.

— Ее украли?

— С чего ты взял?

— Конечно, ее украли. Ее украл разбойник. Он хочет получить за нее громадный выкуп, но принц его убивает и освобождает принцессу. А потом они женятся.

— Ну и ерунду ты болтаешь! — говорит Лина серьезно. — Это совсем другая история. Ты что, думаешь, есть только одна сказка про принцессу?

— Так давай, рассказывай!

— А Зигфрида не подождем?

— Он, может, вообще не придет.

Яков слышит, как они ждут Зигфрида, окошко на чердаке с шумом открывается, Рафаэль кричит басом: «Зигфрид!»

Потом он говорит, что Зигфрида нигде не видно, и через минуту Линин голосок визжит и требует, чтобы Рафаэль сию же минуту прекратил глупости. Какие глупости — Якову неизвестно, но тот, по-видимому, не прекратил сию же минуту, а потом он спрашивает:

— От кого ты слышала эту сказку?

— От дяди Якова.

Есть о чем подумать, когда подслушиваешь под дверь. Яков никогда не рассказывал ей сказки о принцессе — он помнил бы об этом, — ее рассказывал дядя-сказочник, а она, нисколько не смущаясь, превратила двух различных людей в одного. Стоит призадуматься, может быть, Яков и марш играл, и вопросы задавал, и отвечал на них. Или Лина оговорила в спешке, или, что было бы самым лучшим, решила солгать, чтобы не выдавать радио. Это остается невыясненным, придется поговорить с ней об этом потом.

— Он не придет, теперь начинай, — говорит Рафаэль.

Так и происходит. Лина откашливается, Яков наострил уши, он еще ни разу не слышал, как распространяется его информация.

— Жил один король, он был старый и добрый, и у него была дочь, принцесса, — начинает Лина.

— Как звали короля?

Лина, кажется, задумалась, были ли вообще упомянуты имена, Рафаэль считает, что она думает слишком долго, он говорит:

— Должна же ты знать, по крайней мере, как его звали!

— Его звали Бенъямин, — вспоминает Лина. — А принцессу звали Магдалена.

— Как его звали? Бенъямин? Ты знаешь, кого зовут Бенъямин? Моего дядю в Тарнополе, вот кого так зовут! Но не короля!

— Можешь верить, можешь нет, короля в сказке звали Бенъямин.

— Ну ладно, пусть, — великодушно соглашается Рафаэль. Не отказываться же из-за имени от сказки, Яков почти уверен, что он стоит, скрестив руки на груди, в позе милостивого повелителя.

Лина продолжает, но поспешнее, такое впечатление, будто она в некотором замешательстве, будто ждет, что ей опять не поверят.

— Однажды принцесса заболела. Врач ничего не мог найти, потому что не знал этой болезни, но она отказывалась есть хлеб, и пить она тоже не хотела. Тогда король пришел к ней сам, он ее, между прочим, ужасно любил, это я забыла сказать. Тогда принцесса ему сказала, она не выздоровеет, пока кто-нибудь не принесет ей кусок ваты, такой большой, как ее подушка. И тогда старый король...

Но дальше она не продолжает, с Рафаэля достаточно, он изо всех сил старался слушать внимательно, но что слишком, то слишком, он многому готов поверить, но есть же границы.

— Что за болезнь была у твоей Магдалены?

— Ты же слышал.

— А я тебе говорю, такой болезни нет вообще! Во всем мире!

— Ты не можешь знать!

— Если бы у нее была хотя бы корь, или коклюш, или тиф, — говорит потрясенный Рафаэль. — Знаешь, что у принцессы на самом деле было? В голове у нее пердело, вот что!

Он смеется, гораздо громче, чем Яков, но Лина не находит в его объяснении ничего смешного. Она спрашивает:

— Ты хочешь слушать, что дальше было?

— Не хочу, — заявляет Рафаэль, продолжая смеяться. Всегда самые лучшие остроуты — его собственные. — Вся эта история — сплошная ерунда. Сначала король — где ты во всем мире найдешь короля, чтобы его звали Бенъямин? А потом, если ты хочешь знать, принцессы никогда не едят хлеба, а только пироги. А самая большая ерунда — это ее болезнь. Ты когда-нибудь слышала, что можно заболеть оттого, что у тебя нет ваты?

Доказательства Рафаэля, очевидно, производят на Лину впечатление, во всяком случае, она молчит, будем надеяться, что не плачет, думает Яков. И он остается при том мнении, что она умная девочка, ошибки случаются у каждого, необычная обстановка в подвале, волнение, из-за этого она поняла его неправильно, а может быть, в ее возрасте переносный смысл еще недоступен ребенку. Яков опять взялся за ручку двери, надо вмешаться, утешить и объяснить, они еще, не дай Бог, пустят в ход кулаки. Ведь можно войти как ни в чем не бывало, здравствуй, Лина, здравствуй, Рафаэль, ты хорошо сделал, что зашел, как поживает мама? Потом разговор сам собой зайдет о предмете спора, каждая сторона представит его по-своему, успокойтесь, дети, сначала пусть скажет один, потом другой. А потом, конечно, найдутся примиряющие слова, неясное покажется в новом свете, нет никакой причины злиться друг на друга, на самом деле все обстоит так-то и так-то, и в конце — мир, спокойствие и дружба. Итак, он хочет броситься в гущу битвы и вдруг слышит голос Рафаэля:

— Когда твой дядя опять будет рассказывать тебе сказку, скажи ему, пусть выдумает что-нибудь получше, чем эта ерунда. А у принцессы в голове здорово пердело!

Дело не дошло до вмешательства, дверь открывается, Якову опять повезло с дверью, она открылась наружу и подарила Якову убежище, Рафаэль удаляется искать более стоящее развлечение, наверняка он собирается найти Зигфрида и рассказать ему все. Слышно, как он сбегает вниз по лестнице, он насвистывает «В стране лимонов и апельсинов», продолжает свистеть и в то время, когда побежденная Лина кричит ему вслед, чтобы, как полагается, оставить последнее слово за собой:

— И все-таки у нее была такая болезнь! И сын садовника раздобыл ей вату! И она от этого выздоровела, и они поженились!

Все было сказано, хотя и нежелающему слушать, внизу замирает песенка, входная дверь захлопывается, на самом верху разочарованно показывают длинный язык, дверь на чердаке в сердцах дергают на себя. Яков, как и вначале, стоит перед входом, теперь он уже не так уверен, что лучше всего провести эти два подаренных часа с Линой, теперь он в этом сомневается. Он говорит мне, было забавно послушать, как спорят эти дети, но вдруг ему расхотелось туда входить, вдруг он почувствовал страшную усталость. Он захотел оставить эти два часа себе. И он спрашивает, не скучно ли мне слушать такие подробности, и чтобы я ответил ему без всякого стеснения. Я говорю: «Нет».

Яков отправляется гулять, отдыхать можно не только в тесной комнате и с детьми, к которым привязался всем сердцем, он еще не разлюбил бродить по улицам, несмотря на прожекторы и немецкий участок. По городку, из которого ты в своей жизни никогда не уезжал больше чем на неделю, солнце ласково освещает твой путь, и так милы тебе воспоминания, ради которых ты только и вышел из дому, и каждая улица — мостик в прошлую жизнь. Два раза завернуть за угол — и ты перед домом, в котором он как часто решалось, удачной ли будет для тебя следующая зима. В этом доме жил не кто другой, как Аарон Эрлихер, оптовый торговец картофелем. От того, какую цену он назначал, зависело очень многое, цена картофельных оладий, а значит, и торговля. Он никогда не допускал, чтобы с ним торговались, столько-то, и ни гроша меньше, если это для вас слишком дорого, господин Гейм, пожалуйста, поищите, где вы получите картофель дешевле. И если вы найдете такое место, будьте так любезны, дайте мне знать, я тоже с удовольствием там куплю. Ни разу он не разрешил с собой поторговаться, однажды Яков сказал ему: «Господин Эрлихер, вы не коммерсант, вы просто продавец картофеля». Конечно, только в шутку, но почему-то оглушительного хохота Эрлихера он в ответ не услышал. Так он и не смог понять, был ли этот Эрлихер таким же бедняком, мелкой сошкой, как он сам, или коммерсантом более высокого класса. Жена его носила красивую коричневую шубу, а дети были толстые, круглые и заносчивые, в конторе же его, маленькой и убогой, пахло плесенью, только стол, стул и голые стены, он горестно вздыхал, указывая на обстановку, и спрашивал: «Вы же видите, могу я снижать цену?»

Теперь там живут незнакомые люди, ты перелистываешь страницу с Аароном Эрлихером и идешь дальше, два подаренных часа — много времени, идешь на Либавскую улицу прямо до номера тридцать восемь. Ни к одному дому ты не ходишь так часто, как к этому, когда выпадает тебе погулять, ни перед одним не стоишь так долго, на то есть своя причина. И на то есть причина, что ты заходишь в темный мрачный двор, на все есть причины, — чужие глаза с подозрением смотрят на тебя через окна — что нужно постороннему здесь, в их дворе, но не такой уж ты здесь посторонний.

На четвертом этаже за последней дверью по коридору налево, там ты, выражаясь высокопарно, проиграл или выиграл свое счастье, ты не мог решиться, когда дело дошло до решения, и до сегодняшнего дня не знаешь, хорошо это оказалось для тебя или плохо. Иосефа Литвин спросила тебя прямо, на что она может рассчитывать, а ты не придумал ничего умнее, как опустить голову и пробормотать, что тебе нужно немножко подумать.

Женщина — высший сорт, если в этом деле решают глаза; ты увидел ее впервые в поезде и сразу подумал: вот это да! Хороша, ничего не скажешь! На ней было платье из зеленого бархата с белым кружевным воротничком и шляпа, не меньше, чем раскрытый зонтик. Самое большее, лет тридцать пять, как раз для тебя в твои тогда сорок, в смысле возраста как раз для тебя. Но тогда, в купе вагона, тебе и во сне не могло присниться, что напротив тебя сидит твоя самая трудная проблема следующих нескольких лет. Ты только глазел на нее, как молодой идиот, может быть, она и не обратила на это внимания. Случайно или не случайно, когда вы вышли вместе на перрон, носильщика поблизости не оказалось, она спросила тебя, не смог бы ты донести ей тяжелый чемодан, она живет совсем недалеко, на Либавской улице, тридцать восемь. Но она спросила тебя не так, как спрашивают человека низкого положения, которому собираются заплатить за услуги, хоть и тогда бы ты! ей не отказал, просто слабая беспомощная женщина так мило просит об одолжении. Тебя как кавалера. Обрадованный, ты сказал: «Конечно, что за вопрос!» Схватил ее чемодан, будто испугался, что поблизости может все-таки показаться носильщик, и побежал за ней до номера тридцать восемь, до дверей ее квартиры. Там ты поставил чемодан, вы смущенно улыбнулись друг другу, потом она мило поблагодарила тебя и сказала: «До свидания». А ты постоял еще немножко и подумал: жаль.

Через несколько недель, и это уже точно был случай, она зашла часов в пять в твое кафе с каким-то мужчиной. Ты сразу ее узнал, без всякого на то права разозлился на того мужчину, но потом обрадовался, потому что она тоже тебя узнала. Вы не обменялись ни словом, они заказали лимонад и малиновое мороженое, ты наблюдал за ними и не мог определить, кто они друг другу, да и к чему тебе это.

Но когда уже на следующий день она пришла опять, к тому же одна, тогда ты понял, что это не случай. Впервые ты обрадовался, что в твоём кафе было пусто, кроме нее, в зале никого не было, и сразу же на следующий день. Ты присел к ней за столик, вы поболтали, познакомились, она уже четыре года, как вдова часового мастера. За мороженое, которое она съела, ты, само собою разумеется, не дал ей заплатить, ты угощаешь, сегодня и всегда, в любое время, когда она захочет. Про вчерашнего своего спутника она сказала, что он ее знакомый, не очень близкий, он не причина, чтобы им не встречаться, и вообще нет причин не встречаться. Значит, завтра у него в кафе, потом еще раз в кафе, потом в другом ресторане, что называется, в нейтральном месте, потанцевали, как того требуют приличия. Потом у тебя дома, о ее скромных, но вполне приличных достатках ты уже осведомлен, о бедности нет и речи, детей у нее нет, и наконец в доме тридцать восемь. Чашечка чаю и печенье, которое она испекла сама, в воздухе нежно и сладко пахло духами, речь шла о взаимной симпатии с первого взгляда, еще чашечка, еще печенье, без стеснения.

Это был вечер, Боже мой, какой вечер, ни один поэт не смог бы его описать, а ночь, Боже мой, есть что вспомнить, такая это была ночь. Что говорить, ведь наша история не о Якове и Иосефе, скоро пора перевернуть и эту страницу. Скажем только, что из этого вышло полных четыре года, четыре года жизни как муж и жена, хотя они так и не съехались окончательно и всегда обходили одну тему: раввинат или гражданский брак. Особенно тщательно, пожалуй, Яков. Было вполне достаточно возможностей досконально узнать друг друга, про Иосефу можно было сказать, что не все то золото, что блестит, пожалуй, в ней были намешаны и менее драгоценные металлы. Порой Яков находил, что она деспотична, порой — что слишком болтлива или недостаточно хозяйственна, да и она, по правде говоря, имела к чему придраться, но из-за этого они не собирались тут же расставаться. Совсем наоборот, они в общем и целом хорошо ладили друг с другом, и Яков уже думал, что так скоро это не кончится. Но когда она вдруг предложила — то есть что значит вдруг, — может быть, все-таки лучше поселиться вместе и она могла бы помогать в кафе, он испугался, что из владельца превратится у себя

самого в служащего, и сказал: «Об этом поговорим после».

После, так после, Иосефе спешить некуда, так, во всяком случае, ему казалось. До тех пор пока не наступил тот самый вечер на Либавской улице, тридцать восемь, в который Яков проиграл или выиграл свое счастье, — кто может знать.

Он пришел как всегда, снял ботинки, как всегда положил ноги на диван, Иосефа стояла спиной к нему у окна.

Иосефа обернулась не сразу. Лицо у нее было отчужденное, и она не присела к нему на диван, а опустилась в кресло напротив.

— Яков Гейм, я должна с тобой поговорить.

— Пожалуйста, — сказал он, готовый ко всему, но только не к тому, что за этим последовало.

— Ты знаешь Аврома Минша?

— Разве я с ним знаком?

— Авром Минш — тот человек, с которым я в самый первый раз приходила в твое кафе, если ты помнишь этот случай.

— Помню очень хорошо. Ты сказала тогда, он твой не очень близкий знакомый.

— Сегодня утром Авром Минш спросил меня, не хочу ли я стать его женой.

— И что ты ему ответила?

— Яков, это серьезно! Ты должен наконец окончательно решить!

— Я?

— Брось свои шуточки, Яков. Мне тридцать восемь. Я не могу без конца так жить. Он собирается уехать к брату в Америку и спросил, хочу ли я ехать с ним как его жена.

Что должен был отвечать Яков, ему не понравилось, что пристают с ножом к горлу, а больше всего ему не понравилось, что до этой минуты существование Аврома Минша от него скрывалось. Случайный знакомый не делает предложения, для этой цели надо немножечко знать человека, четыре года он воображал, что они знают друг о друге все до последней капельки. То обстоятельство, что Иосефа, так сказать, предоставила право первого покупателя ему, не уменьшило разочарования Якова, далеко нет. Он молча надел ботинки и, пока шел к двери, старательно избегал встретиться с ней глазами. Стоя на пороге, он сказал смущенно: «Я должен сначала все спокойно обдумать».

Он думает и думает и не может решить вплоть до сегодняшнего дня, и двух подаренных часов на это не хватает, какой-то добрый человек открывает окно в своем доме и негромко зовет его через весь двор:

— Послушайте, вы!

Яков вздрагивает и видит на крыше луну, Яков спрашивает:

— Что такое?

— Вы ведь не живете в этом доме?

— Нет.

— Уже давно восьмой час.

— Спасибо.

Яков вернулся к действительности, он спешит домой без остановок, оставляя без внимания другие дома, достойные воспоминаний, уже давно восьмой час.

Лина уже в постели, надо объяснить ей, почему сегодня он против обыкновения так поздно вернулся с работы, сегодня была особенно большая погрузка. В ответ она не заговаривает о своих огорчениях, например по поводу сказки и недоверчивых соседских сыновей, Якову неудобно спрашивать ее об этом. Она знает, как это утомительно целый день провести на товарной станции, а к тому же еще дополнительная работа, пусть не задерживается у нее, пусть

только поцелует на ночь и идет к себе, она его любит так же крепко, как он ее.

Яков уходит от Лины с не совсем чистой совестью, на лестнице он дает себе слово завтра или в ближайшие время посвятить Лине час-другой. Между тем, сидя у себя за столом, за ужином из хлеба и солодового кофе, он в общем и целом доволен этим днем: на товарной станции евреи были удовлетворены и не засыпали его вопросами, впечатление от победы на Рудне еще не испарилось, потом подарок — два часа, когда можно было помечтать и вспомнить, приятная сказка, подслушанная у чердачной двери, менее приятный Аарон Эрлихер, а потом Иосефа. Все еще Иосефа, он думает о Иосефе, откусывая хлеб кусок за куском, между двумя глотками кофе, не дает ему покоя эта женщина... Как сложилось бы все между нами, двумя красавцами, если б я тогда в доме тридцать восемь?.. Этого не знаешь, и все же ответ на вопрос, который он задавал себе не меньше тысячи раз, можно сказать, приходит сам собой — это была бы жизнь между раем и адом, иначе говоря, самая обыкновенная жизнь. Как и почему она могла стать другой, чем в те четыре года? Четыре года, когда всякое бывало, и споры, и непонимание, и капризы, и радость, и немножко уюта и удовольствия. И секреты от него — как выяснилось только в самый последний день. Не выходит у него из головы эта женщина.

Стучат. Яков хочет уже крикнуть: «Входи, Ковальский!» Нельзя сказать, что хочет, просто он думает, что это Ковальский, но потом он уже так не думает, потому что семь было больше часа тому назад, значит, теперь уже давно восемь, и даже Ковальский не такой сумасшедший.

Яков кричит: «Войдите!» Профессор Киршбаум оказал Якову честь своим визитом, не мешает ли он, конечно нет. Садитесь, пожалуйста, чему я обязан таким редким удовольствием.

Киршбаум садится, многозначительно смотрит по сторонам, прежде чем начать разговор, Яков озабоченно следит за ним и не знает, собственно, что вызвало его внимание.

— Вы не догадываетесь, господин Гейм, почему я зашел к вам?

Первая мысль: из-за Лины.

— Лине опять хуже?

— Нет, я пришел не из-за Лины. Я пришел, начну прямо с сути дела, — потому что хочу поговорить с вами о вашем радиоаппарате.

Яков разочарован, Яков огорчен, на несколько часов он смог, к счастью, забыть это чудовище, а сейчас опять его должно выручать сражение на Рудне. Он уже больше не человек для своих сограждан, он владелец радио, это вещи несовместимые друг с другом, как давно выяснилось, и вот теперь подтверждается; он лишил себя права на нормальный человеческий разговор, какой вели в прежние времена. О погоде, о болях в пояснице — темы, для которых Киршбаум был бы идеальным собеседником, — сплетни об общих знакомых, о волнующих мелочах — при тебе об этом не разговаривают, на это слишком жалко тратить тебя с твоим сокровищем.

— Вы тоже хотите услышать последние известия? — Яков не столько спрашивает, сколько утверждает этот факт, теперь еще и Киршбаум у него на шее, ничего не поделаешь, одним меньше, одним больше.

Но Киршбаум говорит:

— Я не хочу услышать последние известия. Я пришел, чтобы высказать вам свои упреки. Я давно уже должен был это сделать.

— Упреки?

— Не знаю, уважаемый господин Гейм, какими побуждениями вы руководствовались, когда распространяли свои сообщения, но не могу себе представить, что вы в достаточной мере отдавали себе отчет в том, какой опасности вы нас всех этим подвергаете.

Значит, не последние известия, а обвинения — что только не придет человеку в голову, как ни крути, а факт, что Киршбаум человек совершенно особенный. Что ж ты, профессор,

обязательно должен испоганить мне свободный вечер, мой тяжело заработанный отдых, должен обязательно сию минуту держать высокопарные речи насчет чувства ответственности, о вещах, о которых я голову себе сломал и с ног сбился, когда для тебя мое радио было еще за семью печатями, — ты мне собираешься делать выговор. Вместо того чтобы похлопать меня по плечу и сказать — браво, господин Гейм, так и продолжайте, нет лучшего лекарства для людей, чем надежда, она нужна больше всех лекарств, а если уж не это, то хоть бы ты не приходил. Потому что мы уже давно отвыкли ждать, чтобы похлопали по плечу, так нет, вместо этого ты хлопаешь рукой мне в дверь, черт бы тебя побрал, и вмешиваешься в мои дела и хочешь меня научить, как остаться в живых. И вдобавок ко всему этому нужно изобразить на лице внимание, потому что твои сомнения продиктованы благими намерениями и во всех отношениях справедливы, и вдруг ты еще понадобишься для Лины, и нужно представить убедительные причины, почему ты так поступаешь, хотя это уже вовсе не твоя забота. Такие причины, чтобы ты, ученый доктор, профессор, мог бы сказать после длинных объяснений: «Ах так, ну что ж, я понимаю».

— Я не должен напоминать вам, дорогой господин Гейм, где мы живем.

— Нет, не должны.

— И все-таки мне кажется, что это необходимо. Что случится, если, например, эта информация дойдет до ушей гестапо? Вы об этом подумали?

— Да.

— Не могу поверить. Вы бы так не поступили.

— Да-да, — говорит Яков. — Вы думаете, я поступил бы иначе? Я поступил бы точно так же.

Яков встает и начинает ходить по комнате, в какой раз уже сегодня, мимо стола, и кровати, и шкафа, и Киршбаума, если уж нельзя вылить свой гнев в слова, злость уходит в ноги. Но не весь гнев — для этого комната слишком мала, и для голоса остается кое-что, остаток гнева нельзя не слышать в голосе, и в первую минуту Киршбаум неприятно поражен, когда Яков говорит:

— Вы хоть один-единственный раз видели, с какими глазами они просят меня рассказать, что нового? Нет? А вы знаете, как необходимо им слышать хорошие известия? Это вы знаете?

— Я могу представить себе это очень ясно. И я несколько не сомневаюсь, что вы руководствуетесь самыми лучшими намерениями. И несмотря на это, я должен...

— Не приставайте ко мне со своим «несмотря на это»! Разве вам недостаточно того, что мы почти что подышаем с голоду? Что каждого пятого находят зимой замерзшим, что каждый день половину улицы загоняют в вагон и увозят? Всего этого вам мало? И если я пытаюсь использовать самую последнюю возможность, которая может удержать их от того, чтобы сразу же лечь и подохнуть, — я пытаюсь это сделать словами, понимаете вы, словами я пытаюсь удержать их от этого! Потому что у меня, чтоб вы знали, нет ничего другого! И тогда вы приходите и говорите, что это запрещается.

Странно, но именно в эту минуту, рассказывает мне Яков, он думает о сигарете марки «Юно» без фильтра, о чем думает Киршбаум, остается неясным. Как бы то ни было, он достает из кармана своего потрепанного, но хорошо сшитого двубортного пиджака пачку сигарет и спички и вежливо спрашивает Якова, едва смолк его крик: «Не хотите ли?» Вежливый вопрос, как принято между благовоспитанными людьми, может быть, тактичный пример, как нужно себя вести, или выражение хорошего отношения, а может быть, возникшего у него некоторого сомнения в своей правоте — не исключено, что ни то, ни другое. Они молча курят, во всяком случае, морщинки на лбу разгладились.

Яков жадно вдыхает в себя дым, он доставляет ему не только удовольствие, он настраивает его на более миролюбивый лад, я хочу сказать, что в то время, как Яков курит, с ним

происходит что-то вроде душевного переворота. Потому что благородный благодетель сидит перед ним запуганный, Киршбаум беспомощно крутит сигарету в тонких пальцах и едва решается бросить на него взгляд, уж не говоря о том, чтобы открыть рот — разве только затянуться. Потому что в ответ он сразу услышит несдержанные выражения, вроде «оставьте меня в покое с вашим „несмотря ни на что“, или „разве вам этого недостаточно?“»... Киршбаум не ушел, это знак, что он не хочет ссориться, он остался, сунул руку в карман и как волшебник исполнил тайное желание, так что можно, пожалуй, перекинуться с ним несколькими словами, как положено между добрыми соседями.

— Конечно, я сам знаю, что от этого русские скорее не придут, — говорит Яков, докурив свою сигарету до половины, — и даже если я буду рассказывать о последних известиях тысячу раз, их путь к нам не станет короче. Но я хочу обратить ваше внимание на одну мелочь. С тех пор как в гетто стали распространяться известия о продвижении русских, я не слышал ни об одном случае самоубийства.

Тогда Киршбаум удивленно посмотрел на него и сказал:

— Действительно!

— А раньше таких случаев было много, никто не знает этого лучше, чем вы. Я помню, что вас часто просили прийти, но почти всегда оказывалось уже слишком поздно.

— Почему же мне не пришло это в голову? — спрашивает Киршбаум.

* * *

В один из последующих дней произошло неслыханное событие, по нашему городку проехал автомобиль, единственный легковой автомобиль за всю длинную историю. Событие хотя и неслыханное, но не следовало связывать с ним каких-либо надежд, даже самые дерзкие оптимисты с самой пылкой фантазией не посчитали это хорошим знаком. Пожалуй, можно было утверждать противоположное. Он едет прямо к цели, этот черный автомобиль, не сворачивая с прямого пути, видно, что маршрут заранее изучен по плану города, при его приближении улицы пустеют. На заднем сиденье два человека в штатском, за рулем отутюженная эсэсовская форма, роль здесь играют только двое на заднем сиденье. Вообще-то говоря, и эти двое не так уж важны, и вся машина, по существу, тоже, несмотря на эсэсовский флажок, и откуда она приехала, и куда она едет, и кого она заберет. Или все же немножко важно, скажем так: все это имеет значение с точки зрения последствий.

Этих двоих зовут Прейс и Майер, я знаю, о чем они говорят, я не знаю, о чем они думают, хотя это и не неразрешимая загадка, я знаю их чин, а если нужно, даже их краткие биографии, значит, знаю и их имена. К сожалению, мне придется потом грубо и прямо вмешаться в действие, когда потребуются объяснения, потому что в этой истории по возможности не должно оставаться пробелов. Объяснение кое-как заштопает дыру, но это случится потом, а пока, ничего не поделаешь, дыра видна.

Машина останавливается возле Зигфрида и Рафаэля, которые во всякое время дня болтаются на улице, сидят на тротуаре, протянув ноги на мостовую, единственные герои, которые не спрятались, насколько видно глазу. Все остальные евреи, у кого целы ноги и смотрят глаза, стоят у своих окон в домах или в укрытиях-подъездах и дрожат за судьбу двух неразумных детей — с ума они посходили — и перед неизвестной бедой, которую только и может привезти с собой немецкая машина. Но кое-кто из посвященных подумает, что беда эта не так уж неизвестна, ведь в конце концов машина остановилась не где-нибудь, а перед домом Якова Гейма.

Прейс и Майер выходят из машины со специальным заданием, Прейс — крупный мужчина с темными волосами, стройный, красивый, с чуть женственной внешностью, Майер, как мне его описывали, на голову ниже Прейса, коренастый, с бычьей шеей, сразу видно, что он настроен весьма решительно. Очевидно, обдуманно составленная комбинация, чего не хватает одному, то есть у другого и наоборот, — удачное сочетание. Они входят в дом.

— Ты знаешь, какая квартира? — спрашивает Прейс.

— На втором этаже, — говорит Майер. — Фамилии должны быть на дверях.

Второй этаж, Яков живет на третьем, а им тем не менее нужен второй, они дошли до двери Киршбаума. В эту дверь они вежливо стучат, пока женский голос, не скрывая неудовольствия, спрашивает:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста, — говорит Прейс. Хотя это и не очень убедительная причина, чтобы открыть дверь, ключ неловко вставляют в замок, поворачивают, дверь открывается, сначала только узкая щелочка, потом широко, Майер совершенно напрасно ставит ногу между дверью и порогом. В дверях стоит Элиза Киршбаум, со старым и неприступным лицом, не выедающим хорошо скрытый страх. Ее много раз чиненный фартук не может ввести в заблуждение, нас мерит взглядом не кто-нибудь — уже одно то, как она держит голову, — Прейса и Майера мерит взглядом госпожа. Страх спрятан хорошо, а презрение — нет, равнодушный взгляд на двух непрошенных визитеров, потом взгляд на ногу Майера, которая с такой неуместной важностью выставлена на пороге, Майер не знает, как поступить.

— Чему я обязана?

— Добрый день, — произносит вежливо Прейс, может быть, он просто не может говорить иначе под этим взглядом. — Нам нужно к профессору Киршбауму.

— Его нет дома.

— Тогда мы подождем, — говорит Прейс твердым голосом.

Он проходит мимо нее в дверь, наконец Майер может переменить позицию своей стойкой ноги, он следует за ним. Они осматриваются в комнате — что они все там говорят, им совсем неплохо живется, буфет с безделушками, диван и два кресла, правда, немножко потертые, но все-таки кресла, шкаф весь заставлен книгами, как в кинофильмах, на потолке лампа с тремя рожками, почти что люстра, да они живут тут, как у Христа за пазухой. Правда, может быть, только этот Киршбаум, все-таки раньше он что-то из себя представлял, наверно, получает дополнительное снабжение или какие-нибудь льготы, они умеют устраиваться, эти Хаимы, везде пролезут и везде сразу же чувствуют себя как дома.

Майер плюхнулся на диван, Прейс еще стоял, потому что Элиза Киршбаум остановилась у двери с таким видом, будто продолжает ждать объяснений.

— Вы жена профессора Киршбаума?

— Я его сестра.

— Вы разрешите...

Прейс тоже садится в кресло, кладет ногу на ногу, время идет, Элиза Киршбаум продолжает стоять. Ничего не помогает, ей приходится спросить:

— Прошу вас сказать, по какому вы делу.

— Не суйся, куда не следует, — говорит Майер. Он не в состоянии больше сдерживаться, странные вещи происходят здесь, какая-то комедия, честное слово, но он в ней участвовать не намерен. На нахальный вопрос он дает достойный ответ, он поставит вещи на свои места, наведет здесь немножко порядок, иначе до чего же мы дойдем.

Конечно, Элиза Киршбаум не может позвать служанку и приказать принести этому хаму шляпу, у нее нет в запасе никакого оружия, но она может, по крайней мере, показать Майеру

свое пренебрежение, обратиться к Прейсу и потребовать ледяным тоном:

— Будьте любезны сказать этому господину, что он находится в чужой квартире и что я не привыкла к такому поведению.

Майер весь кипит, он сейчас вскочит, возмутится, заорет, но Прейс бросает на него начальственный взгляд — особое поручение, — потом говорит:

— Вы совершенно правы. Извините, пожалуйста.

— Вы хотели сообщить мне, зачем вы пришли.

— Я думаю, что лучше объяснить это господину профессору лично. Вы знаете, когда он придет?

— Нет. Самое позднее в восемь.

Она садится в свободное кресло, очень прямо, складывает руки на коленях, теперь они ждут. Я могу смело сказать, что Киршбаум пришел примерно через полчаса. За это время ничего существенного не происходит, так, мелочи. Например, Майер закуривает сигару, бросает спичку на пол. Элиза Киршбаум поднимает ее, приносит пепельницу и открывает окно. Майер не знает, как это расценить.

Или Прейс выстукивает пальцами по столу несколько тактов, потом поднимается, его заинтересовал книжный шкаф. Он открывает стеклянную дверцу, склоняет голову к плечу, читает названия на корешках, потом достает одну книгу, перелистывает другую, и так довольно долго, затем ставит их все на место.

— Это книги исключительно медицинского содержания, — говорит Элиза Киршбаум.

— Я вижу.

— Мы получили разрешение, — добавляет она.

И когда Прейс продолжает их разглядывать, она говорит:

— Может быть, вы хотите их посмотреть?

— Нет, спасибо.

Он находит одну, которая его особенно заинтересовала, садится и начинает читать: судебная медицина.

Или Майер вдруг вскакивает, бросается к двери, рывком открывает ее, смотрит в пустую кухню, снова успокаивается, садится.

— Вполне могло быть, — объясняет он Прейсу, который продолжает читать.

Или опять Майер встает, на этот раз без спешки подходит к окну, смотрит вниз. Он видит двух женщин, которые оттаскивают своих детей от машины и волокут их в дом, что стоит напротив, видит в том доме почти за каждым оконным стеклом лицо, шофер в эсэсовской форме скучает возле машины.

— Может, еще не так скоро, — кричит Майер вниз.

Потом, как сказано, снова садится, проходит полчаса. Или Элиза Киршбаум идет на кухню, слышно, как она там возится, возвращается с подносом. Две десертные тарелки, две чашки, ножи, вилки, чайные ложечки, две камчатные салфетки. Она накрывает на стол, Прейс не поднимает головы от книги, Майер не скрывает раздражения.

Прейс, продолжая читать, говорит:

— Не трогай ее.

Примерно через полчаса приходит профессор. Слышно, как он пытается всунуть ключ в замок, изнутри торчит другой. Майер притушил сигару в пепельнице. Прейс кладет книгу на стол между тарелками. Элиза Киршбаум открывает дверь.

Профессор, испуганный, остается стоять в дверях, хотя это для него уже не неожиданность, ведь машина стоит у дома. Впрочем, скорее можно надеяться, что она стоит там в связи с Геймом, вернее, не надеяться, а предполагать, надеяться можно было только на то, что она не

имеет отношения к тебе, — напрасная надежда. Прейс поднимается с места.

— У нас гости, — говорит Элиза Киршбаум. Она убирает «Судебную медицину» со стола, ставит книгу в книжный шкаф, закрывает дверцу. Тряпочкой, которую она вынимает из кармана фартука, вытирает на всякий случай следы от пальцев.

— Профессор Киршбаум? — спрашивает наконец Прейс.

— Да. — И в этом коротком слове вопрос: зачем я вам понадобился?

— Моя фамилия Прейс. — И смотрит на Майера.

— Майер, — буркнул Майер.

Обошлись без рукопожатий. Прейс спрашивает:

— Вы знаете Хартлоффа?

— Вы имеете в виду начальника гестапо?

— Я имею в виду господина штурмбаннфюрера Хартлоффа. Он просит вас к себе.

— Он просит меня к себе?

Тут даже Элиза Киршбаум с трудом сохраняет самообладание. Майер, впрочем, тоже. Просит к себе, ну и тон, ну и церемонии, просто комедия какая-то. Прейс говорит:

— Да. У него утром был сердечный приступ. Профессор садится, растерянно смотрит на сестру, она стоит, как каменная, у Хартлоффа утром был сердечный приступ.

— Я не совсем вас понимаю.

— Вы должны его посмотреть, — говорит Прейс. — Хотя я могу себе представить, что болезнь господина штурмбаннфюрера не вызывает у вас сочувствия. У вас нет никаких оснований для беспокойства.

— Но...

— Что «но»? — спрашивает Майер.

Опять взгляд в сторону сестры, всю жизнь она устраняла с его дороги неприятности, с ее хладнокровием, дальновидностью, с ее непреклонным и острым умом, всю жизнь она оберегала его от всего докучного и тяжелого, поэтому последний взгляд обращен к ней.

— Dis leur que tu n'en as plus l'habitude,^[1] — говорит она.

— Что она там сказала? — спрашивает Майер Прейса и тоже встает — во весь рост.

— Прощу вас выслушать меня, — говорит профессор, — я ни в коем случае не могу выполнить то, что вы от меня требуете, для меня это абсолютно невозможно. Как врач я не могу ручаться, что после такого большого перерыва... ведь уже больше четырех лет я не лечил ни одного больного...

Прейс сохраняет сдержанность, на удивление, он кладет боевому Майеру руку на плечо, успокойся, особое поручение, потом подходит к профессору, близко, слишком близко. Взгляд его выражает упрек, но это отнюдь не злой, даже не недружелюбный взгляд, скорее в нем можно прочесть сочувствие, он как бы взывает образумиться, пока не поздно, человека, поступающего опрометчиво во вред себе. И говорит:

— Боюсь, господин профессор, что вы неправильно меня поняли. Мы пришли не для того, чтобы просить. Пожалуйста, не создавайте нам трудностей.

— Но я же вам сказал...

— Вы должны что-нибудь взять с собой? — спрашивает Прейс решительным тоном.

Тогда профессор наконец понимает, что ни к чему искать новые возражения, эти двое пришли сюда не для того, чтобы соревноваться с ним в искусстве убеждения.

Показное дружелюбие этого Прейса не более чем его манера предъявлять требования, оно не дает права надеяться. Итак, надо оставить все «но» и «если», надо взять пример с сестры. Быть таким же неприступным, держаться с таким же достоинством, как она — хотя бы это, хотя бы сейчас, — всю жизнь он восхищался ею за эти ее качества, восхищался еще больше, чем

боялся, некоторые считали ее чужаком. Он не доставит этим двум немецким ничтожествам удовольствия любоваться сценой отчаяния, у него спросили, нужно ли взять что-нибудь с собой, он не упадет перед ними на колени, он будет стоять прямо, как стоит перед ними Элиза. Этому нельзя, правда, научиться сразу, без привычки, но можно найти совсем будничные движения, держать в узде свое лицо, ничего особенного не произошло, самая обычная вещь на свете, заболел высокий чин, надо его осмотреть, так, каждодневная рутина, визит как визит.

— Мы правильно поняли друг друга? — спрашивает Прейс.

Профессор встает, под книжными полками закрытые ящики, он открывает один, ищет свой кожаный саквояж, коричневый, с раздутыми боками, с каким приходит к пациенту доктор.

— Он в шкафу, — говорит Элиза Киршбаум.

Он достает саквояж из шкафа, открывает его, проверяет содержимое, протягивает его Прейсу, который не считает нужным взглянуть.

— Медицинские инструменты.

— Хорошо, берите.

Элиза Киршбаум открывает шкаф, берет оттуда шарф, подает брату.

— Не нужно. На улице тепло, — говорит он.

— Возьми, он тебе понадобится. Ты не знаешь, как холодно на улице после восьми.

Он засовывает шарф в саквояж, Майер открывает дверь, предстоит попрощаться, до свидания, Элиза.

— До свидания.

Так выглядит прощание.

* * *

Потом они выходят из дому, садятся в машину, несомненно в заранее определенном порядке, Прейс и профессор сзади, Майер впереди, рядом с эсэсовской формой. Элиза Киршбаум стоит у окна, вся улица стоит у окон, но только одно открыто. Машина сразу трогает, катит прямо по плоским камням тротуара, за ней плывет бледно-голубое облачко. В конце улицы она поворачивает налево, по направлению к Хартлоффу.

* * *

Прейс щелчком открыл серебряный портсигар и спрашивает:

— Закурите?

— Нет, спасибо, — говорит Киршбаум.

Майер не оборачиваясь покачал головой, он смотрит сбоку на эсэсовскую форму, как тому нравится эта комедия, форма только ухмыляется, не отводя глаз от дороги. Прейс наблюдает за обоими в зеркало дальнего вида, а Киршбаум сидит, словно ему жаль потратить хоть одно движение.

— Поставьте ваш саквояж вниз, — говорит Прейс. — Еще далеко.

— Сколько примерно?

— Минут тридцать.

Киршбаум продолжает держать саквояж на коленях.

Подъехали к воротам гетто, останавливаются, Майер спускает стекло. Постовой всунул каску и спрашивает:

— Что у вас там за птица?

— Скажи еще, что ты его не знаешь! — кричит Майер. — Это же знаменитый профессор Киршбаум!

Прейс протягивает постовому пропуск и произносит официальным голосом:

— Откройте ворота. Мы очень спешим.

— Сейчас, сейчас, не беспокойтесь, — говорит постовой. Он делает знак рукой второму постовому, тот поднимает шлагбаум и распахивает ворот.

Они едут дальше, теперь по свободной части города, у улиц другой вид. Киршбауму бросаются в глаза прохожие без желтой звезды, витрины магазинов, в них выставлены товары, выбор небогатый, но покупатели входят и выходят и главное — по краям тротуара стоят деревья, думаю я. В кинотеатре «Империял» у Нового рынка показывают немецкий фильм. Попадаются навстречу машины, проходят трамваи, солдаты в выходной форме, каждый с двумя девушками под руку. Киршбаум смотрит без особого интереса, город за стеклом машины не так много говорит ему, не может вызвать воспоминаний, как, например, у Якова, потому что это не его город.

— Мне думается, что вы все-таки должны быть довольны, получив наконец возможность заняться новым пациентом, — говорит Прейс.

— Я могу узнать, каким образом вышло, что вы обратились ко мне?

— Очень просто. Личный врач Хартлоффа оказался в затруднении и не решился сам назначить лечение, он потребовал консультации специалиста. Попробуйте за такое короткое время найти специалиста. Мы просмотрели списки жителей и наткнулись на ваше имя. Врач Хартлоффа знает вас.

— Он меня знает?

— Конечно, не лично. Только ваше имя.

Они въезжают в богатый квартал, дома здесь не такие высокие, стоят далеко друг от друга, здесь больше зелени, больше деревьев. Киршбаум открывает саквояж, достает оттуда стеклянную трубочку, вывинчивает пробку, отсыпает на ладонь две таблетки. Прейс вопросительно смотрит на него.

— Против изжоги, — объясняет Киршбаум. — Хотите?

— Нет.

Киршбаум проглатывает таблетки, завинчивает пробку, кладет трубочку обратно в саквояж и опять сидит в той же позе.

— Теперь вам лучше? — спрашивает Прейс через несколько минут.

— Так быстро они не действуют.

Машина выезжает из города, снова контроль, это уже предместье, Хартлофф отыскал для себя укрытое местечко. По обе стороны дороги березовый лес.

Прейс говорит:

— Вас, разумеется, отвезут обратно, когда вы сделаете все, что надо.

Киршбаум ставит свой саквояж на пол, у ног, всю дорогу он держал его на коленях, теперь, почти у цели, он ставит его все-таки вниз, откидывается назад, глубоко дышит.

— Могу ли я теперь попросить у вас сигарету? Прейс протягивает ему сигарету, дает прикурить, упомянем опять демонстративное непонимание на лице Майера, которое он хочет довести до сведения Прейса. Киршбаум закашлялся, но вскоре приступ кашля прошел, он бросает недокуренную сигарету в окно.

— С другой стороны, я могу в какой-то степени понять ваши сомнения. — Прейс продолжает разговор, нить которого, казалось, давно потерялась.

— У меня нет больше сомнений, — говорит Киршбаум.

— Нет, есть, я вижу по вашему лицу. Ваше положение не из завидных, я понимаю. Если вам удастся спасти штурмбаннфюрера, вы будете, надо думать, выглядеть не в очень выгодном свете в глазах ваших людей. А если вам не удастся...

Прейс прерывает свой точный анализ, договаривать до конца было бы бестактно, да кроме того, излишне, из всего сказанного Киршбаум, разумеется, поймет, какое значение придают тому, чтобы Хартлофф остался жив. В первый раз за всю поездку Майер оборачивается назад, лицо его не считает нужным скрывать, что он знает, какие слова не досказал Прейс, и, уж во всяком случае, не собирается скрывать, как он к этим недосказанным словам относится, именно с этим намерением он и оборачивается на минуточку. Киршбаум не обращает на него внимания, по-видимому, он целиком занят собственными мыслями. Прейс произносит, обращаясь к нему, две-три общих фразы, но Киршбаум больше не поддерживает разговора.

Они подъезжают к вилле Хартлоффа. Дорога к вилле ведет через разросшийся парк, круглая клумба, высохший пруд, раньше бы здесь плавали золотые рыбки, все немного запущено, но превосходно распланировано, очень богато, с размахом и красиво.

— Приехали, — говорит Прейс все еще поглощенному своими мыслями Киршбауму и выходит из машины.

По лестнице, ведущей во внутренние помещения, к ним спешит личный врач Хартлоффа, лысый маленький человечек в сверкающих сапогах и расстегнутой эсэсовской форме, он выглядит таким же неприбранным, как и сад. Его поспешность можно истолковать как беспокойство или страх, скорее как страх, ведь он несет здесь ответственность. За здоровье Хартлоффа и за сегодняшний рискованный эксперимент. Уже с верхней ступеньки он кричит:

— Ему опять хуже! Почему так долго?

— Нам пришлось ждать, его не было дома, — говорит Прейс. — Быстрее, быстрее!

Прейс открывает дверцу машины со стороны Киршбаума, потому что тот не делает попытки выйти, и повторяет:

— Мы приехали, выходите, пожалуйста.

Но Киршбаум сидит, будто он не скоро еще справится со своими мыслями, и даже не поворачивает головы в сторону Прейса. Запоздалое упрямство не к месту и не ко времени или пресловутая профессорская рассеянность ученого, что бы там ни было, но момент выбран самый неподходящий, Прейс теряет терпение, Майер, тот знал бы, как поступить в таком случае.

Прейс хватается Киршбаума за рукав и говорит:

— Не доставляйте же нам трудностей, — и выталкивает его из машины легонько, он корректен до конца.

Киршбаум появляется в высшей степени удивительным образом, он как будто не спеша выкатывается прямо на Прейса, который так удивлен, что не успевает удержать его, и Киршбаум вываливается на неухоженную, покинутую хозяевами землю.

— Что тут происходит?

Личный врач Хартлоффа протискивается между двумя эсэсовцами, наклоняется над пациентом-евреем, без всяких затруднений ставит окончательный диагноз:

— Он мертв.

Для Прейса это не неожиданность, теперь Прейс уже сам в этом убедился. Он вынимает из машины кожаный саквояж, обычный врачебный саквояж, коричневый с раздутыми боками. Вы должны что-нибудь взять с собой? Медицинские инструменты. Хорошо, берите. Возможно, он сам навел еврея на эту мысль.

Прейс открывает саквояж, находит среди шприцев и стетоскопов трубочку с таблетками. Он дает ее личному врачу Хартлоффа.

— Против изжоги.

А теперь обещанное объяснение. Собственно говоря, оно лишнее, но я представляю себе, что кое-кто недоверчиво задаст вопрос, каким образом я попал в этот автомобиль. Вряд ли с помощью Киршбаума, на чьем же месте сидел тот, кто мне все это рассказал, — законный вопрос, с точки зрения недоверчивого человека.

Я мог бы, конечно, ответить, что не обязан все объяснять, я рассказываю историю, которую сам не понимаю. Я мог бы сказать, я знаю от свидетелей, что Киршбаум сел в машину, я выяснил, что в конце этой поездки он оказался мертвым, в промежутке могло произойти только такое или похожее на это, иначе нельзя себе вообразить. Но утверждать так, значило бы отклоняться от истины, потому что в пути могло произойти и совсем другое, я считаю гораздо более вероятным, что произошло совсем другое. Это обстоятельство, так я думаю, и есть истинная причина того, почему я должен дать свое объяснение.

Итак: через некоторое время после войны я приехал в наше гетто в мой первый отпуск. Мои немногочисленные знакомые меня отговаривали, поездка-де испортит мне весь следующий год, воспоминания одно, а жизнь другое. Я сказал, что они правы, и поехал. Комната Якова, участок, Курляндская улица, комната Миши, подвал — я все осмотрел внимательно, промерил, проверил или просто заглянул туда. Я был и в кафе Якова, временно там разместился сапожник, он сказал: «Пока не найду что-нибудь лучшее».

Мне показалось, что, кроме запаха кожи, здесь пахнет чем-то горелым, но сапожнику так не показалось. В предпоследний день отпуска, укладывая чемодан, я припоминал, не забыл ли чего-нибудь, наверно, я больше никогда не вернусь в этот город, а сейчас еще есть возможность наверстать забытое. Единственное, что мне пришло в голову, — поездка Киршбаума в машине, но я посчитал, что ее проверить нельзя, кроме того, для моей истории, из-за которой я сюда приехал, она большого значения не имеет. И тем не менее, скорее всего от скуки, я пошел под вечер в советскую комендатуру, а может быть, просто не нашел открытого ресторана.

Дежурный офицер была женщина лет сорока в чине лейтенанта. Я рассказал, что был в гетто, что мой отец и Киршбаум до войны были близкими друзьями и поэтому меня интересует судьба Киршбаума. Все выглядело как розыски родственников по линии Красного Креста. Потом я объяснил, какая связь между Киршбаумом и Хартлоффом и что я знаю только, что Киршбаум сел в машину, а дальше я не знаю ничего, и это была правда. Эсэсовцев, которые его увезли, звали Прейс и Майер, или что-то в этом роде. И может ли она сообщить мне что-нибудь если не о местонахождении профессора, то хотя бы об этих двоих, тогда у меня будет отправная точка для поисков. Она записала имена и сказала, чтобы я пришел через два часа.

Через два часа я узнал, что Майер за несколько дней до прихода Красной армии был расстрелян партизанами во время ночной операции.

— А другой? — спросил я.

— У меня есть его адрес в Германии, — ответила она.

Я уже протянул руку за бумажкой, тогда она с тревогой посмотрела на меня и сказала:

— Вы не собираетесь, я надеюсь, наделать там глупостей?

— Нет, нет, можете не беспокоиться, — заверил я.

Она дала мне бумажку с адресом, я посмотрел на адрес и сказал:

— Удачно складывается. Я теперь тоже живу в Берлине.

— Вы остались в Германии? — спросила она удивленно. — Почему же?

— Сам не знаю, — ответил я, и это была правда. — Так получилось.

* * *

Прейс жил в Шенеберге, в Западном Берлине. Симпатичная жена и двое детей, у жены нет одной руки, как-то в воскресенье после обеда я туда поехал. Я позвонил, мне открыл высокий темноволосый мужчина, красивый, чуть женственной наружности, едва ли старше, чем я.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Вы господин Прейс?

— Да, это я, чем могу служить?

Я сказал:

— Извините за беспокойство. Могу ли я поговорить с вами несколько минут?

— Пожалуйста, — сказал он, провел меня в гостиную и отправил оттуда детей, не без их сопротивления. На стене висела репродукция «Руки» Дюрера и фотография девочки, обвитая траурной лентой. Он пригласил меня сесть.

Прежде всего я назвал свое имя, которое заставило его насторожиться, хотя он, конечно, не мог привести его в связь с чем-то определенным. В большее беспокойство поверг его вопрос, верны ли мои сведения о том, что он работал у Хартлоффа. Я отметил про себя, что он побледнел, а потом тихо спросил:

— Вы пришли из-за этого? Я сказал:

— Я пришел из-за одной истории. Точнее, из-за того, что в этой истории оказался пробел, который вы, надеюсь, сможете заполнить.

Он встал, открыл шкаф, стал там что-то перебирать, нашел вскоре то, что искал, и положил передо мной на стол. Это было свидетельство о денацификации с печатью и подписью.

— Вам ни к чему мне это показывать, — сказал я.

Он тем не менее не убрал документ, пока я его не прочел, потом сложил и снова запер в шкаф.

— Могу я вам предложить что-нибудь? — спросил он.

— Нет, благодарю.

— Может быть, чашку чая?

— Нет, спасибо. Он позвал:

— Ингрид!

Вошла жена, сразу заметно, что она еще не привыкла управляться одной рукой. Он сказал:

— Моя жена.

Я встал, мы пожали друг другу руки.

— Ты могла бы спуститься вниз и принести сифон пива? Зебальд обещал мне к субботе два литра, — сказал он, обращаясь к ней.

Когда она вышла, я сказал:

— Вы помните такого профессора Кишбаума?

— Да, конечно, — поспешно откликнулся он, — очень хорошо.

— Вы ведь его увезли, чтобы он посмотрел Хартлоффа? Вместе с Майером.

— Совершенно верно. Вскоре после той поездки его убили.

— Я знаю. А что случилось с Кишбаумом? Его расстреляли после того, как Хартлофф все-таки умер?

— Почему вы так решили? Они вообще так и не встретились.

Я удивленно посмотрел на Прейса и спросил:

— Он отказался его осмотреть?

— Можно назвать это так, — сказал он. — Киршбаум отравился в машине по дороге, на наших глазах.

— Отравился? — спросил я, и он заметил, что я ему не верю.

— Это легко доказать, — сказал он. — Вам следует только обратиться к Летцериху, он подтвердит каждое мое слово.

— Кто этот Летцерих?

— Тогда он был шофером. Все время он был с нами. К сожалению, я не знаю его адреса, знаю только, что он из Кельна. Но адрес, в конце концов, не так сложно найти.

Я попросил его подробнее описать эту поездку, результат его рассказа вам известен. Это продолжалось довольно долго, жена успела принести пиво, я выпил кружку, пиво было отвратительное. Я почти не перебивал, потому что он сам рассказывал во всех подробностях. Особое внимание он уделил тому обстоятельству, что Киршбаум и ему предложил принять таблетку.

— А у меня действительно бывает изжога, и довольно часто. Только представьте себе, что было бы, если бы я взял одну!

— Откровенная попытка совершить убийство, — сказал я.

Дальше он рассказал, как они выехали из города, проехали последний участок пути, последняя сигарета, недвусмысленные взгляды Майера, вплоть до виллы, до того как вышел личный врач Хартлоффа, до того момента, когда Киршбаум мертвый повалился на землю перед его ногами. Как он вдруг понял, что произошло, как он вытащил саквояж из машины, трубочку с таблетками, как врач сказал «идиот».

Мы долго молчали, он, наверно, решил, что я потрясен, а я думал, о чем бы его еще спросить. Он хорошо рассказывал, ничего не упуская, образно, я понял, почему он так хорошо помнит эту поездку.

В конце он обязательно захотел доверительно сообщить мне, что он думает сегодня о том злополучном времени, поговорить по душам с разумным, понимающим человеком, но я действительно пришел не за этим. Я сказал, что и так сидел уже слишком долго, у меня еще есть дела, у него наверняка тоже, я встал и поблагодарил его за готовность, с которой он сообщил мне все это.

— И запомните имя, если захотите проверить, — сказал он, — Эгон Летцерих, Кельн на Рейне.

В коридоре мы встретились с его женой, она вела детей в ванную. Они были уже в пижамных штанах, до пояса голые.

— Что говорят, когда прощаются? — сказал им Прейс.

Оба одновременно протянули мне руку, наклонили голову, шаркнули ногой и сказали:

— До свидания, дядя.

— До свидания, — сказал я.

Все трое скрылись в ванной, Прейс настоял на том, чтобы проводить меня вниз. На случай, если входная дверь уже заперта.

Входная дверь была еще открыта. Прейс вышел первым на улицу, вздохнул полной грудью, распахнул руки и сказал:

— И снова придет весна!

У меня было впечатление, что он навеселе, что ни говори, он влил в себя без одной кружки два литра тепловатого пива.

— Ах да, — сказал я, — а что, собственно, произошло тогда с его сестрой?

— Сестрой Киршбаума? Понятия не имею. Я видел ее только тогда, один раз, когда мы

приезжали к ним. Было еще какое-то продолжение?

Когда я наконец хотел окончательно распрощаться, он сказал:

— Ответите ли вы мне в свою очередь на один вопрос?

— Конечно, — сказал я.

Он помедлил минуту, прежде чем спросить:

— Откуда вы узнали мой адрес?

— От английской разведки, — сказал я.

* * *

Хартлофф мертв, умер от сердечной слабости, новость дошла и до нас на товарной станции. Наверное, он умер этой ночью, потому что, когда мы вчера вечером уходили, флаг на каменном здании вяло колыхался на обычном месте, когда же мы сегодня утром пришли на работу, он был приспущен, и ветер весело трепал его, значит, где-то между этим временем. Флаг сам по себе не дает оснований для точных заключений, он означает не более чем тот факт, что кто-то из высокопоставленных, не называя имени, нас покинул. Имя назвал один охранник другому, утром Роман Штамм подслушал разговор, из которого можно было сделать важные выводы. Роман без всякого предосудительного намерения подошел к ящикам, сложенным в штабеля, охранники стояли за ними и говорили о смерти Хартлоффа, просто счастливый случай. Роман поднимал ящик несколько медленнее, чем требовалось, это удалось ему лишь тогда, когда собеседники перешли к другой теме.

Таким образом, каждый узнал, из-за кого флаг полощется на середине столба, Роман не видел повода держать это в секрете. Можно сказать, мы перенесли это известие со стойкостью, для нас вряд ли что-нибудь изменится. Если и произойдут в нашей жизни изменения, то не в связи со смертью Хартлоффа; и тем не менее всегда можно предполагать худшее. Только Яков жалеет, что разговор охранников услышал Роман Штамм, а не он, сообщение о том, как штурмбаннфюреру не повезло на этом свете, могло стать гвоздем радиопрограммы. Не только из-за содержания. Это было бы первое сообщение, которому не нужно верить без доказательств, каждый имел бы возможность убедиться в его истинности собственными глазами и без всяких усилий, подтверждение с утра висит на флагштоке. Рассказывать им теперь, что о смерти Хартлоффа сообщили в утренней передаче, бессмысленно, что прошло, то прошло, радио — вещь оперативная, не перепевает устаревшие сообщения.

Когда Свисток точно вовремя свистит на обед, Яков окончательно расстается с этой приятной мыслью. Появляется тележка с алюминиевыми мисками, мы вытягиваемся, как обычно, в безупречную очередь, по ниточке. Кто-то за Яковом тихо спрашивает:

— Вчера ночью ты тоже слушал?

— Конечно, — говорит Яков.

— Они рассказывали что-нибудь про Хартлоффа?

— Что за ерунда! Ты думаешь, они занимаются такими мелочами?

Кто-то перед Яковом спрашивает:

— А вообще, какую станцию ты слушаешь?

— Какую удастся, — говорит Яков. — Москву, Лондон, Швейцарию, зависит от погоды.

— А немецкие станции?

— Вот уж ни к чему.

— А музыку иногда слушаешь?

— Редко, — говорит Яков. — Только пока жду последние известия. У меня радио не для

удовольствия.

— Как бы мне хотелось когда-нибудь послушать музыку, хоть что-нибудь, — говорит тот, что стоит впереди Якова.

Котла с супом приходится ждать долго, и все-таки очередь стоит по струнке, честное слово. Каждый раз мы исправляем малейшее отклонение от прямой, даже такое, которое почти невозможно заметить, однако котел с супом от этого, увы, не появляется. Вместо него открывается окошко под остроконечной крышей, протянутая рука приказывает соблюдать тишину, и голос сверху, как сам разгневанный Господь Бог, кричит нам: «Перерыв десять минут! Обед сегодня отменяется!»

Тележку с мисками отвозят обратно, голодная очередь приходит в беспорядок и растекается по местности. Ложки аккуратно засовывают в карманы, кто-то бормочет проклятия, злые взгляды, русские еще покажут вам, собакам.

Ковальский, он стоит недалеко от меня, спрашивает:

— Нам что, не дали обеда потому, что Хартлофф умер?

— Ясно, а почему же еще? — отвечаю я.

— Если вы меня спросите, — говорит Ковальский, — то из-за этого стоит поголодать.

Нельзя сказать, что его слова вызвали взрыв восторга, остаться без обеда — это чувствительно, что называется, удар по желудку. Но Ковальский, славный человек, пытается развеселить нас нехитрой шуткой:

— Представьте себе, если каждый раз, когда кто-нибудь из нас отдает концы, немцы не получают жратвы. Вот когда они поголодают!

Увы.

Куда бы в эти десять минут ни направился Яков, за ним идет кучка верных евреев и Ковальский туда же, хотя никто не чувствует потребности в его обществе. Яков знает, что они тянутся за ним, еды их лишили, значит, его слово должно заменить им обед. Он подходит к пустому вагону, там они все смогут сесть, осторожность, которая давно стала привычкой. Яков чувствует некоторую неловкость, он собрался сегодня немножко отдохнуть на вчерашних лаврах, на освобождении городка Тоболина. Майор Картхойзер при нашем восторженном участии лихо поставил свою подпись под актом о капитуляции, крепость пала, но это произошло вчера. Кто мог предполагать, что на следующий день появится настоящая потребность в новых событиях. И вот Яков сидит неподготовленный среди своей общины.

Вдруг, рассказывает он мне, когда они так сидят и не спускают с него глаз, потому что он должен начать пересказывать известия, ему приходит в голову одна печальная мысль; плохое известие, оно вытесняет Тоболин и все победы. Внезапно ему становится ясно, что сегодня на товарную станцию пришли два известия, хотя только одно дошло до сознания: Хартлофф. Другое, плохое, осталось без внимания, хотя оно носилось в воздухе, надо было только постараться его понять.

— К сожалению, новость не такая хорошая, — произносит Яков задумчиво. — О чем ты говоришь?

— Что Хартлофф умер.

— Для тебя это страшная потеря?

— Он-то не потеря, — говорит Яков. — А вот Кишбаум...

Увы, приходится с ним согласиться, одно неразрывно связано с другим, большинство понимает эту связь без дальнейших разъяснений. При теперешних обстоятельствах еврейский врач вряд ли может надолго пережить своего арийского пациента, а в этом особом случае и подавно.

— Что за Кишбаум? — спрашивает кто-то, ведь нельзя знать всех.

Ему объясняют, что Киршбаум, умнейшая голова, в свое время знаменитость по болезням сердца, здесь сосед Якова, его забрали, чтобы он вылечил Хартлоффа, потом запоздалая грусть о профессоре, десять минут проходят без вопросов и сообщений об успехах, Яков желал себе другой причины для десятиминутного спокойствия. Ему захотелось утешить их чем-нибудь, нельзя же вот так оставить их голодными, та старая история с секретными немецкими планами, что попали в руки русских в крепости Тоболин, пожалуй, самое время сейчас преподнести ее, на секунду подумал он. Но Свисток уберег его от этой глупости, он, как обычно, оповестил о конце обеда, особенно невкусного сегодня.

Итак, несмотря на смерть Хартлоффа, день безотрадный с утра и до конца, ничего утешительного. Посреди работы появляются две тощие лошади, они тянут телегу, на которой стоит цистерна, вид ее нам знаком, стук тоже, ее слышно издалека.

Как правило, она приезжает раз в три месяца, летом реже, зимой, когда земля мерзлая, немного чаще, но всегда по понедельникам. Этот визит имеет отношение к немецкому деревянному домику с вырезанным в двери сердечком, он может обойтись без нее три месяца, не дольше, иначе его затопит.

На козлах сидит крестьянин из окрестной деревни, никто не знает, за какие заслуги он удостоился такой чести. Мы его не выносим. Немцы запретили ему, когда он впервые здесь появился, разговаривать с кем-либо из нас, и он строго выполняет приказ. Вначале, задолго до радио Якова, мы пытались выудить из него хоть слово, мы сами не знали какое, лишь бы какую-нибудь малость оттуда. Никакого риска для него не было, но он сидел на козлах со сжатым ртом и злобно молчал и косился на охранника, который стоял очень далеко, наверно, он боялся за свою жизнь или за свое дерьмо. Он антисемит или просто идиот.

Крестьянин остановился со своей телегой за клозетом. Из каменного дома выходит немец, все делают вид, что страшно заняты, как только услышали этот гнусный скрип. Потому что работа, для которой сейчас отберут четырех человек, — она легче, чем перетаскивание ящиков, но вонять от тебя будет за версту, а помыться можно только дома.

— Ты, ты, ты и ты, — говорит немец.

Шмидт, Яков и еще двое незнакомых идут, чертыхаясь про себя, за деревянный домик и принимаются выгребать дерьмо. Они берут две лопаты и два ведра, висящие сбоку на телеге, Яков и адвокат поднимают с ямы крышку. Потом они наполняют ведро, а двое других вытряхивают его в цистерну. Grimаса отвращения на лице Шмидта не делает это занятие приятнее, считай, что работы не меньше чем на три часа, через полтора они поменяются — возьмут ведро.

— Вам уже приходилось когда-нибудь заниматься этим? — спрашивает Шмидт.

— Два раза, — говорит Яков.

— Мне еще нет.

Крестьянин на козлах сидит к ним спиной. Он достает из кармана сверток, разворачивает пергаментную бумагу, там хлеб и сало. На него светит низкое уже солнце, ему хорошо, он наслаждается обедом или полдником, Яков не может оторвать глаз.

Старший из тех, что опорожняет ведро, униженно просит кусочек, он тихим голосом объясняет, что случилось сегодня с обедом, ему бы только немножечко хлеба, о сале он и не говорит. Крестьянин вроде бы в нерешительности, Яков наблюдает, работая лопатой, как его глупые глаза обшаривают станцию — не смотрят ли охранники, — никто из них не интересуется происходящим за домиком с сердечком.

— Не бойся, — говорит наш, — тебе не надо с нами разговаривать, брось только хлеб на землю, будто ты уронил. Кто что может сказать на это! А я подниму так, что никто не заметит... Слышишь? Никто, даже ты сам не заметишь!

— Вы могли бы есть здесь в такой вонь? — спрашивает Шмидт.

— Да, — отвечает Яков.

Крестьянин опять лезет в карман, вытаскивает пергаментную бумагу, аккуратно заворачивает в нее остаток хлеба и сала, кладет обратно. То ли он сыт, то ли действительно аппетит отбило, он отхлебнул как следует из зеленой походной фляжки и вытер рот грязным рукавом. Его называют «задница», но и это со злобой произнесенное слово не выводит его из неподвижности.

Незадолго до того, как им поменаться, Шмидт стал ворочать лопатой гораздо медленнее, в конце концов он совсем останавливается, говорит, что больше не может. Перед глазами черные пятна, все вертится, он прислоняется в изнеможении к задней стенке клозета, обливаясь потом.

— Это потому, что мы сегодня без обеда, — говорит Яков.

От этого Шмидту не легче, на щеках его перекапываются крупные капли пота, он пытается вырвать, но не получается. Яков вместо него нагружает ведро, носильщики простаивают, долго так продолжаться не может.

— Ничего не поделаешь, вы должны работать, — говорит Яков.

— Хорошо вам говорить, — отвечает Шмидт, прислонившись к стене, очень бледный, дыхание с хрипом вырывается из его груди.

— Вы должны начать работать или можете тут же лечь и умереть, — говорит Яков.

К этому у адвоката Шмидта нет никакой охоты, он снова берется за лопату и наполняет, нетвердо стоя на ногах, ведро, которое давно уже опорожненное ждет его. Он стонет, похоже, что его усилия безуспешны, он шлепает вонючую жижу мимо ведра. Лопата не уходит глубоко, как полагается, поэтому он вытаскивает ее наполовину пустой — двойная работа для Якова.

— Между прочим, я кое-что слышал о вашем сэре Уинстоне, — говорит Яков так тихо, что крестьянин, даже наострив уши, все равно бы не понял.

— О сэре Уинстоне? — отзывается Шмидт слабым голосом, но явно заинтересованный.

— Он простудился.

— Что-нибудь серьезное?

— Нет, нет, насморк или что-то в таком роде. Половину интервью он чихал.

— Целое длинное интервью?

— Нет, короткое.

— И что он говорит? — спрашивает Шмидт. Яков дает ему понять, что здесь не совсем подходящее место для продолжительной беседы, вон они, постовые, сейчас необходимо заняться другим. Через три часа, он знает по опыту, придут проверять, и яма должна быть пуста. Следовательно, подробное сообщение состоится, только если сможет быть замаскировано работой. Шмидту приходится с этим согласиться, поневоле крепче схватившись за лопату, капли так же скатываются со лба, что говорит сэр Уинстон?

Яков рассказывает ему, что говорит сэр Уинстон, беседа в подвале между корреспондентом и английским премьером еще свежа в памяти, хоть и не во всех подробностях. Положение на Восточном фронте, не называя городов, во всяком случае, для немцев безнадежно, это его собственные слова, яркий букет прекрасных перспектив. А сэр Уинстон может разрешить себе давать оценки, как вы считаете, при его-то осведомленности. Конечно, там и тут трудности еще есть, в какой войне, я вас спрашиваю, все идет гладко?

К тому же есть некоторая разница между Шмидтом и Линой, ее тоже нужно учитывать. Это тебе не сидеть с маленькой девочкой вечером в подвале, можно сказать, ради удовольствия или из любви, здесь ты стоишь при свете дня лицом к лицу с ученым Шмидтом, каждое слово следует взвесить, через три часа из ямы надо выгрести все дерьмо.

Утром того дня, который выбран для марша на районный город Прыю, русские не должны дойти до него, но все-таки продвинуться в направлении города на значительное расстояние — так определил им Яков, — утром того многообещающего дня Миша, идя на работу, увидел на углу группу взволнованных людей, оттуда показывают то в одну, то в другую сторону, двое что-то торопливо говорят, остальные ошеломленно слушают, Миша хочет узнать подробности, останавливается, и тут он слышит, что называют одну улицу — Францисканскую. Миша хватается первого попавшегося за руку, вытаскивает его из сутолоки, пусть, ради Бога, скажет, что случилось на Францисканской.

Это ему быстро объясняют, горе посетило ее, ее выстроили по трое в ряд. Они ходят из дома в дом, недавно прошли номер десять, через несколько часов ни один человек там жить не будет, в лагерь или неизвестно куда.

— А русские уже вроде бы заняли Тоболин, — говорит этот человек.

Миша бросился бежать, судьба Францисканской волнует его не только вообще, потому что Францисканская — совсем, совсем особая улица, на ней живет Роза. Человек сказал, что они недавно были в доме десять, то есть несколько минут назад они были в доме десять, в обычные дни в это время Роза давно на фабрике. Миша упрекает себя, почему он не заставил ее оставаться у него каждую ночь, именно эту не заставил. Он пойдет сейчас к ней на фабрику, постовой у ворот его не пропустит, но он может стоять недалеко. До конца рабочего дня Миша сам будет постовым, потому что нельзя допустить, чтобы Роза пошла домой. Не дай только Бог, чтобы оказалось, что Миша целый день охраняет пустую фабрику, если Роза вовремя вышла из дому, она должна быть там, другой надежды нет. Миша бежит, зачем ему бежать, он сам не знает, до конца работы еще очень далеко, он летит со всех ног.

Перед ее фабрикой, зданием из серого известняка, мир выглядит обыкновенно. Миша стоит на другой стороне улицы, один, никого, кроме него. Он настраивается стоять так целый долгий день, но день оказывается гораздо короче, чем он ожидал.

Из ворот фабрики выходит девушка, Миша спрашивает себя, почему это вдруг еврейская девушка выходит в рабочее время, она не спеша и явно без всякого дела перешла улицу, идет мимо него. Миша стоит в нерешительности, она почти уже дошла до следующего угла, тогда он пошел за ней. Она вскоре замечает его, кокетливо поворачивает голову в его сторону, один раз, потом второй, в конце концов, такой голубоглазый широкоплечий молодой человек в гетто редкость, к тому же среди бела дня. Девушка замедляет шаг, она не имеет ничего против, пусть ее нагонит, в результате это и происходит, сразу за углом он оказывается рядом с ней.

— Извините, — говорит Миша, — вы работаете на этой швейной фабрике?

— Да, — говорит она, улыбаясь.

— Вы не знаете случайно, Роза Франкфуртер еще там?

Она задумывается ненадолго, прежде чем произносит:

— Вы Миша, не правда ли?

— Да, — говорит он. — Она там?

— Она недавно ушла, несколько минут назад, сегодня она может идти домой.

— Сколько, несколько минут? — кричит он срывающимся голосом. — Сколько минут назад?

— Может быть, минут десять, — отвечает девушка, удивленная его внезапным волнением.

Он опять мчит, он судорожно прикидывает, что, если точно десять минут назад, он еще должен успеть. Отсюда до Францисканской Розе нужно около получаса — если медленным

шагом, то больше, — а спешить она ведь не будет. Ей объявили, что можно идти домой, не сказали причины, сволочи, тогда ей нечего торопиться.

Вдруг Миша поворачивается назад, он бежит обратно по той же дороге, ошибку, совершенную в спешке, нужно исправить, невольную, но непростительную. Девушка медленно идет ему навстречу и снова улыбается.

— Вас тоже отправили домой? — кричит он ей еще издалека.

— Да.

— Не ходите домой! Спрячьтесь!

Он еще слышит, как она спрашивает:

— Но почему же?

— Потому что с Францисканской увозят!

— Но я не живу на Францисканской, я живу на Загорской.

Длинные объяснения стоят ему слишком много времени, значит, и Загорскую, он сказал ей все, что знал. Она должна сама сообразить, в чем дело, спасти ей свою жизнь или нет, если она умная, она станет возле фабрики — и будет говорить каждому, кого они отсылают домой: не ходи домой, спрячься, не важно, на какой улице ты живешь.

Такие мысли вертятся у него в голове, а сам он давно уже бежит изо всех сил вдогонку за Розой. Францисканская и Загорская даже не пересекаются, между ними Цветочный переулок, домов там мало, больше складов, которые сейчас стоят пустые, но несколько все-таки есть. И за каждым новым углом он ищет глазами Розу, может быть, она вообще не пошла короткой дорогой, может быть, она решила погулять, погода хорошая, почему не подышать воздухом, раз ей подарили день. Если она действительно решила погулять, он наверняка будет на Францисканской раньше, чем она. Он может стать на другом конце улицы, сторожить ее и перехватить. Но ведь только на одном конце, а у Францисканской два, на каком ты займешь пост, когда концов так много и в такое время дня ни за какие деньги не найдешь помощника. На секунду забрезжила новая надежда, Миша рассчитывает, что Розу спасет чувство самосохранения. Все равно, с какого конца она появится, она сразу увидит, что происходит с ее улицей. Может быть, тогда она повернет обратно, побежит в его квартиру, спрячется во дворе и подождет, пока он возвратится вечером с ключом. Но очень Миша на это не надеется, он ее слишком хорошо знает, сумасшедшая Роза не сможет выбросить из головы любовь к маме и папе, ни к чему сейчас эта глупая чувствительность. Самое большее, что она сделает, так это остановится на минутку, потом снова помчится к своей гибели, побежит туда, где ее родители и где они конечно же могли бы без нее обойтись, и никому она не поможет.

Все расчеты кончились, когда он наконец нашел ее на длинной, прямой, как струна, улице. На Аргентинской аллее, где все липы аккуратно спилены под самый корень и поэтому там так далеко видно. Она совсем пустая. Аргентинская аллея, он разглядел ее платье кирпичного цвета, когда оно было еще только точкой, потом ее голубой платок, узнал ее походку, как и следовало ожидать, она шла медленно, Миша думает: какое счастье.

Когда до нее остается несколько метров, он перестает бежать, идет тихонько за ней вслед. Роза рассматривает красивые остроконечные крыши, раньше это был квартал богатых коммерсантов, Роза гуляет.

Последняя мысль перед тем, как он ее окликнет: только бы его поведение его не выдало; все обыкновенно, он как раз идет к ней домой, потому что узнал, что сегодня на фабрике им дали выходной. Не проронить ни слова о тревоге, ни словечка о судьбе Францисканской улицы, иначе она еще вспомнит об этой своей дочерней любви.

Миша хочет закрыть ей сзади глаза рукой и изменить голос, пусть догадается, так было бы естественнее всего. Он замечает, что руки у него клейкие от пота, лицо тоже, он вытирает его

рукавом и вымучивает из себя легкомысленное: «Вот так встреча!»

Она быстро оборачивается, сначала испуганно, потом улыбается, самые красивые девушки улыбаются Мише. Роза спрашивает:

— Ты что здесь делаешь?

— А ты что?

— Я иду домой, — говорит она. — Подумай, пробыла на фабрике не больше часа, и меня отпустили.

— А почему?

— Понятия не имею. Они просто сказали, я могу идти домой, и еще несколько человек, но не все.

— И у меня так же, — говорит Миша.

— Ты сегодня свободен? Целый день?

— Да.

— Вот хорошо, — говорит Роза.

Она берет его под руку, нечаянный прохожий любуется счастливыми влюбленными.

— Пойдем ко мне, — говорит Миша.

— Но почему ты оказался здесь?

— Потому что я хотел подождать тебя возле фабрики. Когда они меня отпустили, я подумал, может быть, и тебя тоже сегодня отпустят.

— Ты умный мальчик.

— Но ты уже ушла. Мне сказала одна девушка, рыженькая, очень симпатичная.

— Это Лариса, — говорит Роза.

Они идут к нему домой — спокойно, не торопясь, потому что его не беспокоит, какую дорогу они выберут, Францисканская все равно остается слева. Роза рассказывает про Ларису, что иногда она с ней говорила о Мише, он ведь не будет на нее сердиться, они шьют за одним столом, а день такой длинный. Лариса на вид тихая, но в тихом омуте черти водятся, мечтательные глазки обманчивы. Например, у нее тоже есть друг, его зовут Найдорф, Иосиф, она называет его Иоселе, он работает на инструментальном заводе, Миша его не знает. Они живут в одном доме, у Ларисы есть еще мать и два взрослых брата, с ними случилась смешная история. Однажды они избили Иосифа Найдорфа, когда застали его с их сестрой на чердаке; и что же те, по-твоему, делали? Целовались, конечно; но Лариса выдала им за это по первое число. Теперь они тихие и мирные, они поняли, что она уже не маленькая девочка, Иоселе может теперь даже приходить к ним в дом, само собой, там он только вежливо разговаривает. И вдруг, прервав милую болтовню, Роза останавливается и спрашивает:

— С чего это они решили отпустить нас на целый день?

— А я откуда знаю, — говорит Миша.

— Но ведь должна быть причина!

Он пожимает плечами, он надеялся, что она не заговорит об этом, он не нашелся, что ответить, но она, конечно, права, это странно.

— Может, это связано с русскими? — спрашивает она.

— С русскими?

— Ну да. Они чувствуют, что им скоро конец, вот и решили стать хорошими, — говорит Роза. — Разве ты не понимаешь? Я думаю про потом.

— Может быть, — говорит Миша, лучшего объяснения у него не приготовлено.

Итак, к нему домой, не торопясь; Роза разговорчива, как никогда раньше, просто от радости, что неожиданно выпал свободный день, Миша ей не мешает, слова плещутся, как ручеек, у нее есть еще много чего рассказать, не только про Ларису, и у Клары, и у Аннеты, не

говоря уже про Нину, у каждой есть свои делишки, и еще какие, а потом, ее отец стал наконец подумывать о будущем. Позавчера он положил на стол странную бумажку, говорит Роза, там были записаны в три столбца роли, которые, как он считает, он должен сыграть, если Бог захочет, и в чем дирекция достаточно долго ему отказывала. Подробностей Роза не знает, она слишком мало разбирается в театре, но их было по меньшей мере двадцать.

Перед входной дверью Миша вспоминает об одной неприятности, раз нет работы, то нет и обеда, он спрашивает Розу, не захватила ли она случайно продуктовые карточки. К сожалению, они лежат дома, он подумал, еще и это. Может быть, ей быстро сбегать за ними, нет, не нужно, он дает ей ключ, он скоро вернется, он купит на свои.

В лавке Миша единственный покупатель, в другое время, после работы, каждый раз приходится ждать не меньше получаса.

— В такое время? — спрашивает откормленный Розенек. Насчет его весов есть подозрение, что они неточны, ошибаются всегда в одну сторону, только с их помощью он сумел занять такое брюшко. Правда, он пытается скрыть предательскую толщину широким халатом, но халат и Розенека видят насквозь, раздувшиеся щеки никакой халат не спрячет.

— Сегодня свободный день, — говорит Миша.

— Свободный день? Что это значит?

— Свободный и все.

Миша кладет карточки на прилавок, все, что у него есть на всю неделю.

— Сегодня только вторник, — говорит Розенек удивленно, есть над чем подумать.

— Все равно.

— Что ж, тебе виднее.

Розенек достает из запыленного мукой ящика, что стоит позади него, круглый хлеб, который и хлебом-то не пахнет, кряхтя, разрезает его длинным ножом, потом кладет на знаменитые весы с обманными гирями.

— Взвешивайте, пожалуйста, как следует, — говорит Миша.

— Что это значит? Я всегда взвешиваю, как следует.

Миша не станет ввязываться в словесные препирательства, они все равно ни к чему не приведут, он говорит:

— Взвесьте особенно хорошо, у меня гости.

— Гости? Что это значит?

— Гости.

У Розенека тоже есть сердце, он дает Мише другую половину хлеба, считается, что это половина, не кладя ее на весы. К этому два кармана картошки, потому что у Миши нет с собой сумки, кулек гороховой муки, колбасу — на вид это колбаса, на вкус неизвестно что, — фунтик солодового кофе.

— Кажется, на талонах написано что-то про жир, — говорит Миша.

— Написано. А где мне его взять?

— Господин Розенек, — говорит Миша. Розенек смотрит на него так, словно ему предстоит принять самое трудное в жизни решение, ты меня губишь, юноша, Розенек спрашивает:

— Кофе тебе обязательно нужно?

— Нет, не очень.

Розенек еще на некоторое время застывает в позе несчастнейшего человека, наконец он берет с прилавка пакетики кофе и отправляется в комнату, что рядом с лавкой. Он возвращается, держа перед собой пергаментную бумагу, на первый взгляд кажется, что это просто сложенный вчетверо лист, потом видишь, что в бумаге что-то завернуто. Жир. Розенек, судя по выражению его лица, отрезал его от собственного живота.

— Только для тебя, — говорит Розенек. — Но ради Бога, никому не рассказывай.

— Зачем же я буду рассказывать, — говорит Миша.

Миша поднимается наверх, нагруженный целым богатством, Роза удивляется, как много он принес, она широко распахнула окно.

— А то солнце подумает, что никого нет дома, и снова скроется, мама всегда так говорит.

Миша прячет подарки Розенека в шкаф, вытряхивает из карманов пыль. Роза подзывает его к окну, ее голос ему не нравится. Стоя рядом с ней, он высовывается из окна, к ним приближается серая колонна, она еще далеко, подробностей разглядеть нельзя; пока только слышен время от времени лай собак, впрочем, они лают зря, потому что никто не выходит из колонны.

— Какая улица сегодня? — спрашивает Роза.

— Не знаю.

Он отводит ее от окна и закрывает его, но не может помешать ей стоять за стеклом и ждать, пока они пройдут. Роза говорит:

— Подожди, может, там знакомые.

— Ты хочешь есть? — спрашивает Миша. — Давай приготовим что-нибудь.

— Не сейчас.

Нет смысла предлагать ей еще что-нибудь. Он знает — на все, что он сейчас ей скажет, она ответит: не сейчас. Ее можно оторвать от окна только силой, в общем, глупо с ее стороны, потому что она не подозревает, кого увидит в колонне, но она себе втемяшила, что, когда такое случается, она не должна прятать голову под крыло. Это для Розы правило, такая уж она есть. Самое простое — схватить ее, бросить на кровать и начать целовать, будто именно в эту минуту им овладело желание. Миша уже сделал первый шаг в этом направлении, но на втором мужество его покидает. Роза хорошо его знает, она сразу почувствует фальшь. Ничего не поделаешь, пусть стоит до той самой минуты, избежать ее не удастся.

Он садится на кровать, пытается выглядеть спокойным, что, впрочем, совершенно безразлично, потому что Роза, не отрываясь, смотрит на улицу. Она прислонилась лбом к стеклу, прижимается к нему все плотнее, чем отчетливее видит колонну, от дыхания на стекле образуется маленькое пятно, она дышит с открытым ртом, как все люди, когда взволнованы.

— Иди же сюда, — говорит она.

Должны же были эти идиоты обязательно выбрать его улицу, как будто недостаточно других улиц, Мише хочется встать и выйти на площадку или хотя бы уйти на половину Файнгольда, которая через день после вторжения Розы приняла, конечно, свой старый вид, но что же будет делать она? Лай собак становится громче, и, когда он на минуту смолкает, слышны шаги и даже голос: «Живее, живее!»

— Миша, — говорит Роза тихо. — Миша! — кричит она через секунду. — Миша, Миша, Миша, это наша улица!

Теперь он стоит за ее спиной, мысль, что в колонне должны быть ее родители, видимо, еще не дошла до нее. Она шепотом перечисляет имена соседей, которых узнает в лицо, каждый держит что-то в руках: сумку, чемодан, узел с вещами, которые нужно взять в дорогу. Миша ищет глазами Франкфуртеров, он находит их раньше, чем Роза, у Феликса Франкфуртера на шее неизменный шарф. В его походке есть что-то от уверенности, жена, на голову ниже его, идет рядом, она смотрит на их окно, ведь Миша никогда не был секретом.

Роза все еще перечисляет имена, взгляд матери заставляет Мишу действовать. Он подхватывает Розу и несет ее прочь, подальше от окна, он хочет положить ее на кровать и не отпускать, но из этого ничего не выходит, они оба по дороге падают, потому что Роза сопротивляется. Он дает бить себя, и царапать, и тянуть за волосы, он крепко держит только ее

саму, они лежат на полу целую вечность. Она кричит: «Отпусти!» Пока перестает доноситься собачий лай, пока не слышны больше шаги, она бьет его все слабее, потом затихает. Он бережно отпускает ее, готовый в следующую секунду опять схватить. Но она остается лежать неподвижно, с закрытыми глазами, тяжело дыша, как после большого напряжения. Кто-то стучит в дверь, соседка спрашивает, не надо ли помочь, ей показалось, что кто-то кричал.

— Нет, нет, все в порядке, — говорит Миша в закрытую дверь, — спасибо.

Он встает и открывает окно, иначе, как говорят, солнце подумает, что никого нет дома, и снова спрячется, на улице тихо и пусто. Он долго смотрит вниз, когда он оборачивается, Роза все еще лежит на полу.

— Вставай же.

Она встает, ему кажется, она встает не потому, что он ей сказал. Еще не пролилась ни одна слеза, она садится на кровать, он не решается заговорить.

— У тебя кровь на шее, — говорит она.

Он подходит к ней, приседает на корточки, пытается заглянуть ей в лицо, но она смотрит мимо.

— Потому ты пошел меня встречать, — говорит она, — ты знал.

Он пугается, когда до него доходит, какой упрек звучит в ее словах. Он хочет объяснить, что не было уже никакого времени предупредить родителей, но сейчас она не примет никаких объяснений.

— А ты их видела? — спрашивает он.

— Ты ж меня не пустил, — говорит она и наконец начинает плакать.

Он говорит, что он их тоже не видел, вся колонна прошла, а он их не видел, может быть, они вовремя почувствовали опасность и успели спрятаться. Он знает, как нелепы его слова, через три слова он замечает, до чего бесполезно врать, но досказывает фразу до конца, как заведенный.

— Ты наверняка их увидишь, — говорит он еще, — Яков сказал...

— Врешь! — кричит она. — Вы все врете! Вы говорите и говорите, а ничего не меняется!

Она вскакивает и пытается убежать. Миша успевает схватить ее, когда она уже открыла дверь. Женщина на площадке отрывается от замочной скважины. Она спрашивает:

— Может быть, я все-таки могу помочь?

— Нет, черт возьми! — кричит Миша, теперь он тоже кричит.

Женщина, обиженная, удаляется, похоже, что ее готовность помочь ближнему улетучилась навеки, во всяком случае, что касается этого нахала. Но Роза благодаря вмешательству третьего лица пришла в себя, так, по крайней мере, это выглядит, она возвращается в комнату без Мишиного принуждения. Он запирает дверь, он боится молчания. Поэтому он сразу начинает устраиваться в пустующей половине Файнгольда, шкаф придвинут к стене, как раз на то место, где на обоях сохранился светлый четырехугольник, занавеска, разделявшая комнату, повешена на окно. Потому что теперь Роза будет жить здесь, по крайней мере, хоть это ясно.

* * *

— Ты слышал что-нибудь в последнее время про депортацию? — спрашивает Миша.

— Нет, — говорит Яков.

— Они увезли не только с Францисканской. Они были и на Загорской и...

— Я знаю, — говорит Яков.

Несколько шагов они проходят молча по дороге домой с товарной станции, от Ковальского

они избавились еще на углу. В Мишином присутствии он сдерживал себя и не задавал вопросов.

На товарной станции с того дня недосчитываются пятерых, может быть, больше, из тех, с кем они были знакомы. Яков уже думал, что не хватает шести, он считал и Мишу, потому что в тот день Миша не пришел на работу, к счастью, это оказалось ошибкой.

— А как с Розой? — спрашивает Яков.

— Как с ней должно быть?

— Как вы обходитесь с едой?

— Прекрасно!

— Ведь карточки она теперь получить не может!

— Кому ты это рассказываешь?

— А из соседей никто не может помочь? У меня было то же самое с Линой. Киршбаум всегда приносил что-нибудь.

— Я больше не верю, что это хорошо кончится, — говорит Миша. — Они берут одну улицу за другой.

Яков слышит в его голосе едва прикрытый упрек.

— Может быть, — говорит Яков. — Но подумай сам: немцы в панике, раз они всех увозят, лучшее доказательство, что русские совсем близко! Если посмотреть с этой стороны, то это даже хороший знак.

— Ничего себе, хороший! Попробуй объяснить это Розе.

В один из бесконечно тоскливых и заплаканных дней, ближе к вечеру Роза выходит из дома, хотя Миша строго запретил ей показываться на улице. Для него было бы лучше запирать ее, несмотря на протесты, он не сделал это только потому, что уборная во дворе.

У нее нет никакой цели, просто хочется немного размять ноги после целой недели заточения. Опасность, о которой Миша без конца говорит, она считает преувеличенной, в его комнате она не в большей безопасности, чем в любом другом месте, каждый день очередь может дойти и до его дома. И кто ее узнает, знакомых почти не осталось, патрули ходят только по вечерам, ближе к тому времени, когда запрещено появляться на улице. И, кроме того, ей все это в конце концов безразлично, Мише не обязательно знать об этой прогулке, она ведь скоро вернется.

И совсем не обязательно, чтобы то, что она ему рассказывает потом, после того, как он пришел домой гораздо раньше ее, точно соответствовало истине: будто случайно у нее оказался ключ от ее квартиры. И что она вовсе не собиралась туда идти, просто ноги по старой привычке сами ее туда привели.

Улица показалась ей неправдоподобно пустынной, ее обходили стороной, будто там свирепствовала чума. Роза заглядывает в комнату на первом этаже, в квартиру людей, с которыми она еще несколько дней назад здоровалась, в одном окне она видит мальчика. Ему лет четырнадцать, он стоит на коленях перед открытым шкафом и торопливо засовывает в рюкзак все, что может схватить: посуду, постельное белье, брюки, деревянный ящичек, даже не посмотрев, можно ли воспользоваться его содержимым. Роза смотрит и смотрит на него, не в состоянии оторвать взгляда, на единственное, кроме нее, живое существо. Шкаф, по-видимому, уже совершенно пуст, но рюкзак еще не наполнен, мальчик поднимается с колен, оглядывает комнату, что бы еще прихватить, замечает большие глаза за оконным стеклом; в первый момент он пугается, потом видит звезду на груди у Розы, и на лице его появляется понимающая усмешка. Наверно, он посчитал ее всего только безопасной конкуренткой.

Роза спешит дальше, она спрашивает себя, побывал ли и в ее квартире такой — она не знает слова, — такой грабитель. При этом она не испытывает гнева, их можно понять, и все-таки, все-таки ей неприятно, что за этими стенами существует еще другая, тайная жизнь, не видная с

первого взгляда, которая постепенно стирает все следы той, прошлой жизни.

Она тихо отворяет дверь в парадное и прислушивается с гулко бьющимся сердцем... Ей бы хотелось, чтоб рядом стоял Миша, вдруг его удалось бы уговорить, но так уж вышло, она здесь одна, без него. Никогда нельзя быть до конца уверенным; она долго прислушивается к полной тишине, — пожалуй, можно считать, что в доме, кроме нее, никого нет. Роза быстро поднимается на третий этаж, перед тем, как всунуть ключ в замок, она смотрит сквозь замочную скважину.

И вот она в комнате. Комната выглядит тщательно убранной, пыль еще не успела собраться, четыре стула аккуратно стоят вокруг стола, на нем желтая скатерть, бахрома с длинной стороны. Из крана капает вода. Пока никто с рюкзаком здесь не был, это Роза видит с первого взгляда, и что ее родители собирались в дорогу не спеша — тоже.

Прежде всего она ищет какой-нибудь записки, мысль приходит ей только сейчас, она вспоминает, что мать даже на минутку не выходила, не оставив ей записки. Но на этот раз она, по всей вероятности, отступила от старой привычки, потому что нигде не находится исписанного листочка, на котором все равно могло стоять только: не знаю куда, не знаю на сколько.

Потом Роза ищет еще раз — не письмо, не сообщение, ищет просто так. Миша рассказывает мне, она сентиментальная девушка, ей хотелось знать, что родители взяли с собой. Наверно, она плачет при этом в три ручья, нет кожаной сумки для покупок в белую и коричневую клеточку и черного фибрового чемодана — это из того, во что можно положить вещи; все остальное на месте. Так как Роза точно знает их здешнее семейное имущество, она в состоянии в конце концов составить себе список того, что они с собой взяли. В том числе альбом с фотографиями и рецензиями — книгу об истинной жизни Феликса Франкфуртера.

Ее вещи лежат нетронутые, среди многого другого и продуктовая карточка, часть талонов уже пропала. Роза прячет ее, а больше нет ничего, что бы ей было особенно дорого. Она заставляет себя подумать о практических вещах, есть еще портфель, туда она кладет свое второе платье, белье, чулки и сверху пальто. При этом она удивляется, как это она может думать о следующей зиме, так далеко вперед. С втиснутым пальто портфель не закрывается, Роза хочет надеть пальто на себя, но тогда ей нужно отпороть звезду с платья и пришить ее на пальто. Поэтому она решает все-таки оставить пальто в портфеле и перевязывает его поясом. Если она встретит того мальчишку на улице, он позавидует ее добыче.

Роза закручивает кран, чтоб не капал, здесь она со всем покончила. Уходя, она оставляет ключ в двери, для мальчишки или кого-нибудь другого, — так она поставила последнюю точку.

— Можешь гадать, сколько угодно, — говорит мне Миша, — ты не догадаешься, куда она потом пошла.

Роза приходит к Якову, она с ним не знакома, только по рассказам Миши, но по рассказам она знает его хорошо. После Безаники не было ни одного проведенного вместе вечера, чтобы речь не шла о нем, о его радио, о его мужестве, об успехах русских на фронтах. Когда прошла первая радость, Роза в тот раз спросила, почему Яков только сейчас начал рассказывать о передачах, ведь мы живем в гетто уже хороших три года, и если у него спрятано радио, то оно у него было с самого начала.

— Наверно, потому, что все это время немцы двигались вперед. К чему же ему сообщать, что с каждым днем положение все хуже, — ответил ей Миша, и это звучало убедительно.

И вот она стоит перед дверью, пытается уговорить себя, что ее привело сюда не желание мстить и что у нее нет против него зла. Он наверняка славный человек, и приветливый, и хочет только добра, но обещания, которые с каждым днем звучат все бодрее, и пустая комната на Францисканской, даже целый квартал, — она спросит его, как же одно с другим согласуется.

Пусть он задумается, пожалуйста, разрешено ли в их положении возбуждать такие надежды, не начинайте только, будьте добры, про радио, оно может рассказывать о каких угодно победах, посмотрите, что делается вокруг.

Роза напрасно стучит несколько раз, почему она раньше не сообразила, что Яков должен возвращаться домой приблизительно в то же время, что и Миша. Ожидание лишает ее уверенности, когда она окажется с ним лицом к лицу, голова у нее будет совсем пустая и мыслей уже никаких. Она еще успеет уйти, может быть, возвратиться до прихода Миши и избежать неприятностей, иначе ей не миновать скандала. Чем дольше она ждет, тем ясней ей становится — приходится в этом признаться, — что намерения, с которыми она явилась сюда, в высшей степени туманны. Яков будет ссылаться только на свое радио, что бы она ни ставила ему в упрек, она надеялась, что все переживут это время, несчастье пройдет мимо, и вот оказалось иначе — если рассуждать трезво, то это ее единственный довод. «Она делает ход раньше, чем подумает», — сказал однажды папа после партии в шашки, ее папа так сказал. Розе приходит в голову, что Яков, может быть, распространяет другие известия, чем те, что слышит по своему радио.

В конце коридора появляется Лина, только что с улицы, от Рафаэля, она видит молодую женщину с набитым портфелем возле той самой двери и с любопытством подходит ближе. Они немножко изучают друг друга, ни у одной пока не возникает подозрения. Лина спрашивает:

— Ты хочешь к дяде Якову?

— Да.

— Он скоро придет. Может быть, тебе лучше подождать в комнате?

— А ты здесь живешь?

Вместо ответа Лина достает ключ из-за дверного косяка, открывает и хозяйским жестом приглашает войти, она немножко гордится. Роза, поколебавшись, входит в комнату, ей тут же подвигают стул, она попала к внимательной хозяйке. Лина тоже усаживается, они опять разглядывают друг друга, благожелательность с обеих сторон.

— Ты Лина, верно? — говорит Роза.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут?

— От Миши, — говорит Роза. — Вы ведь знакомы?

— Конечно, знакомы. А теперь я знаю, кто ты.

— Вот это интересно.

— Ты Роза. Угадала?

Они рассказывают, что знают друг о друге, между прочим, Лина еще сердита на Мишу — за все время, пока она была больна и лежала в постели, Миша ни одного раза не навестил ее, все только сердечные приветы через Якова. Роза незаметно оглядывается, она, понятно, не ожидает, что аппарат открыто стоит в комнате на радость каждому случайному гостю.

— А что тебе надо от дяди Якова? — спрашивает Лина, когда обычные темы беседы исчерпаны.

— Лучше подождем, пока он придет.

— Ты хочешь что-нибудь передать от Миши?

— Нет.

— Можешь спокойно сказать мне. От меня у него нет секретов.

Но у Розы нет такого намерения, она улыбается и молчит, тогда Лина пробует обходные пути:

— Ты уже бывала у нас когда-нибудь?

— Нет, еще ни разу.

— К нам, если хочешь знать, ходят в последние дни самые разные люди. И что они

хотят? — Лина делает паузу, которую Роза должна истолковать как знак особого доверия, прежде чем сообщает по секрету: — Они хотят слушать последние известия. Ты тоже для этого пришла?

С лица Розы исчезает улыбка, она пришла вовсе не за этим, скорее с противоположной целью. Она вообще жалеет, с первого момента начала жалеть, для нее с ее отчаяньем это неподходящее место, здесь все идет честно и с твердой верой. Она спрашивает себя, что стала бы делать, если б сейчас вошел Яков и рассказал ей, что транспорт с ее родителями на пути туда-то и туда-то повстречался со своими освободителями. И она не решается ответить на этот вопрос и на второй тоже, не лгала ли она себе до сих пор насчет истинной причины своего прихода. Это не исключено, может быть, и лгала.

— В чем дело? — спрашивает Лина. — Ты тоже ради этого пришла?

— Нет, — говорит Роза.

— Но ты тоже слышала?

— О чем?

— Что скоро все будет по-другому.

— Да, — говорит Роза.

— Почему же ты не рада?

Роза выпрямляется на своем стуле, вот он, порог, у которого поворачивают назад или говорят правду, но в чем правда — есть только ее сомнения. Она говорит:

— Потому что я в это не верю.

— Ты не веришь тому, что рассказывает дядя Яков? — спрашивает Лина таким тоном, будто она плохо расслышала.

— Нет.

— Ты думаешь, он все врет?

Розе нравится слово, оно так хорошо укладывается в ее мысли, но ведь ей хотелось бы поболтать с этой славной девчушкой о милых, славных вещах. Ни в коем случае не продолжать разговор в том направлении, какое он принял, как можно, она же ребенок. Она не смогла бы назвать убедительной причины, но вдруг уверилась, что совершила ошибку, надо надеяться, что ошибка останется без последствий. Нельзя же вдруг ни с того ни с сего встать и уйти, Роза сидит в растерянности и ждет, теперь уже не Якова, теперь она ждет удобной возможности окончить этот визит, который, как она поняла, ни к чему. Но эта возможность уходит от нее все дальше — пережив секунду страха, Лина так воодушевилась, что просто страшно становится. Ее дядя не врал, Боже сохрани, как можно такое сказать про него. Роза утверждает, что она этого не говорила, но на самом деле она сказала именно это, неправильно и несправедливо! Когда она сама слышала по его радио, что русские скоро будут здесь, своими собственными ушами, что ты теперь на это скажешь? Один человек с очень густым голосом рассказывал другому человеку, она не помнит теперь его имени, но голос помнит точно, слово в слово он сказал, что всей этой заварухе скоро конец, самое позднее, через несколько недель. Что же, он тоже соврал? Как Розе вообще могло прийти в голову приписывать ее дяде вранье, пусть она только его дождет, он сумеет ответить ей, как полагается.

До того как все было досказано, с возмущением и вздохом, Лина замолкает и испуганная смотрит мимо Розы, Роза поворачивает голову к двери. Там с каменным лицом стоит Яков, никто не почувствовал дуновения от открывающейся двери.

Роза поднимается, как много или как мало он успел услышать, ей кажется, что он ее видит насквозь, такое отчаяние у него в глазах. Опустив голову, она идет к двери, теперь не найдется удобного повода к отступлению, по ее вине случилось что-то плохое. Яков дает ей дорогу, но ей нужно вернуться к стулу, еще раз пройти этот путь, потому что портфель лежит забытый на

полу. Весь длинный коридор Роза не решается оглянуться. На лестнице она все-таки оглядывается, Яков все еще стоит неподвижно и смотрит ей вслед, сейчас девочка расскажет ему то, что он наверняка уже знает.

Останемся с Розой. Она выходит на улицу в надвигающиеся сумерки, там ее ждет следующая неприятность. На улице страшное волнение, евреи ищут укрытия в подъездах, опять паника, сначала Роза не понимает, чего они так испугались. Потом она видит, как приближается машина, маленький темно-зеленый грузовик, на подножке стоит немец в форме. Роза бежит назад, в дом Якова, и она поддалась страху, она прислоняется к стене и закрывает глаза. Она открывает их, только когда слышит поспешные шаги, старый человек, тяжело дыша, становится рядом с ней, он тоже прибежал с улицы.

— Что им нужно, вы не знаете, девушка? — спрашивает он.

Роза пожимает плечами, сейчас машина проедет мимо и забудется, теперь ее ждет сцена с Мишей. Старик предполагает, что это что-то, связанное с самыми высшими властями, иначе они пришли бы пешком, как случается довольно часто. К ужасу обоих, слышится скрип тормозов, старик в страхе схватил Розу за руку так крепко, что сделал ей больно.

Нужно же, чтобы двое в форме вошли именно в их подъезд, ремешки под подбородком, старик не отпускает Розину руку. Мотор в машине не выключен, немцы поначалу считают, что они одни в темноте подъезда, уже подходя к лестнице, один из них говорит:

— Посмотри-ка!

Они поворачиваются к двум фигурам у стены. Роза явно интересуется их больше, чем мужчина, а может быть, она это себе только вообразила. Они подходят ближе, тогда один машет рукой:

— Нет, не то. Другой говорит:

— Убирайтесь отсюда.

Потом они поднимаются по лестнице, их громкие сапоги всполошили весь дом. Слышно, как хлопает дверь, со всех сторон взволнованные голоса перебивают друг друга, хотя в таких обстоятельствах разумнее было бы соблюдать спокойствие, где-то плачет ребенок.

— Пошли! — говорит шепотом старик.

Роза бежит за ним, возле двери он останавливается, боится машины — но мимо нее все равно нужно пройти, если они хотят выполнить требование немцев.

— Идем же, — говорит Роза.

Они торопливо переходят улицу, бегут к дому на противоположной стороне, там уже открыли для них дверь. Старик садится в изнеможении на нижнюю ступеньку, он стонет, будто пробежал целый квартал, и держится за сердце. Роза видит в подъезде еще трех мужчин и женщину, тут еще темнее, чем в доме Якова, она никого из них не знает. Она смотрит на дверь, обитую жестью, у замочной скважины стоит еще один человек, довольно молодой, и передает остальным, что происходит на улице.

— Еще ничего, — говорит он.

— Кого они там ищут? — спрашивает женщина.

— А я откуда знаю, — отвечает старик, не переставая растирать себе грудь.

— Там живет кто-то особенный? — спрашивает мужчина.

Сначала ему не отвечают, это все случайные прохожие, шли с работы и попали сюда, они никого не знают на этой улице, пока Роза не говорит:

— Они пришли за Яковом Геймом.

Кто такой Яков Гейм, что за Яков Гейм, наблюдатель у замочной скважины отрывается от своего занятия и спрашивает:

— Яков Гейм? Тот, у кого радио?

— Да.

— Хорошенькая история, — говорит он, и Роза считает, что он сказал это без особого сочувствия. — Рано или поздно это должно было открыться.

И тут старик на ступеньке приходит в ярость; это удивляет Розу: казалось, он занят своим страхом и своим сердцем, теперь от возмущения у него вздулись вены.

— Почему это должно было открыться, ты, сопляк? Скажи, почему? Я тебе скажу, почему это открылось! Потому что какой-то негодяй проболтался! Вот почему! Или ты думаешь, они узнали это из воздуха?

Сопляк смущенно и без возражений проглатывает выговор, он снова наклоняется к замочной скважине и говорит после короткой паузы:

— Все еще ничего.

Старик кивком подзывает Розу и подвигается, освобождая ей место. Что ж, она садится рядом.

— Ты его знаешь? — спрашивает он.

— Кого?

— Этого Якова Гейма.

— Нет.

— Откуда же тебе известно, что он здесь живет?

— От знакомых, — говорит Роза.

— Они все еще там, — сообщает сопляк.

Старик на секунду замолкает, задумавшись, потом говорит, обращаясь к двери:

— Когда они его поведут, скажи мне. Я хочу знать, как он выглядит.

Сначала Роза считает это неуместное любопытство бестактным, потом она уже так не думает.

— Он очень многим рисковал, — говорит старик, снова обращаясь к Розе, и в голосе его восхищение и благодарность. Роза кивает в знак согласия и спрашивает себя, что она станет рассказывать Мише; за то, что она ходила в их квартиру, он ее как следует выругает, но умолчать об этом она не может, если б и захотела, портфель и продуктовые карточки все равно ее выдадут. Но Якова она лучше упоминать не будет, в этом она не решится признаться, теперь особенно. И как это ни ужасно, о встрече с Яковым она может умолчать без всякого риска, у Якова уже не будет возможности уличить ее во лжи.

— Может быть, его вообще нет дома, — говорит старик.

— Он дома, — говорит Роза, не подумав.

Старик смотрит на нее удивленно, в его взгляде вопрос, но он не успевает произнести его, потому что сопляк у двери кричит:

— Вы ошиблись! Они ведут женщину! Разрешим себе некоторую свободу передвижения, выйдем на улицу. Женщина, которая идет под конвоем, — Элиза Киршбаум. Ей предстоит заплатить за несостоятельность своего брата, за то, что вопреки ожиданиям он не смог вылечить штурмбаннфюрера, им это слишком поздно пришло в голову.

Уже давно в доме опасались такого развития событий, не так трудно сосчитать один и один, кто-то обронил в разговоре слово, до сих пор нам неизвестное, — на их языке оно означает ответственность всех членов семьи за действие, совершенное одним из ее членов. В тот же день вечером, когда флаг на товарной станции полоскался на ветру приспущенный, Яков зашел к Элизе Киршбаум. Он посоветовал ей подумать, не лучше ли сейчас пожить у друзей, которые у нее, конечно, есть, по крайней мере некоторое время, нельзя быть уверенным, что не последуют репрессии, это вполне возможно в таких обстоятельствах, потому что, как это ни горько, но, что касается ее брата, то приходится предполагать самое худшее, а если вдруг

случится чудо и, несмотря ни на что, он вернется живым и невредимым, Яков заверяет ее, что тотчас даст ей знать. Однако она не захотела ничего слушать, она сказала Якову: «Это очень любезно с вашей стороны, уважаемый господин Гейм, но предоставьте мне самой принимать решения». Как будто у нее в руках был козырь, о котором никто понятия не имел.

Теперь она идет впереди обоих немцев, торопливо, чтобы не дать повода толкнуть ее или дотронуться. И потому еще, думает Яков, стоя у своего окна, чтобы не стать зрелищем для всей улицы, которая, хоть и выглядит пустынной, на самом деле полна спрятанных глаз.

Эта демонстрация силы и власти — те двое, что с гулким топотом идут за ней, — выглядит преувеличенной, гротескной рядом с этой хрупкой арестанткой. Элиза Киршбаум останавливается за машиной, не оглядываясь на своих сопровождающих. Один открывает борт, на внутренней стороне есть подножка, она хочет подняться на нее. Но в эту минуту машина трогается, Элиза Киршбаум ступает в пустоту и падает на мостовую. Машина всего только разворачивается, чтобы остановиться на другой стороне улицы, шофер высунул голову из окна. Наблюдательный пункт Якова на таком расстоянии, что он не может разглядеть лиц, те, кто живут ближе, рассказывали потом, что немцы довольно ухмыльнулись, — наверно, они часто забавляются этой шуткой. Элиза Киршбаум тотчас же поднимается с удивительным для ее возраста проворством, она стоит наготове еще до того, как шофер управился с поворотом, ему удается это только со второго раза. Потом она поднимается внутрь, подножка слишком высока для нее, несмотря на все усилия не дать повода к себе прикасаться, она все же получает пинок. Оба немца взбираются вслед за ней, задний борт поднимают, Элиза Киршбаум навсегда исчезает за темно-зеленым брезентом. Машина уезжает, потом, спустя некоторое время — мало ли что может случиться, — открываются двери подъездов, узкие тротуары постепенно заполняются молчаливыми и обсуждающими события людьми, большинство которых, как мы знаем, возвращаются с работы, они чужие на этой улице. Между тем Красная армия, согласно радиосообщениям, стоит уже возле уездного города Прыи. Прыю не сравнить с Безаникой, Прыю знает каждый, про Прыю не нужно сначала спрашивать, где она находится.

Прыя точно в ста сорока шести километрах от нас, большинство местных жителей там бывали. Кое-кто даже там жил, и, когда началась война, они были отправлены сюда, потому что в Прые вследствие благоприятного состава населения не существует собственного гетто.

Позиции русских становятся предметом оживленного обмена мнениями, Ковальский затеял спор с тремя своими соседями по комнате, их имен я не знаю. Как нам с Яковым достаточно хорошо известно, самое легкое на свете — это придерживаться другого мнения, чем Ковальский, но в этом особом случае мы склонны с ним согласиться. Речь идет отнюдь не о мелочи, речь идет о том, что этот один, назовем его для простоты Авраам, утверждает, будто русские уже прошли Прыю, что они подходят к Миловорно, об этом говорил один на его предприятии, будем считать, что на кирпичном заводе. Ковальский же клянется и божится, что русские не дошли даже до Прыи. Однако Авраам не видит решительно никаких оснований верить Ковальскому больше, чем своему коллеге.

— Кто работает на товарной станции, — спрашивает с раздражением Ковальский, — ты или я? Кто узнает новости из первых рук? Ты или я?

Для Авраама это отнюдь не убедительное доказательство, прежде всего потому, что его версия звучит гораздо приятнее, чем слова Ковальского, каждый человек может ошибиться, говорит он. На это есть вполне логичное возражение: все, что будто бы знает этот таинственный коллега с кирпичного завода, в конце концов может исходить только от Якова, однако тот не хочет с этим считаться.

— Или, по-твоему, есть второе радио?

— Что ты меня спрашиваешь?

Бог с ним, с Авраамом, Ковальскому, в конце концов, все равно, что тот думает, пожалуйста, пусть верит ни с чем не сообразным слухам — но все-таки он чувствует себя ответственным за то, чтобы восторжествовала истина. Потому что радио некоторым образом принадлежит и ему: по старинной дружбе с Яковом, которая продолжается до сегодняшнего дня. Он, можно сказать, почти что получил аппарат в собственную квартиру, об этом шел разговор, когда было испорчено электричество. Итак, набравшись терпения, он обстоятельно разъясняет, какой длинный путь приходится проделать каждому сообщению—от Якова до кирпичного завода, через сколько людей, каким опасностям оно подвергается по дороге — опасностям искажения и приукрашивания. Как каждый добавляет что-то от себя, из хорошего делает лучшее, и в конце концов, как выясняется, оно является в таком виде, что родной отец его не узнает.

— Во всяком случае, русские на подходе к Миловорно, — упрямо говорит Авраам. — Может быть, ты ослышался или он ослышался. Лучше всего, спроси его завтра еще раз.

Ковальский не стал ждать завтра, чтобы спросить Якова, не так часто находится предлог для спокойного дружеского разговора, Ковальский направляется к Якову немедленно.

Он находит его в прескверном состоянии, вялого, равнодушного, молчаливого: полчаса назад увели Элизу Киршбаум.

— Я помешал? — спрашивает Ковальский со светской улыбкой и чувствует, только взглянув на лицо Якова, что она не к месту.

— А, это ты пришел, — говорит Яков.

Он закрывает за Ковальским дверь и ложится одетым на постель, на которой, по всей видимости, лежал до того, как постучали. Он скрестил руки на затылке и уставился в потолок. Ковальский удивляется, что это вдруг на него нашло, совсем недавно, когда они возвращались со станции, у него был вполне довольный вид, если в последние годы вообще можно говорить о довольном виде.

— Что-нибудь случилось? — спрашивает Ковальский.

Случилось или не случилось, Яков чувствует слабость, незнакомую ему раньше, она навалилась на него внезапно, и ему стало страшно; когда он спускался с чердака после того, как проводил Лину, ему пришлось держаться за перила. Он пытался объяснить это свое новое состояние постоянным голодом, но от голода бывает только дрожь в коленях, а это другая слабость, такая же мучительная, — слабость отчаяния. Теперь он пытается разобраться в себе, пытается уговорить себя, что нет этой слабости и нет отчаяния, что они меньше, чем на самом деле, а на самом деле ему не пробиться сквозь их тяжесть. Случай с Элизой Киршбаум был только маленьким камешком, бесспорно, он прибавил Якову горечи, но было бы преувеличением сказать, что именно это грустное событие отняло у него остаток мужества. Труднее было перенести приход Розы, необходимость слушать, как Лина защищает Якова ложью, его собственным оружием, хотя и это посещение нельзя считать главной причиной того, что силы его уходят. Все вместе понемножку, а больше всего, наверно — если посмотреть на все открытыми глазами, — из-за положения, в котором он оказался. Все чаще тебя отводят в сторонку и говорят: Яков, Яков, я больше не верю, что это хорошо кончится, только ты кое-как утетишь одного свежей новостью, как вокруг тебя уже стоят шесть других и хотят сказать то же самое. Русские, судя по радиосообщениям, теснят немцев возле Прыи, только один Бог знает, кого они теснят на самом деле или кто их теснит. Судя по радио, скоро можно будет увидеть вдали первые орудийные залпы, но каждый день видишь перед глазами одну и ту же картину, ту же унылую безнадежность. Постепенно следует подумать о боях, в результате которых русским пришлось отступить, потому что ты увлекся и взял такой темп, какой, к сожалению, не выдерживает проверки действительностью.

А Ковальский топчется бесполезно возле тебя и напрасно ждет, что ты хоть взглядом пригласишь его сесть.

— Может, мне уйти? — спрашивает он спустя продолжительное время и садится.

Яков вспоминает о госте, оставляет в покое потолок и говорит:

— Извини, я неважно себя чувствую.

— Что-нибудь случилось?

— И да и нет, — говорит Яков. — Они увели сейчас сестру Киршбаума. Это само собой...

А кроме того, постепенно стареешь.

— Сестру Киршбаума? Они еще и теперь кого-то уводят?

— Представь себе.

Яков встает, в ушах подозрительные сигналы, шум, тошнота, головокружение, не хватает еще серьезно заболеть. Откуда-то издалека доносится: «Что с тобой?»

Он быстро садится к столу, к счастью, ему становится лучше, он вспоминает о Лине — что будет с ней, лучше оставаться здоровым. И маленькая табличка вдруг вспоминается ему, когда он наконец поднимает глаза к Ковальскому, белая табличка с зелеными буквами: «Временно закрыто по случаю болезни». Он получил ее от Лейба Пахмана, когда откупил у него кафе, вместе с другим инвентарем. Он воспользовался ею один-единственный раз, за все двадцать лет, что прошли в приготовлении картофельных оладий, мороженого и в маленьких заботах, вывеска один раз висела на дверях. И при том это не была настоящая болезнь, Яков был здоров, как лошадь, это случилось, когда он хотел поправить жалюзи, упал с лестницы и сломал ногу, в таком случае никакое здоровье не помогает. Еще задолго до Иосефы Литвин — она-то очень пригодилась бы, чтоб за ним ухаживать, но тогда за ним ходила скрюченная старая ведьма из соседнего дома. Само собой, за плату, ведь никого другого не было. Если это называется, что она за ним ухаживала. Придвигала стол с едой, чтобы он сам мог взять себе поесть, время от времени вытряхивала пепельницу и проветривала комнату, расправляла по утрам постель и говорила каждый раз одно и то же: «Если вам еще что-нибудь понадобится, реб Гейм, покричите мне, я не буду закрывать окно». Несколько раз Яков пытался позвать ее, но то ли она все-таки закрывала окно, то ли была глуха, как тетерев. А вечером, через день или два, заглядывал Ковальский с бутылочкой и сочувствовал, что он так вот лежит с ногой в шине и не может пошевелиться. Сидел у него, пока они не опустошали бутылочку, оба не были большими мастерами на разговор, Яков благодарил Бога, что нога срослась без осложнений. Еще немного, и он бы умер от скуки. А через несколько дней он сунул ни в чем не повинную табличку в печку и со злобной радостью смотрел, как она бесследно исчезла в огне; угроза действовала так долго, что до сегодняшнего дня Бог уберег его от того, чтобы валяться в постели.

— Может быть, мне все-таки уйти? — спрашивает Ковальский посреди этих воспоминаний, окончательно потеряв терпение.

— Оставайся, — говорит Яков.

Ковальский смотрит на него вопросительно, у него такое чувство, словно Яков собирается кое-что ему сообщить, и вряд ли что-то хорошее, если учесть, как прошли эти минуты и как затянулось молчание. А между тем он собирался просто заглянуть на огонек, по дороге сюда он решил не выяснять сразу же вопрос о Прые, тут исключалась всякая ошибка, Авраам наверняка попался на удочку какому-то хвастуну. Он просто хотел заглянуть и пожелать доброго вечера и немножко поговорить о прежнем времени и о том, что будет потом, с кем же еще, если не с единственным старым другом, раз он не зашел к тебе, значит, ты зашел к нему.

— Как ты думаешь, Ковальский, сколько человек может выдержать? — спрашивает наконец Яков.

Так, значит, Яков в настроении пофилософствовать. Ковальский ждет, чтобы Яков

разъяснил ему свой вопрос, он ждет уточнения, но Яков, по-видимому, поставил его в самом общем плане. Он говорит:

— Ну как ты считаешь?

— Если ты меня спрашиваешь, — говорит Ковальский, — я отвечу: много. Просто до нелепости много.

— Но есть границы.

— Конечно...

— Мне очень жаль, — повторяет Яков, — но я дошел до границы. Другой, может быть, пошел бы дальше, а я больше не могу.

— Что ты не можешь больше?

— Я не могу больше, — говорит Яков. Ковальский не настаивает на ответе, он не знает, что Яков готовится к безоговорочной капитуляции, к самому страшному из всех признаний. Он видит только его костистое лицо, которое тот подпирает руками, может быть, чуть бледнее обычного, может быть, чуть более усталое, но лицо того Якова, которого знаешь, как никого другого. Он встревожен, потому что такие приступы уныния совершенно несвойственны Якову, он бывает сварливым и раздражительным, но то совсем другое, тут есть разница. Никто не слышал, чтобы он жаловался, жалуются все другие. Яков был, можно сказать, всеобщий утешитель. Нередко к нему приходили, сознательно или бессознательно, чтобы поплакаться и набраться душевных сил. Еще до радио, собственно, еще даже до гетто. И когда кончался особенно унылый день, когда с утра до вечера простишь у окна и напрасно высматриваешь клиентов, когда получаешь сумасшедший счет и ума не приложишь, где раздобыть денег, к кому приходишь вечером? К нему в кафе, и не потому, что водка у него особенно вкусная. Водка, как везде, к тому же у него не было на нее разрешения. К нему приходили потому, что после того, как посидишь у него, мир выглядел для тебя чуть-чуть веселее, потому что он умел сказать чуть убедительнее, чем другие: не унывай, все образуется или что-нибудь в этом роде. А может быть, потому, что он единственный среди немногих знакомых вообще считал нужным говорить человеку такие вещи. Ковальский его не торопит.

Тогда Яков начинает свое последнее из расточительно большого числа сообщений — вроде бы для Ковальского, потому что никого больше нет в комнате, но словами, с какими обращаются ко многим слушателям, иначе говоря, обращаясь к самому себе, в воздух, с огромной печалью в тихом голосе и бесконечной покорностью. Чтобы они, если слабые силы их им позволят, не сердились на него, у него нет никакого радио, нет и никогда не было. И он не знает, где стоят русские, может быть, они придут завтра, может быть, никогда, находятся они возле Прыи, или в Тоболине, или в Киеве, или в Полтаве, или еще гораздо дальше, может быть, их даже за это время окончательно разбили, и этого он не знает. Единственное, что он может сказать определенно, что тогда-то и тогда-то они вели бои за Безанику, откуда ему это точно известно — отдельная история, которая сегодня решительно никого не интересует, во всяком случае, это чистая правда. И что он хорошо понимает, как убьет их это признание, потому он еще раз просит снисхождения, он хотел сделать, как можно лучше, но планы его разбились.

Затем в комнате надолго устанавливается тишина, король отрекся от престола. Яков напрасно старается обнаружить движение на лице у Ковальского, тот смотрит сквозь него и сидит, как соляной столб. Конечно, Якова, как только отзвучали последние слова, начала мучить совесть, не из-за самого сообщения, его необходимо было сделать, это не терпело отлагательства. Но может быть, его можно было преподнести мягко, например приправив отступлением русских, не перекладывать сразу всю тяжесть на чужие плечи, которые не шире твоих. Был ли Ковальский, именно он, тем человеком, в присутствии которого должна была быть подведена последняя черта? Если бы он это услышал от чужого человека, не такого

близкого Якову, он наверняка посчитал бы это ошибкой или злостной клеветой и после ночи сомнений сказал бы ему: «Слышал, что рассказывают эти идиоты? Что у тебя нет радио!» — «Это правда», — так ответил бы Яков, и этот ответ тоже ошеломил бы его, но, может быть, ему не было бы так больно, потому что в предбудущую ночь он уже взвешивал такую возможность. И все можно было бы обставить иначе, просто Ковальскому не повезло, что он зашел именно в этот вечер.

— Ты ничего не скажешь?

— А что я могу сказать?

Из непостижимых глубин Ковальский вызывает на лице улыбку, без этой улыбки он не был бы Ковальским, он опять смотрит на Якова, правда, глаза его улыбаются меньше, чем губы, но все же они оповещают, что не вовсе ушла надежда, они смотрят скорее хитро — как всегда; будто видят скрытый смысл вещей.

— Что мне сказать тебе, Яков? Я понимаю тебя, я тебя очень хорошо понимаю. Ты знаешь, я не похож на храбреца, скорее наоборот, мы достаточно давно знакомы. Если бы у меня здесь было радио, от меня, наверно, ни один человек не узнал бы ни слова. Или, что еще вероятнее, я бы его просто сжег от страха, не буду делать себя лучше, чем я есть. Снабжать новостями все гетто! На это я бы никогда не пошел, разве знаешь, что за люди тебя слушают? Если я кого-нибудь в жизни понимал, так это тебя сейчас.

Такого поворота мыслей Яков не ожидал, проницательный Ковальский превзошел самого себя, он построил свои расчеты там, где нечего было рассчитывать. Как его теперь убедить, что по крайней мере сейчас ты говоришь правду, самое большее, ты можешь ему предложить перетрясти все, что можно, во всех углах в комнате и в подвале. Но протянуть ему руки ладонями вверх и уверять: когда я врал тебе? — этого ты теперь уже не можешь. И если ты ему в самом деле предложишь искать во всех углах, все приемники, что ты у меня найдешь, будут твои, Ковальский, он понимающе подмигнет тебе и возразит что-нибудь вроде: бросим эти штучки, Яков, мы ведь знаем друг друга сорок лет! Он даст тебе понять, что с ним бесполезно играть в прятки, невозможное невозможно доказать ничем. Яков говорит испуганно:

— Ты мне не веришь?

— Веришь, не веришь, это все пустые слова, — говорит Ковальский тихо и отчужденнее, чем ожидал Яков, таким же тоном, как только что он сам произносил свою маленькую речь для всех. Больше он ничего не говорит, он выстукивает по столу грустный мотив и держит голову откинутой назад, погруженный в мысли, которыми не хочет делиться.

Яков прикидывает еще другие оправдания, важно, чтобы к нему проявили снисхождение, а для этого нужно объяснить причины — как он начал эту историю с радио и почему внезапно положил ей конец. Но насчет этого у него самого еще нет ясности, и, так как он понимает, что все это касается не только его, но и Ковальского, он молчит и откладывает просьбу о смягчающих обстоятельствах на более позднее время.

Потом ему приходит в голову отрезвляющее соображение, что дело вообще не в нем, нет в гетто человека менее важного, чем он без радио. Имеют значение только те, кто получал от него сведения, Ковальский наряду со многими другими. А они плюют на оправдания, пусть эти оправдания будут самые уважительные, у них другие заботы и отнюдь не маленькие, они хотят, например, знать, как развернутся дела после Прыи.

Ковальский больше не стучит по столу, он очнулся от раздумий, он встает, кладет Якову на плечо дружескую руку. И говорит:

— Не бойся, старина, насчет меня можешь быть уверен. Я не буду тебя больше спрашивать.

Он идет к двери, на лице его снова вспыхнула улыбка, и, прежде чем открыть дверь, он еще раз оборачивается, подмигивает, на этот раз действительно подмигивает двумя глазами:

— И я на тебя не сержусь.
И уходит.

* * *

На следующее утро, после самой бессонной ночи за многие месяцы, Яков направляется на работу. Прежде чем выйти на улицу, он потихоньку нажимает дверную ручку в квартире Киршбаумов, зачем, неизвестно, но дверь не открылась. Сосед Горовиц застал его возле безмолвной замочной скважины и спросил:

— Вы здесь что-то ищете?

Конечно, Яков ничего определенного там не искал, просто так, из человеческого любопытства, он объяснил это Горовицу в кратких словах и вышел на улицу. Потом он увидел пестрое пятно перед домом на мостовой, там, где стоял вчера маленький немецкий грузовик. С него упало несколько капель масла, и теперь они блестели тонкими ниточками всевозможных цветов на высыхающих остатках запруды, которую соорудили Зигфрид и Рафаэль, сначала из жидкости, вытекшей из штанишек, а потом, когда иссяк этот источник, с помощью ведра воды. Они принялись за работу сразу же после отъезда Элизы Киршбаум, потому что такая возможность представляется не каждый день, не так часто разъезжают здесь автомобили. Яков стоял у окна вместе с Линой, которая была возмущена таким свинством, и наблюдал эту сцену.

Но вернемся к Якову, который идет на работу. Еще издали он видит скопление народа на углу, как раз перед домом, где живет Ковальский. Первая мысль — Ковальский стоит среди собравшихся, лучший друг наверняка вышел на улицу и, уж таким он родился, не смог держать язык за зубами. Или во время ночных раздумий он все-таки пришел к убеждению, что ему сказали правду, или — что больше похоже на Ковальского — он продолжает не верить, но сделал вид, что поверил, потому что настоящие друзья должны держаться вместе. Вышел из дому и сразу же испугал евреев до смерти, сообщил им роковое известие, потому что он обязательно должен быть первым — в рай или в ад, Ковальский всегда впереди. Отрезал Якову все пути к отступлению, на которые после долгого размышления хотя и решено было не вступать, но какое дело Ковальскому до его, Якова, размышлений?

Яков рассказывал, что ему захотелось вернуться обратно, сделать маленький крюк, и без того у него достаточно тяжело на душе, а на товарной станции они помучают его как следует. Здесь пусть Ковальский справляется сам, это его дело, Якову предоставляется удобный случай не вмешиваться. И тут ему бросилось в глаза, когда он был еще довольно далеко, что люди странно молчаливы, хотя должны были бы возбужденно разговаривать, если считать, что они узнали такую новость. Люди стоят растерянные и подавленные, когда он подходит ближе, то замечает, что некоторые смотрят вверх. На открытое окно, на котором на первый взгляд нет ничего особенного, просто оно открыто и пустое. Яков не знает точно, смотрят ли они на окно Ковальского или на то, что рядом. На второй взгляд он заметил нечто необычное, короткую веревку на оконном переплете, совсем коротенькую, потому он ее не сразу заметил.

Яков бросился в дом, расталкивая толпу, он пытается бежать по лестнице через две ступеньки, но ему удастся это только один раз, к счастью, Ковальский живет на втором этаже. Дверь открыта, как и окно, сквозняк, соседей Ковальского, одного из которых мы решили назвать Авраамом, нет дома, они уже ушли, дома только Ковальский и двое совершенно чужих, те, что первые из прохожих увидели его висящим. Они разрезали веревку, сняли его и положили на кровать, теперь они беспомощно стоят рядом и не знают, что делать дальше. Один из них спрашивает Якова:

— Вы его знали?

— Что? — спрашивает Яков, стоя возле кровати.

— Я спрашиваю, вы его знали?

— Да, — говорит Яков.

Когда он в конце концов оборачивается, то оказывается, что он в комнате один, дверь они закрыли. Яков идет к окну и выглядывает на улицу, уже нет никого из толпившихся перед домом, только прохожие. Он хочет закрыть окно, но сначала должен снять с рамы завязанную двойным узлом веревку. Потом он задергивает занавески, в полумраке ему не так страшно смотреть в лицо Ковальскому. Он подвигает стул, на кровать садиться он не хочет, он сидит здесь неопределенное время. Я говорю неопределенное, потому что потом он не может сказать, как долго он там пробыл.

Вид мертвого для Якова не новость, нередко приходится перешагивать через кого-то, кто лежит, умерший от истощения, на тротуаре и кого еще не оттащила команда уборщиков. Но Ковальский не кто-нибудь, Боже милостивый, Ковальский это Ковальский. Одно признание оказалось причиной его смерти, к тому же такое, которому он сделал вид, что не поверил, почему же ты, сумасшедший, не остался у меня вчера вечером? Мы бы все спокойно обговорили и раздобыли себе немножко мужества, чтобы жить дальше. Чего мы только не раздобывали для себя—в действительности или в воображении, — если все выходит, никто потом не спросит, каким образом, зачем же тебе нужно было в твой последний вечер изображать игрока в покер? Мы могли бы помочь друг другу, ведь только ты знал, что у нас у каждого было на душе, но ты не захотел открыться своему другу Якову Гейму, ты спрятал свое настоящее лицо, а мы могли бы продолжать жить, Ковальский, пусть бы другие нас убивали, не мы сами.

Парикмахера — он, как известно, припрятал немного денег, потому что собирался потом стать кем-нибудь другим, но, наверно, так и остался бы парикмахером — природа наградила кое-какими сомнительными качествами, он был недоверчив, взбалмошен, неловок, болтлив, считал себя умнее всех и очень проницательным, но, когда соберешь все эти качества вместе, он оказывается вдруг близким и достойным любви, он спас однажды Якова, вызволил его из ужасного положения, из немецкого клозета, держал у себя для привлечения клиентов фашистскую газетку «Фелькишер ландботе», мог съесть в один присест семь картофельных оладий, но не переносил мороженого, охотнее брал в долг, чем отдавал долги, хотел произвести впечатление расчетливого человека, а на самом деле совсем им не был — он оказался расчетливым один только раз.

Как и следовало ожидать, Яков терзает себя упреками, Ковальский у него на совести, он со своей малодушной усталостью виноват в том, что Ковальский взял в руки веревку, то, что ты однажды начал, надо выдерживать до конца, свои силы надо рассчитывать заранее. В этом месте я прервал Якова, я сказал:

— Ты говоришь глупости. Ты не переоценил свои силы, потому что ты не мог знать, что это продлится так долго. — И еще я сказал ему: — Не ты виноват в смерти Ковальского, а он должен быть благодарен тебе, что дожил до того дня.

— Да, да, — ответил Яков, — но это ничему не поможет.

В конце концов Яков поднимается. Он снова отодвигает занавеску, оставляет, уходя, дверь распахнутой, чтобы кто-нибудь из соседей, когда придет с работы, заметил, что случилось, и предпринял все необходимое. Давно уже поздно идти на товарную станцию, постовым у ворот не станешь объяснять, что задержался по пути, обеда таким образом он лишился непоправимо. Яков идет домой с единственной надеждой, что Ковальский оставил при себе свои причины, что в виде исключения он один раз промолчал. Потому что Яков опять нашел свое радио.

Яков может тысячу раз находить свое радио, сообщать последние новости, выдумывать

сражения и пускать их в обращение по всему гетто, одному он не может помешать — медленно, но надежно история приближается к своему недостойному концу. У нее два конца — по существу, конечно, один, тот, который испытали Яков и все мы, но для меня у нее есть еще и другой. При всей моей скромности я знаю конец, от которого можно побелеть от зависти, не счастливый конец, нет, пострадавшим оказывается Яков, и все-таки он несравненно удачнее, чем настоящий конец, за многие годы я себе его соорудил. Я сказал себе, в конечном счете ужасно жалко, что такая прекрасная история так ничем и не кончилась, придумаю-ка я ей конец, которым хоть в какой-то степени можно быть довольным, конец по всем правилам, как ему положено, приличный конец заставляет забыть некоторые слабые места. Кроме того, они заслужили лучший конец, не только Яков, в этом будет твое оправдание, в случае, если оно тебе понадобится, сказал я себе, и вот постарался, как мне кажется, не без успеха. Но потом меня одолели сомнения по поводу правдоподобия этого конца, по сравнению с действительным он вышел слишком благополучным, я спросил себя, что хорошего может получиться, если грустному животному из любви к нему привесить роскошный павлиний хвост, не исказит ли он его облик, но потом подумал, что это сравнение все-таки не годится, однако так никогда и не избавился от сомнений. Теперь у меня оказалось два конца, и я не знаю, какой следует рассказывать, мой или неприятный. Пока мне не пришло в голову избавиться от обоих — не потому, что я не могу принять решения, просто потому, что я думаю, таким образом мы оба будем удовлетворены. С одной стороны — не зависящая от меня история, с другой — я со своими усилиями, мне не хочется, чтобы они пропали даром.

* * *

Ковальский может порадоваться своему воскрешению, оконный переплет и веревку он не удостоил даже взглядом, потому что Яков решил не выдавать своей тайны. Они разговаривали тем памятным вечером о всяких пустяках, хотя у Якова на уме было совсем другое, но Ковальскому незачем это замечать. Только потом, когда Яков остается один, он понимает, что его слабых сил не хватает для продолжения этой лжи о радио, к тому же на неопределенно долгое время. И тем не менее истинное положение не должно стать известным, Яков представляет себе, какие последствия это может вызвать, например, есть основания опасаться, что самоубийства, которые удалось прекратить, опять возобновятся и примут, чего доброго, размеры эпидемии.

Последующие ночи, в которые ему не надо будет упрекать себя в смерти Ковальского, эти последние ночи Яков проводит в поисках последней правдоподобной лжи. Она должна объяснить, почему радио перестало работать, он должен избавиться от этой самой страшной муки, но эту ложь придумать труднее, чем все предыдущие.

Я представляю себе: Якову пришла в голову простая идея заявить, что радио у него украли. В гетто много крадут, почему бы не украсть радио, пропадали вещи менее ценные и нужные. Я представляю себе, как все гетто ищет бессовестного вора, люди испытующе смотрят друг другу в глаза, в гости ходят, только чтобы высмотреть, не припрятано ли оно где. Вечером прислушиваются у двери соседа, может быть, он как раз включил Лондон, может быть, он и есть тот подлый человек, разве не было чего-то подозрительного в его взгляде, от чего давно предостерегал внутренний голос. Только одного нельзя понять — что за выгода от воровства, ровно никакой, он и теперь не узнает ничего другого, что и без того узнавал от Якова или через третьи руки, только что все остальные бродят в потемках, в чем же смысл? Как можно объяснить его действия? Только моральной низостью. Я представляю себе дальше: поиски вора

принимают устрашающие масштабы, создан нелегальный исполнительный орган, который после работы прочесывает дом за домом. И предположим, что среди нескольких тысяч обитателей гетто есть еще один такой, как Феликс Франкфуртер, один-единственный, который тоже прячет радио и в отличие от Франкфуртера не уничтожил его.

Я отдаю себе отчет в том, что существование этого единственного человека мало вероятно в нашей истории, или он, как и Франкфуртер, никогда из страха его не слушал, или он его слушал и тогда должен знать, что ежедневные сводки Якова не более чем ложь, кроме сообщения о бое за Безанику. И все время молчал. Как ни невероятна каждая из этих возможностей, пусть они существуют еще следующие три строчки, так как этот человек — можно сказать, плод фантазии, мимолетная игра воображения. Во время обыска у него найдут радио, в порыве гнева его убьют — хорошенькая игра воображения — или его не убьют, это ничего не меняет. Радио приносят Якову, законному владельцу, выражение его лица стоит того, чтобы выдумать весь этот эпизод. Затем дела продолжают идти своим обычным ходом. Яков слушает и передает сообщения, спустя несколько недель все еще говорят о возмутительном случае, как может человек вести себя так подло, ни с того ни с сего.

Но хватит об этом, Якову не приходит в голову идея с кражей ни в настоящем конце, что меня удивляет, ни в моем. У меня он безрезультатно мучается, он не может избавиться от радио, тогда он решает избавиться от евреев. Он не хочет видеть посетителей, просто не открывает дверь, на товарной станции держится особняком, свой суп съедает в отдалении от других, возле немецкого каменного дома, то есть там, где его не могут спрашивать. И сразу же после окончания работы исчезает, как призрак, по дороге домой делает большой крюк, чтобы не попасться на глаза тем, кто его поджидает. Время от времени его все-таки настигают, несмотря на все предосторожности, и спрашивают, что с ним вдруг произошло, почему он больше не рассказывает.

— Нет ничего нового, — говорит он тогда. — Если будут новости, обязательно скажу.

Или, что производит более сильное впечатление, он говорит:

— Теперь, перед концом, я не хочу рисковать. Сделайте мне одолжение, не спрашивайте больше.

За такие слова его стали недолюбливать, только немногие входят в его положение, великий человек стремительно теряет популярность. Его называют трусом и ничтожеством также и потому, что он упрямо отказывается передать радио кому-нибудь другому, у кого от страха душа не ушла в пятки. На него смотрят глазами, взгляда которых можно испугаться, за его спиной шепчутся и говорят такое, что лучше этого не слышать, но Яков не меняет своего решения. Пусть считают его подлым, на их месте он думал бы точно так же, пусть показывают ему при каждой возможности, чем пахнет презрение, все это лучше, чем сказать им правду.

Люди, которые были к нему расположены, не совсем отвернулись от него, я думаю, что Ковальский и Миша остались с ним. Миша по-прежнему таскает с ним ящики, Ковальский время от времени, хоть и реже, чем раньше, говорит:

— Ну, как дела, приятель? Мне-то ты можешь хоть намекнуть? Никто ничего не заметит.

Яков каждый раз отказывается, его не останавливает риск потерять старинного друга. Он его не теряет, Ковальский оказался упорным другом.

Однажды Миша сказал ему:

— Яков, мне неприятно говорить тебе, но ходят разговоры, что надо отнять у тебя радио.

— Отнять?

— Да, — говорит Миша, — насильно.

Яков смотрит на одного, на другого, значит, тот, а может быть, этот готовы применить силу. Яков хочет знать, кто именно.

— Ты не можешь удержать их? — спрашивает он.

— Каким образом? — спрашивает Миша. — Я бы рад. Но ты можешь меня научить как?

— Скажи им, я его так спрятал, что они ни за что не найдут, — говорит Яков.

— Это я скажу, — говорит Миша.

Дома Яков строжайшим образом запрещает Лине находиться в его комнате, когда его нет, из осторожности он не оставляет больше ключа в дверной раме, теперь его там нет ни для Лины, ни для кого-либо другого. Она должна сидеть у себя на чердаке, он приносит ей наверх, чтобы она не скучала, книгу об Африке, по ней она может научиться читать, от этого больше пользы, чем от болтания по улице и ничегонеделания.

Последующие дни становятся тяжким испытанием для истрепанных нервов Якова, приходится сидеть сложа руки и ждать освободителей и насильников, и об обоих неизвестно, придут они или нет. Миша говорит, что он понятия не имеет, изменила ли партия противников свои намерения, с тех пор как заметили его симпатию к Якову — когда он предложил свои услуги в качестве посредника, — его не допускают на обсуждение, несмотря на все заслуги. Более того, и на него падает частичка презрения, то же самое по отношению к Ковальскому.

Я не задумывался над тем, как я сам отношусь к этому, на какой стороне стою, друг я Якову или враг. Но насколько я себя знаю и вспоминая, как много значили для меня его ежедневные сообщения, я его враг, и притом из злейших. Будем считать, что я решительно выступаю за то, чтобы не поддаваться на его отговорки и отнять у него радио как можно скорее, лучше сегодня, чем завтра. Многие со мной согласны, но слово берут евреи, думающие иначе, например, те, кто с самого начала считали радио опасностью.

Они в глубине души довольны поворотом в поведении Якова, они говорят: «Нечего сразу поднимать такой крик! Русские так и так придут, если придут вообще».

Другие же считают: «Подождем еще немножко, может быть, Гейм сам образумится».

Так или иначе, но к нему не вломились — в том конце, который я придумал.

Эти трудные дни стали испытанием для нервов Якова и в другом отношении; в один прекрасный день он вынужден был прийти к выводу, что остался верен своей уже теперь почти старой привычке, опять переоценил свои силы. Он был убежден, что волна враждебности, появление которой он должен был предвидеть, глубоко его не заденет, он сможет перенести ее без потерь, он подбадривал себя мыслью, что у него есть опыт в таких вещах, все годы в его кафе были, по существу, тем же — борьбой одного против всех. Это было легкомысленное и ошибочное заключение. Оно не учитывало времени после Безаники, когда Яков купался в благожелательности, симпатии и уважении, в уверениях, что незаменим, — к этому до смешного быстро привыкаешь. А теперь отношение к нему прямо противоположное, самое большее через десять дней волна враждебности накроет его с головой, и невозможно перенести презрение.

Лина замечает перемену в настроении Якова, которую она не может себе объяснить, она покорно выполняет его указания, остается у себя на чердаке и потому ничего не слышит. Она видит только, что Яков приходит теперь к ней погруженный в грустные мысли, молчаливый, он даже не выражает, как положено, удивления, когда она читает целую фразу из книги об Африке без подсказки. Когда Лина взбирается к нему на колени, то сидит там, как на стуле, а еще недавно он сам сажал ее к себе на колени; теперь же он будто ее не замечает. Если она просит рассказать ей сказку, он говорит, что больше не знает, и обещает рассказать, если снова что-нибудь вспомнит. Лина спрашивает:

— Ты на что-то рассердился?

— Рассердился? Почему ты так думаешь?

— Потому что ты такой странный.

— Я странный? — говорит Яков, и у него нет сил скрыть несправедливое раздражение. — Занимайся своими делами и оставь меня в покое.

Лина остается одна, у нее очень мало дел, которыми она могла бы заниматься, только Яков, с которым произошло что-то для нее непонятное.

Однажды вечером — для моего конца это очень важный вечер — в первых числах месяца, потому что первого всегда выдают продуктовые карточки, Яков стучится в дверь к Мише; проходит довольно много времени, прежде чем ему с опаской открывают. Миша удивленно говорит:

— Яков, ты?

Яков входит в комнату и первое, что он говорит:

— Если уж ты хочешь ее прятать, не оставляй на столе две чашки, дурак.

— Это верно, — говорит Миша.

Он подходит к платяному шкафу и выпускает Розу. Роза и Яков молча стоят друг перед другом, так долго, что Мише становится неудобно.

— Вы знакомы? — спрашивает он.

— Мы виделись один раз мельком, — говорит Яков.

— Садитесь же, — говорит приветливо и поспешно Роза, прежде чем Миша успевает спросить, когда был этот один раз. Яков садится и ищет, с чего начать, потому что он пришел не просто так, его просьба требует обстоятельного разговора.

— Вот в чем дело, — говорит он, — я хочу попросить тебя об одном одолжении, и, если ты откажешься, я не обижусь, я понимаю. Просто я не знаю никого другого, к кому я мог бы с этим прийти.

— Давай, выкладывай, — говорит Миша.

— Дело в том, что в последние дни я себя отвратительно чувствую. В смысле здоровья, я имею в виду. Годы, сердце пошаливает, и в спине боли, голова просто раскалывается, вдруг сразу все навалилось.

Миша все еще не может понять, о какого рода одолжении идет речь, он говорит:

— Да, неважно...

— Ничего, пройдет. Но пока я себя так чувствую, я хотел спросить тебя, Миша, не смог бы ты взять на это время к себе Лину?

Всеобщая растерянность, молчание, Яков ни на кого не смотрит, очевидно, нельзя слишком многого требовать от молодого человека — две незаконные жилицы в одной квартире, — но он же сразу сказал, что не обидится.

— Понимаешь, — начинает медленно Миша, и по его тону чувствуется, чем закончится фраза.

— Конечно, вы можете привести к нам Лину, — говорит Роза и смотрит на Мишу с упреком.

— Я бы никогда к тебе с этим не пришел, если б ты жил один, — говорит Яков Мише, у которого вид совсем несчастный. — Но так как фрейлейн Франкфуртер все равно целый день сидит в квартире, и Лина всегда одна...

— Я заранее радуюсь, — говорит Роза.

— А ты что скажешь?

— Он тоже рад, — говорит Роза.

Мише нужно немножко времени, чтобы привести в порядок свое лицо, то, что он не в восторге, видно всем, но он говорит:

— Что ж, приводи ее.

Яков облегченно кладет на стол продуктовую карточку, почти целую, отрезан только один

талон, пусть Миша не боится, ведь он не просит, чтобы они взяли Лину на бесплатный пансион.

— Когда я могу привести ее?

— А когда ты думал?

— Может быть, завтра вечером? — спрашивает Яков. Миша провожает его, хотя Яков уверяет, что это абсолютно ни к чему, несколько шагов по улице. Когда Яков протягивает ему на прощанье руку, Миша задерживает ее в своей чуть дольше, чем требуется, и Яков видит в его голубых глазах вопрос, Миша совершенно прав, находит Яков, дружеская услуга заслуживает того, чтобы ответить на нее услугой, к тому же когда о ней просят так скромно.

— Ты хочешь узнать, как обстоят дела? — спрашивает он.

— Если тебе не трудно, — говорит Миша.

Яков делится новостями: за это время Прья уже взята, но что немцы построили оборонительную линию на полпути к Миловорно, за которое, как можно заключить, будут идти упорные бои, однако в нескольких местах в ней уже пробита брешь, что опять-таки позволяет надеяться на хороший исход. И он просит Мишу держать это известие про себя, иначе начнутся бесконечные вопросы на товарной станции, почему одному он рассказал, а всем другим нет. Миша обещает, в твердой надежде на следующие сообщения — пусть хоть иногда, — так я объясняю себе его тактику.

На следующий вечер Лина переезжает. Яков сказал ей тоже, что немножко приболел, они расстанутся всего на несколько дней, и Лина принимает его объяснение спокойно. Миша ей нравится, он почти что тайная ее любовь, она ему, надо полагать, тоже нравится, только против этой Розы она затаила зло из-за ее тогдашнего посещения и упреков, с Розой могут быть неприятности.

Но Яков уверяет ее, что Роза очень покладистый человек, приветливый и добрый, вчера вечером она ему сразу сказала, что очень рада, пусть Лина у них побудет. Самое лучшее, не стоит говорить ни слова об этом дурацком посещении.

— Ты уже большая девочка, смотри, чтобы мне не было за тебя стыдно.

Яков сдал Лину и сразу пошел домой, сказав, что хочет скорее лечь в постель. Он долго сидит в темной комнате и обдумывает, оправданно ли его решение, то, ради которого надо было удалить Лину. Он не хочет потом упрекать себя, если для того будет возможность, — достаточно часто в последнее время он принимал неверные решения. Допустить русских почти до расстояния, с которого их можно увидеть, — ошибка, прекратить радиосводки — ошибка, само радио — первая и самая большая ошибка, слишком много ошибок для одного человека. Всегда остается возможность не сделать еще одной очередной ошибки, снова войти в старую колею. Через три-четыре дня он почувствует себя лучше, от болезней такого рода излечиваются по желанию, потом он возьмет обратно Лину, на товарной станции изобразит из себя раскаявшегося и будет продолжать снабжать любознательных новостями — хорошими и плохими, — куда это его заведет, спрашивает себя Яков.

Прошло два часа, и Яков решил. Он завешивает окно одеялом, включает свет, затем берет нож, снимает пиджак и отпарывает желтые звезды со спины и груди. Он делает это очень тщательно, выдергивает белые ниточки, чтобы они потом не выдали место, где была пришита злосчастная звезда. Покончив с этим, Яков надевает пиджак, который кажется ему непривычно голым. Глаза его ищут в комнате предметы, которые могут вдруг понадобиться для задуманного дела, прежде всего кусачки, он засовывает их в карман. Больше он ничего не замечает нужного, снова выключает свет и в последний раз смотрит из окна. Смотрит на черную покинутую улицу, давно минуло восемь и запрещается выходить из дому, наверно, уже около полуночи, вдали — пусть будет так — он узнает свой прожектор, который истово и бесцельно шарит по крышам.

Поскольку власти моей не поставлено границ, пусть ночь будет прохладной и звездной, это

не только звучит красиво, но и пригодится для моего конца, увидите сами. Затем Яков идет по улице, без звезды и в час, когда восемь пробило уже давным-давно, крадется, прижимаясь к стенам домов, старается походить на тень, он не собирается давать повод пристрелить себя. Одна улица, потом другая и еще одна, и все они кратчайшим путем ведут к границе.

И вот граница, я выбрал для Якова самое удобное место, старый овощной рынок, небольшую мощеную площадь, через которую протянута колючая проволока, на самом деле попытки вырваться из гетто удавались или трагически оканчивались почти всегда в этом месте. С правого края площади стоит сторожевая вышка, без прожектора, постовой наверху не шевелится, пока Яков наблюдает за ним из подъезда дома на самом левом краю площади. Расстояние метров сто пятьдесят, на всем протяжении колючая проволока; не оставляя свободного пространства, она опоясывает все гетто и только в этом месте так далеко отстоит от сторожевой вышки. Только здесь они оставили так много места, из экономии или из соображений лучшего обзора.

На башне тихо, будто там стоит памятник, Яков уже начинает надеяться, что постовой заснул. Яков смотрит на небо, благоразумно выжидает, пока редкое на ясном небе облачко подвинется к докучной сейчас луне, помехе для его дела. Наконец оно делает ему это одолжение, Яков вынимает из кармана кусачки и бежит.

В этот самый драматический момент моего конца сделаем маленькую паузу, во время которой я буду иметь возможность признаться, что не знаю, чем объяснить внезапное бегство Якова. Или по-другому: я не облегчаю себе задачи и просто говорю: у меня он хочет убежать и точка, я в состоянии назвать несколько причин, каждую из которых считаю вероятной. Я только не знаю, на какой именно должен остановиться. Например, Яков окончательно потерял надежду на то, что гетто будет освобождено, пока там находятся евреи, и потому хочет спасти свою жизнь. Или он бежит от своих, от их враждебности и преследований, от их требовательного желания получать информацию — попытка спрятаться в безопасное место от радио и его последствий. Или третья причина, наиболее достойная Якова, — у него дерзкое намерение вернуться на следующую ночь в гетто, он хочет только раздобыть достоверные сведения, которые сможет потом распространять от имени своего радио.

Таковы важнейшие причины, и ни одной не следует пренебрегать, приходится признаться только, что я не могу решиться, какой из них объяснить действия Якова, пусть каждый выберет себе ту, которую, по своему собственному опыту, считает наиболее вероятной; может быть, кому-нибудь даже придет в голову более правдоподобное объяснение. Я прошу только принять во внимание, что большинство важных вещей, которые когда-либо случались, происходили не по одной, а по нескольким причинам.

Под защитой облака Яков добирается незамеченным до колючей проволоки. Он ложится, плотно прижимаясь к земле, план у него простой — пролезть под заграждением. Что, конечно, легче задумать, чем проделать, самая нижняя из многих проволок находится всего в десяти сантиметрах над землей, но Яков и не ожидал другого, поэтому он предусмотрительно прихватил кусачки. Теперь он пустил их в ход и ловко обрабатывает проволоку, которая не в состоянии им долго сопротивляться, она рвется скорее, чем он ожидал. Но шум — ведь она была туго натянута, — это отвратительное протяжное пронзительное пение, Якову кажется, оно может поднять с кровати весь город. Он затаил дыхание и со страхом прислушивается, но все спокойно, только стало немножко светлее, потому что нет такого облака, что вечно стояло бы на месте и закрывало луну. Следующая проволока на десять сантиметров выше, значит, в двадцати сантиметрах над землей. Яков соображает, что пролезть под ней небезопасно для одежды и тела, он хотя и страшно похудел по сравнению с прошлым, но все же взрослый человек. С другой стороны, он не хочет еще раз рисковать тишиной, ведь вторая проволока

зазвонит точно так же, нисколько не тише, чем первая, а третьего пути ни с какой стороны не видно, сколько ни ищи.

Яков еще в нерешительности, он осторожно дергает за проволоку, можно ли немножко оттянуть ее, чтобы утихомирить ее звонкий голос, когда за нее схватятся кусачки, и в этот момент силы, что находятся выше, освободили его от решения. Я сразу сказал — что в этом моем конце немножко пострадает Яков, стрекот пулеметной очереди нарушает ночной покой, наш часовой спал совсем не так крепко. И не надо решать, как действовать, Яков мертв и пришел конец всем его усилиям.

Но и это не все, какой же это был бы конец — дальше я представляю себе, что в гетто долго еще не устанавливается спокойствие. Я рисую себе месть за Якова, я хочу, чтобы снова была прохладная и звездная ночь, та, в которую приходят русские. Пусть Красной армии удастся окружить город в самый короткий срок, небо совсем светлое от огня тяжелых орудий, сразу же после пулеметной очереди, направленной на Якова, поднимается оглушительный грохот, будто он по недосмотру был поднят незадачливым стрелком на сторожевой вышке. Первые танки, как таинственные призраки, стрельба по немецкому участку, пули в стенах, сторожевые вышки в огне, немцы, защищающиеся до последнего выстрела или удирающие, не находящие ни одной дыры, где можно спрятаться, Господи Боже мой, что это была за ночь! А за окнами плачущие евреи, для них все произошло так неожиданно, что они могут только, не веря своим глазам, стоять и держаться за руки, евреи, которые так хотели бы радоваться и ликовать, но не в состоянии в эту минуту, для этого найдется время потом. Я представляю себе — на рассвете закончились последние бои, гетто больше не гетто, а только самая убогая часть города, каждый может идти, куда его душе угодно.

Как Миша думает, что Яков теперь определенно будет чувствовать себя гораздо лучше, как он хочет привести к нему Лину и не застает его дома, каким вкусным был хлеб, которого нам дали вволю, что произойдет с бедными немцами, которые оказались у нас в руках, — все это и многое другое для меня не так важно, чтобы занимать этим место в моем конце. Для меня важно только одно.

Часть евреев уходит из гетто через овощной рынок. Там они увидели человека без звезды, в правой окоченевшей руке кусачки, он лежит под колючей проволокой — нижняя разрезана, — явно застигнутый пулей при попытке бежать. Его поворачивают на спину, кто этот несчастный, спрашивают, и поблизости оказывается человек, что знает Якова. Лучше всего, пожалуй, Ковальский, или сосед, или я, это может быть кто-нибудь с товарной станции, во всяком случае кто-то, кто его знает, но не Лина. Этот один в ужасе не отрывает глаз от его лица, может быть, в тот день, когда он принял решение отказаться от оставшегося ему кусочка жизни, до него дошло от Якова первое хорошее известие. Он тихо бормочет недоуменные слова, его спрашивают:

— Что ты там говоришь так непонятно? Бедняга хотел убежать, потому что не знал, что скоро все кончится. Что здесь странного?

И тот человек, у которого комок застрял в горле, безуспешно пытается объяснить, почему это навсегда останется странным.

— Это же Яков Гейм, — говорит он. — Вы понимаете? Это Яков Гейм. Зачем ему нужно было бежать? Он же точно знал, что они придут. У него же было радио...

Он говорит что-то в этом роде и, качая головой, выходит с другими на свободу, прочь из гетто, таков примерно мой конец.

А после этого выдуманного — бледнолицый, настоящий и безнадежный, без выдумки и полета фантазии, прочитав который, хочется задать нелепый вопрос: для чего же все это написано?

Ковальский бесповоротно мертв, а Яков пока еще остался жить, у него и в мыслях нет

навязывать Лину чужим людям, он не спарывает с пиджака предписанных находиться там звезд, оставляет кусачки в ящике стола, если они вообще у него имеются, не заставляет, следовательно, постового на старом овощном рынке в холодную звездную ночь открывать пальбу, которая способна вызвать такое грохочущее эхо. Он пропустил в этот день работу, мы знаем почему, повесившийся друг не идет у него из головы, он прогоняет его, а тот опять является, но к утру тому приходится все же уйти. Потому что Якову необходимо кое-что обдумать, он собственными глазами убедился, куда ведет отказ от радио, может быть, не для каждого это примет такие формы, но для некоторых наверняка, и потому с радио все остается по-прежнему. Печаль по Ковальскому, которого вдруг стало не хватать гораздо больше, чем хотелось его видеть при жизни, приходится отложить до лучших времен, вместо траура начинает работать небольшая фабрика новостей, потому что завтра его опять будут спрашивать, как спрашивали все дни, что ни говори, а жизнь тащится дальше.

Затем наступает это следующее утро, Яков, сжав губы, проходит мимо дома Ковальского, устремив неподвижный взгляд на спасительную точку в конце улицы!. При этом известно, как безнадежна всякая попытка насильно заставить себя не думать о чем-то определенном, Яков видит его перед собой лежащим на кровати так ясно, будто стоит в его комнате, еще раз отвязывает кусок веревки от оконной рамы, еще раз подвигает стул, потому что не хочет садиться на кровать, мало этого, вдобавок он слышит еще начало или конец разговора:

— Да, в этом доме.

— Номер четырнадцать?

— Нет, шестнадцать. Угловой дом.

— Уже знают кто?

— Неизвестно. Какой-то Каминский или похожая фамилия.

До товарной станции еще далеко, но Яков чувствует что-то необычное, евреи столпились у входа у закрытых ворот. Сначала ему непонятно, почему их не впускают, непонятно также, почему первый, кто его заметил, показывает на него пальцем, что-то говорит, и остальные обращают к нему лица. Пятьдесят, шестьдесят человек ждали Якова, и я среди них, мы видим единственного человека, который, как мы надеемся, мог стать между нами и несчастьем, он медленно и удивленно приближается к нам. Мы даем ему дорогу, образуем узкий проход, чтобы он беспрепятственно мог подойти к воротам, мог прочесть, что там написано, и потом сказать нам, что все еще не так страшно. Рядом со мной топчется адвокат Шмидт, я слышу, как он шепчет про себя: ну скорей же! Потому что Яков идет так раздражающе медленно и смотрит людям в глаза вместо того, чтобы смотреть вперед.

Точно к началу рабочего дня Яков подходит к закрытым воротам товарной станции и читает приклеенное там объявление. Что все мы должны сегодня днем в тринадцать ноль-ноль собраться на площади перед участком, пять килограммов багажа на человека, квартиры оставить открытыми, в убранном виде. Кто после назначенного времени будет найден в квартирах, это относится также к больным и инвалидам... подробности в тринадцать в указанном месте.

А теперь попробуй принеси им утешение, как ты это делал раньше, откуда тебе его взять — это твое дело, уверяй их, что это только плохая шутка, что в действительности это просто поездка неизвестно куда, где нам предстоит много приятных неожиданностей, чего-то в этом роде они с напряжением ждут за твоей спиной. Нет оснований для беспокойства, братья, вот что они хотят услышать, пусть бумажонка висит себе спокойно, и не думайте о ней, любопытные могут, пожалуйста, подойти в час дня к участку, если у них нет ничего более интересного.

То самое произойти не может, потому что — этого вы еще не знаете — как раз это, такая глупость, я забыл вам рассказать, русские стоят уже за ближайшим углом и следят, чтобы ни один волос не упал с вашей головы.

Нам кажется, что Яков выучивает эти несколько строчек наизусть, так долго он неподвижно стоит перед объявлением. Мы молча спрашиваем себя, предчувствуя плохое, почему он так долго стоит, как будет выглядеть его лицо, когда он нам его снова покажет, и что он скажет, ведь должен же он что-нибудь сказать; я вижу также, что первые тихо уходят из ряда, который образовался, когда Яков подходил к воротам. Я точно знаю, и при этом сердце у меня сжимается, что они правы, больше ждать нечего, все же я продолжаю надеяться и не сдвигаюсь с места, как и большинство.

Не стоит. Зачем. Прошла вечность, Яков оборачивается, преподносит нам пустые глаза, и в этот момент даже самый глупый понимает, что мы проиграли в игре, где ставкой была надежда. Как рассказывает Яков, у него не было времени ужаснуться собственной судьбе, на него навалился ужас других, которые смотрят на него, как обманутые кредиторы; для него наступил день, когда надо наконец выкупить так легкомысленно выданный вексель. Он опять долго не решается поднять глаза, и они не облегчают ему задачу, не уходят, чтобы собрать пять кило вещей, у них полно времени, можно сказать, весь остаток жизни. Коридор, который открылся на его пути к воротам, закрылся за ним, теперь он стоит в тесном кольце, по его собственным словам, как паяц, который в решающий момент забыл свою роль.

— Вам нечего больше делать, как стоять разинув рот? — спрашивает постовой за забором.

Мы замечаем его только сейчас, он, оказывается, в нескольких метрах от ворот, и лишь он знает, как долго он здесь стоит. Во всяком случае, много услышать он не мог, хотя все главное уже сказано. Мы наконец молча расходимся, к чему его раздражать. Постовой усмехается, его забавляют эти странные существа, Яков ему почти благодарен за невольную помощь.

* * *

Придя домой, Яков сразу же направляется на чердак. Он думает, что Лина еще в постели, но ее вообще нет в комнате. При этом погода отнюдь не самая прекрасная, на небе совсем немножко голубых пятен, Яков может убедиться, что его указания выполняются не очень точно. Ее постель аккуратно застелена, кусок хлеба с тарелки, что стоит на комод, исчез; она встала, наверно, сразу после того, как он утром сказал ей «до свидания», и побежала по своим делам, о которых он никогда ничего не узнает. Яков решает поискать ее потом, сначала собрать ее вещи, потом свои, а к тому времени Лина найдется, никуда не денется. При этом он не задумывается над тем, относится ли объявление на воротах только к работающим на станции или ко всем жителям гетто. Потому что у него нет другого выбора, он должен взять ее с собой; нечего надеяться, что судьба ее вдруг сложится иначе, если он ее здесь оставит, это сообразить нетрудно.

Приказ брать с собой не больше пяти килограммов отдан, оказывается, щедрой рукой — все, что может им пригодиться, не весит почти ничего. Яков засовывает белье, чулки и платок в карманы, когда он складывает зимнее платье, появляется Лина. Она держит в руках маленький остаток хлеба, присутствие Якова ее очень удивляет. Она сразу замечает неодобрительный взгляд Якова, который правильно истолковывает: он рассердился, потому что она, несмотря на его запрещение, вышла на улицу.

— Я вышла во двор накачать воды, мне захотелось пить, — заявляет она.

— Ладно, — говорит Яков.

Он сложил платье и дает ей подержать, потом оглядывается по сторонам, еще раз открывает дверцы комода, не забыто ли что-нибудь.

— Я теперь опять буду жить у тебя внизу? — спрашивает Лина.

— Пойдем, — говорит он.

Они приходят в его комнату. На лестнице встречают соседа Горовица, который, по всей видимости, идет из подвала и еле тащит большой кожаный чемодан, замки не держат крышку.

— Ваше мнение по этому поводу? — спрашивает Горовиц.

— Отгадайте, — говорит Яков. Только теперь он знает точно, что приказ на воротах станции относится ко всем, дурацкий вопрос Горовица и чемодан в его руках, на каждом предприятии в это утро появилось такое объявление.

— Вы случайно не слышали, куда они нас отправляют?

— Нет, — говорит Яков.

Он спешит войти с Линой в комнату прежде, чем его втянут в длинные рассуждения, интересно только узнать, что собирается делать Горовиц, который живет один, с таким огромным чемоданом, в приказе, что висел на воротах его фабрики, не было написано про два центнера на душу.

Когда дверь за ними закрылась, Лина признается, что терпеть не может Горовица. Она обходит его за десять верст, потому что он вечно делает ей замечания, у него всегда наготове нотации, вроде того, что она болтается без дела, не здороваается, что у нее дерзкие глаза, чтобы она была так любезна и перестала шуметь, что-нибудь да найдет, лишь бы сделать ей замечание. Один раз он даже схватил ее за руку, потому что она съехала вниз по перилам и очутилась как раз у его ног. Яков говорит:

— Надо же, какой человек.

Он вынул вещи Лины из карманов, положил их на стол и начал сборы. Сначала надо решить, что брать, чемодан или рюкзак, и там и там места больше чем достаточно. Ради удобства он выбрал рюкзак, потому что в дороге, неизвестно, может быть, очень долгой, одна рука должна быть свободна для Лины, с чемоданом намучаешься.

Лина терпеливо надеется, что Яков сам объяснит свое странное поведение, но он только иногда просит дать ему то или это и ни одного слова, чтобы удовлетворить ее любопытство. Поэтому ей приходится спросить:

— Почему ты собираешь все вещи?

— Ну почему, как ты думаешь, собирают вещи?

— Не знаю, — говорит она и, чтобы подчеркнуть свои слова, выразительно пожимает плечами, это ее любимый жест, поднимать плечи почти до ушей.

— Тогда подумай.

— Потому что уезжают?

— Именно потому, ты правильно сообразила.

— Мы уезжаем? — восклицает Лина, и в ее голосе звучит удивление и упрек, словно она хочет сказать: и ты говоришь мне это только сейчас?

— Да, мы уезжаем, — говорит Яков.

— Куда?

— Этого я точно не знаю.

— Далеко или близко?

— Я думаю, довольно далеко.

— Так далеко, как Америка?

— Нет.

— Как Китай?

— Тоже нет.

— Как Африка?

Яков по опыту знает, что она способна продолжать такую игру часами, поэтому он говорит:

— Да, примерно так далеко, как Африка.

Лина прыгает по комнате, не может прийти в себя от счастья, и Яков делает вид, что радуется вместе с ней, ведь девочка еще никуда по-настоящему не ездила. Особенно тяжело стало, когда она вдруг бросилась ему на шею и спросила, почему он не рад.

— Потому что я не люблю уезжать, — говорит он.

— Ты увидишь, это будет замечательно!

Он кончил упаковывать рюкзак, положил наверх две ложки и хочет затянуть его, но Лина дотрагивается до его руки и говорит:

— Ты забыл книгу.

— Какую книгу?

— Ту, про Африку.

— Ах да. Где же она?

— Под подушкой. Я сию секунду принесу.

Лина мчится наверх, Яков слышит ее веселый голосок на лестнице. «Мы уезжаем! Мы уезжаем!..» От радости или чтобы под защитой Якова немного позлить ворчливого Горовица.

* * *

Потом мы едем.

В вагоне очень тесно и душно, евреи сидят на корточках или на полу возле своих пяти килограммов, я думаю, их не меньше тридцати. Как спать ночью, если дорога будет длинной, — неизвестно, потому что все сразу улечься не смогут, придется спать посменно. Кроме того, темно, узкие отверстия под самой крышей пропускают совсем мало света, и к тому же перед ними почти все время кто-то стоит. Разговоров не слышно, у большинства такой вид, будто им нужно обдумать страшно серьезные и важные дела, между тем, если только хочется, под шум колес можно разговаривать без опасения, что тебя подслушают, несмотря на тесноту.

Я сижу на клетчатой наволочке, в которой поместилось все мое барахло, и скучаю, рядом со мной плачет древняя старуха, тихо, чтобы не тревожить других. У нее уже нет слез, и все-таки она так громко тянет носом, будто ей надо удержать их целые потоки. Ее муж, с которым она сидит рядышком на одном чемодане, каждый раз смотрит извиняющимся взглядом вокруг, потому что ему, наверно, неудобно, и он хочет показать, что это не в его власти.

Слева от меня — мне остается смотреть только туда — Яков отвоевал себе место у окошка, но уверяю вас, это совершенно случайное соседство. Я не старался оказаться рядом с ним, я не захожу так далеко, как некоторые дураки, которые считают его чуть ли не виновным в том, что мы сейчас едем, но я не могу отрицать, что у меня к нему несправедливое злое чувство, потому что обрушились фундаменты всех зданий, что я себе построил из материала, который он поставлял. Я не старался сесть с ним рядом, мне все равно, с кем рядом ехать, просто так получилось. Между ногами Якова я вижу Лину, которую знал только со слов, она сидит на рюкзаке. Из-за Лины он опять становится мне симпатичнее, кто еще взял бы на себя такой груз, как ребенка, и я думаю, это весит столько же, сколько мое разочарование.

Я с удовольствием познакомился бы с ней, подмигнул бы или состроил гримасу, как это обычно делают, но она вообще не замечает меня. Она задумчиво смотрит на пол, определенно ее занимают мысли, от которых сейчас все остальные очень далеки, потому что время от времени она улыбается. Или же что-то говорит про себя, беззвучно, выражение лица меняется, то она радуется, то сомневается, смотреть на нее интересно. Я нахожу на полу круглый камешек и щелчком посылаю его к ней. Она отвлекается от своих раздумий, смотрит по сторонам, кто бы

это мог быть, но только не на меня. Тогда она поднимает глаза к Якову, который, выше всех подозрений, неподвижно стоит у крошечного окошка и все смотрит и смотрит на пробегающую мимо землю. Лина стучит по его ноге. Он смотрит вниз и спрашивает:

— В чем дело?

— Ты помнишь сказку? — спрашивает Лина.

— Какую?

— Про больную принцессу?

— Да.

— Это правда?

По его лицу видно, что он находит странными мысли, которые ее теперь занимают.

— Конечно, это правда, — говорит он.

— А Зигфрид и Рафи мне не поверили.

— Может быть, ты плохо рассказывала?

— Я рассказывала в точности так, как ты. А они говорят, что такого никогда в жизни быть не может.

— Чего быть не может?

— Что можно выздороветь, если тебе дадут кусок ваты.

Яков наклоняется к ней и поднимает к окошку. Я тоже встаю, потому что колеса здорово стучат, а я хочу слышать, что произойдет дальше.

— Но это правда? — говорит Лина. — Принцесса хотела получить кусок ваты такой большой, как ее подушка? И ей довольно было ваты, чтобы выздороветь?

Я вижу, как губы Якова растягиваются в улыбке, он говорит:

— Не совсем. Она хотела получить облако с неба. Все дело в том, что она думала, будто облака из ваты, и потому ей довольно было ваты, чтобы выздороветь.

Лина какое-то время смотрит на бегущие мимо поля, мне кажется, она смотрит немножко удивленно, а потом спрашивает:

— А облака разве не из ваты?

Между их головами я вижу кусочек неба с редкими облаками и должен признать, что они поразительно похожи на куски ваты.

— Из чего вообще облака? — спрашивает Лина. Яков обещает рассказать ей потом, наверно, еще и потому, что ему тяжело держать ее так долго, он сажает ее обратно на рюкзак и снова смотрит в окно, на пробегающую мимо землю.

Теперь, считаю я, пришел мой час. Я тоже сажусь, подвигаюсь к ней ближе и спрашиваю, хочет ли она, чтобы я ей объяснил, из чего состоят облака. Конечно, она хочет, и я рассказываю о реках и озерах, и о море, о вечном круговороте воды, об испарении, в такие вещи трудно поверить: как вода, невидимо для наших глаз, льется на небо крошечными капельками, как они собираются в облака, пока не становятся тяжелыми и мокрыми, точно губка, когда ее опустишь в воду, и тогда эти капли проливаются дождем. Я не забываю про пар из паровозов, про трубы и про всякие другие вещи, где бывает огонь, она меня слушает внимательно, но скептически, я знаю, что всю длинную историю нельзя закончить за один рассказ. Я вижу также, как Яков дружески посматривает на меня, может быть, школьный урок, который я дал Лине, причиной тому, что через несколько дней он расскажет мне историю гораздо более фантастическую, сумасшедшую историю — именно мне. Ведь то, что я один из немногих останусь в живых, не написано на моем лице.

Когда мои знания о возникновении и составе облаков исчерпаны, я говорю Лине, пусть спокойно спрашивает, если чего-нибудь не поняла. Но она не воспользовалась моим предложением, она подпирает лицо обеими руками и сосредоточенно обдумывает этот вопрос

еще раз. Требуется время, чтобы переварить такое глубокое заблуждение, будто облака состоят из ваты.

— Ты не знаешь, во что впутался, — шепчет мне Яков на ухо.

— Почему?

— Потому что ты понятия не имеешь, что за вопросы в состоянии задать этот ребенок. Я смотрю на Лину и говорю:

— Ничего, не так страшно.

Его глаза отвечают: подожди, увидишь, и потом он меня спрашивает, хочу ли я немного постоять у окошка.

— С удовольствием, — говорю я.

Я встаю и не могу насмотреться, ведь я так давно не видел полей, — пока не наступает ночь. Я вижу деревни, и луга, и пастбища, один раз даже издалика городок, возле наполовину заросшего пруда группу солдат, отдыхающих между грузовиками, орудиями и коровами. И я вижу несколько тихих станций с перронами и барьерами и будками смотрителей, на которых зеленые цветочные ящики с яркими, перевешивающимися через край цветами, я спрашиваю себя, установлены ли они по приказу, потому что висят на каждом домике и все зеленого цвета. И людей я вижу, которые смотрят вслед нашему поезду, их лиц я не могу различить, но самое главное — я вижу деревья, я почти забыл, как они выглядят, хотя я еще совсем молодой парень, много, много деревьев. Буки и ольха, и березы, и верба, и сосна, Боже мой, что за деревья я вижу, они не кончаются, все деревья и деревья. Одно дерево оказалось виной тому, что я не стал скрипачом, и под другим деревом я стал настоящим мужчиной, кабаны появились слишком поздно, чтобы помешать этому. А возле какого-то дерева, не знаю его породы, я потерял свою жену Хану, а один приказ хотел запретить мне на веки вечные смотреть на деревья. Кое-кто говорит, я помешаюсь от этих деревьев, я все стою и стою перед ними, иногда еще и теперь я сажусь в поезд и еду в ту сторону, где особенно много лесов, больше всего мне нравится смешанный лес. Я смотрю, пока не слышу голос Якова:

— А спать тебе не хочется?

— Я еще немного постою, — говорю я.

— Но ты же уже ничего не видишь, — слышу я его голос.

— Нет, вижу.

Потому что я вижу еще тени деревьев, а спать я не могу, мы едем туда, куда мы едем.

Есть темы, существование которых в области художественной литературы чрезвычайно опасно, почти невозможно. В первую очередь это касается судьбы восточноевропейского еврейства во время Второй мировой войны. Документалистика перевешивает. Подлинные свидетельства тех лет столь страшны, что подводят сознание нормального человека к такой границе, за которую оно отказывается заглядывать. Писать об этом — невозможно. Не писать — еще более невозможно.

Опыт этой войны, сама Катастрофа уже пережита, с каждым годом остается все меньше участников и очевидцев. Но опыт этот еще не осмыслен.

Существует огромное количество исследований, психологи все еще продолжают изучать, что же такое должно произойти с человеком — мутация, душевная болезнь, раз-воплощение, — чтобы он восемь часов в день снимал золотые коронки с мертвых людей, потом мыл руки, кушал, шел на танцы, пил пиво и мирно ложился спать с любимой женой... что должны пережить десять тысяч человек, чтобы их могли вести на расстрел четыре солдата... Здесь — область адского эксперимента над человеческим сообществом, обращенным в массу, в пластическую массу.

Один немецкий психолог еврейского происхождения, попавший в фашистский концлагерь в 1939 году, несколько десятков лет спустя издал книгу, в которой анализирует способы «умерщвления» человека до его физической смерти, то есть приведения его в такое состояние, когда он просит прощения у палача, что не захватил с собой веревочки... А также способы противостояния, которые позволяют человеку сохранить личность от разрушения.

Роман Юрека Бекера «Яков-лжец» описывает частный случай этой психологической коллизии. Главный герой романа Яков Гейм, заурядный человек, в своей довоенной жизни ничем не отличавшийся от своих местечковых соотечественников, — владелец маленького кафе, кое-как сводивший концы с концами, человек, неспособный ни к риску, ни к полету (прозевал, проشياпил свою судьбу, испугавшись обязательств брака), и прожил бы свою жизнь, честно и трусливо, подсчитывая мелкие барыши и столь же мелкие убытки, судачил бы с соседями и посетителями и умер бы в своей постели на восьмом десятке. Но война все разрушила, вышвырнула людей в тюремный мир гетто, лишила не только свободы в высшем смысле слова, но и таких незаметных в нормальной жизни радостей, как вид цветка или дерева, возможность ночной прогулки при звездах, звуки музыки, которая льется из радиоприемника... И в этих стесненных, уродливых условиях одни подчиняются, начинают как будто уменьшаться в размерах, соглашаются на выживание любой ценой, а другие, которых единицы... С Яковом происходит нечто редкостное и чудесное — он возрастает в масштабе, становится почти таким же свободным и невинным, как удочеренная им сирота Лина, и совершает поступок, который по плечу лишь ребенку, — две недели рассказывает всему гетто сказку о том, что русские вот-вот войдут в их город и всех освободят. Нет у него никакого радиоприемника, но все считают, что есть, что он по ночам слушает военные сводки, ночные сказки, и по утрам он рассказывает, на сколько еще километров продвинулись мифические русские... Они придут, конечно, придут. Мы знаем это из учебников истории. Но они опоздают, потому что и Яков, и обманутые им друзья, и разоблачившая его девочка Лина с чутким сердцем, и доктор Киршбаум, который «никогда не давал себе труда задуматься над тем, что он еврей», и чокнутый Гершель Штамм, который прячет под толстой шапкой знак своей еврейской независимости — пейсы, все они обратятся в дым и в пепел накануне прихода Красной армии, сказочной, легендарной, мифической...

Кто он, этот главный герой Яков Гейм, — обманщик или сказочник, мелкий авантюрист или праведник? Сам он себя считал человеком, попавшим в дурацкое положение. Мы с вами, в сущности, не знаем, что думали о себе святые и пророки, если они вообще о себе думали. Возможно, что они тоже ощущали нечто подобное тому, что чувствовал Яков Гейм, — глубокое ко всем сочувствие, боязнь огорчить других людей и постоянную неловкость от полного непонимания окружающими самых благих намерений.

Возможно, здесь и заложено самое большое достоинство этой книги — в трагической истории, происходившей в одном городке в совершенно определенном 1944 году, незримо присутствуют пласты истории библейской и средневековой. Память народа, который переживал нечто подобное три тысячи лет тому назад в Египте, две тысячи лет тому — в Вавилоне, тысячу — в Испании...

Юрек Бекер был ребенком, когда все это происходило. Чтобы написать такую книгу, он собирал материал, как это делают обыкновенно все писатели: опрашивал очевидцев, читал в библиотеках воспоминания, заказывал книги, делал выписки... Но есть в этой книге нечто такое, чего не соберешь в библиотеках, — глубокое проникновение в самый дух народа, на большую глубину его сущности. Книга эта написана по-немецки, но в ней живет, даже и в русском переводе, обаяние уже почти не существующего языка идиш, который ушел (или почти ушел) из мира с героями этой книги.

Исторические горизонты быстро затягиваются дымкой. Сегодняшние школьники не всегда знают, кто такие Гитлер и Сталин, история переписывается заново, на памяти одного поколения трижды меняли учебники по истории, сегодня самым надежным историком оказывается Геродот, потому что, во-первых, очень давно умер, во-вторых, он и историком-то не был — так, писал занимательные истории. И кто знает, может быть, когда учебники спялят в очередной раз, только художественная литература, со всей ее субъективностью и эмоциональной достоверностью, сохранит нашу собственную о себе память.

Людмила Улицкая

notes

Примечания

Скажи им, что ты разучился (*фр.*).